

ФЕДОР
БУРАЦКИЙ

ЗАГАДКА
И
УРОК
НИККОЛО
МАКИАВЕЛЛИ



FIOR ENZA





NICCOLO MACHIAVELLI

ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ
✻
ЗАГАДКА И УРОК
НИККОЛО
МАКИАВЕЛЛИ

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ,
ИСТОРИЧЕСКИЕ
И
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
НОВЕЛЛЫ



МОСКВА. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1977

1Ф
Б91

Б $\frac{70302-177}{078(02)-77}$ 013-76

© Издательство «Молодая гвардия», 1977 г.



ИСТОК



та книга, как и всякое творение рук человеческих, имеет свое начало. По времени оно должно быть отнесено к 1969 году. Многие читатели помнят, возможно, что в мае того года отмечалось 500-летие со дня рождения Никколо Макиавелли, представляющего собой, по словам Маркса, одну из наиболее ярких фигур эпохи Возрождения.

Наша небольшая группа, в состав которой входили Историк, Социолог и Писатель, собралась на праздню-

вание юбилея в Италию. Организационный комитет, представленный крупнейшими макиавелливедами, разослал свои приглашения в разные страны. Торжественное заседание было намечено в коммуне Сан-Кашано.

Коммуна Сан-Кашано была едва ли не единственным официальным учреждением Италии, которое рискнуло откликнуться на полутысячный юбилей флорентийского секретаря. Само итальянское правительство довольно холодно реагировало на это событие. Организаторы юбилея с большим трудом выхлопотали в свое распоряжение около 5 миллионов лир, большая часть которых ушла на подготовку двух иконографических выставок о трудах Макиавелли.

Итальянский писатель Ренато Николаи, автор книги о Макиавелли «Притворство», с горечью писал, что официальная Италия за редким исключением отрицает возможность отметить деятельность и личность того, кто был назван основателем нового времени и кто любил свою родину больше души. По меткому замечанию этого писателя, Макиавелли в отличие от Леонардо да Винчи и Колумба остался без почестей, «без кораблей и Америк» и при жизни и после смерти.

Наша группа, плохо осведомленная о трудностях, испытываемых организационным комитетом, деятельно готовилась к поездке в Италию, которая, однако, так и не состоялась.

Но каждое дело, получив изначальный толчок, обретает свою логику развития. Прекрасным подтверждением может служить наш случай. Прделанная нами работа по подготовке к юбилейному заседанию не пропала зря, хотя она и имела совсем иной результат, чем тот, на который мы первоначально рассчитывали. Мы не поехали в Италию и не выступили на юбилейных торжествах, но неожиданно для себя оказались соавторами этой несколько необычной книги.

Да и могло ли быть иначе? Посудите сами.

Вскоре после того, как выяснилось, что мы соединены в одну группу, мы собрались вместе. Нам нужно было накоротке договориться о деловой стороне нашей поездки — время вылета, билеты, распределение обязанностей и тому подобные вопросы, которые неизбежно возникают в связи с групповыми выездами за рубеж. У нас и в мыслях не было останавливаться на содержательной стороне дела. Само собой предполагалось,

что все мы имеем если не идентичную, то, во всяком случае, единую точку зрения относительно учения, личности и исторической роли Никколо Макиавелли.

Все шло гладко до того момента, пока Социолог, взявший в силу своей профессии бразды руководства в свои руки, не обронил мимоходом замечания о «макиавеллической» форме, в которой происходит сама организация юбилея Макиавелли. Эта, в сущности говоря, безобидная реплика неожиданно вызвала весьма нервную, даже нервическую реакцию со стороны Историка, который разразился бурной филиппикой против обывательского толкования взглядов великого флорентийца. Он долго, хотя и не очень связно, как он впоследствии сам признал, говорил об историзме и антиисторизме, о паразитировании властей предержавших на невежестве массового сознания, о величии мысли и изменности побуждений самого Макиавелли и тому подобных предметах, явно пытаясь втянуть нас в дискуссию по вопросу, представлявшемуся до этого момента очевидным. Он пришел в такое возбуждение, что даже спокойные и трезвые разъяснения Социолога не могли предотвратить наметившийся раскол во мнениях в нашей небольшой группе.

— Да, да, — горячо воскликнул Историк, — дело именно в неразгаданности загадки великого мистификатора. Меня больше всего заинтересовала парадоксальность жизненного пути этого человека. Посмотрите только, как странно сложилась его биография. Если попытаться нарисовать графическую линию его судьбы, то она выглядела бы наподобие треугольника с одной гранью, устремленной вверх, кульминационной точкой надлома и таким же резким падением вниз. В двадцать девять лет он занял довольно видный пост секретаря Флорентийской республики и четырнадцать лет выполнял ее ответственные поручения. Потом опала, тюрьма, ссылка и литературная деятельность, показатели которой надо учитывать уже в другой системе координат.

Почему же человек, который заявил себя перед всем миром как выдающийся политический мыслитель, так не преуспел как политический деятель? Почему он сам не смог воспользоваться советами, которые так щедро раздавал правителям и деятелям своего времени? Загадка.

Мысль об этом давно, еще в студенческие годы, за- пала в мое сознание, а скорее даже в подсознание — за- долго до того, как я стал всерьез знакомиться с жизнью и творчеством Макиавелли. И странное дело: когда я много лет спустя обратился к изучению его биографии, все оказалось так, как я предчувствовал ранее. Образ человека, концепция его жизни, сложившиеся у меня еще до основательного знакомства с фактами, полностью подтвердились после этого. Я не думаю, что здесь про- явилась склонность к априорным схемам. Скорее в этом можно увидеть другое: некую предназначенность выбора из тысячи имен именно этого героя. Впрочем, есть ка- кая-то притягательная сила в одном имени Макиавелли, не правда ли?

Особенно меня увлекает, — продолжал Историк, — исследование фактов, которые касаются «Государя» — книги, вокруг которой концентрируются все ожесточен- ные страсти сторонников и противников великого фло- рентийца. Вдумайтесь только в такие факты. Макиавел- ли написал множество работ: «Рассуждения на первые три книги Тита Ливия» *, «Военное искусство», «Историю Флоренции» **, комедию «Мандрагора», новеллы. После него осталась блистательная, искрящаяся, как шампан- ское, переписка с Франческо Веттори и другими совре- менниками, выполненная в лучших традициях эпистоляр- ного жанра. Его донесения Совету десяти по поводу по- литических миссий при дворе Цезаря Борджа, француз- ского короля Людовика XII, германского императора и других властителей того времени являются самостоя- тельным объектом исторического и литературного ана- лиза.

Тем не менее именно «Государь», написанный в те- чение нескольких месяцев, создал ему славу — странную, неровную, отчасти даже скандальную. С какой целью был написан «Государь»? Служит ли эта работа, в ко- торой, по мнению многих, Никколо Макиавелли заявляет себя сторонником тирании, выражением его подлинных

* Никколо Макиавелли. Государь (IL PRINCIPE) и рассуждения на первые три книги Тита Ливия. Спб., 1869. Далее сноски даются в тексте (Г., Р., с указанием страницы).

** Никколо Макьявелли. История Флоренции. Л., 1973. Далее сноски даются в тексте (ИФ, с указанием страницы). Посо- ветовавшись со специалистами — советскими и итальянскими, мы сохранили прежнее написание фамилии Макиавелли, точнее и благо- звучнее передающее ее итальянское звучание.

взглядов? Или это поступок, вызванный преходящими соображениями, подобно тому как это было с Галилеем, отрехшимся от своих взглядов? Все это загадка, загадка.

— Очень любопытно совпадение и несовпадение наших побуждений, — заметил Социолог. — Меня тоже в первую очередь привлекла загадочность этой колоритной фигуры. Но куда меньше меня заинтересовала его жизненная судьба, его биография. Судьба учения Макиавелли — вот, по-моему, предмет главный, достойный самого пристального внимания исследователей.

— Я согласен с вами; действительно странно, что именно «Государь» — книга, быть может, второстепенная для самого Макиавелли, оказалась в центре внимания последующих поколений. Это пристрастие читателей можно было бы отнести на их собственный счет: в конце концов каждый ищет то, что хочет найти. Но, видимо, дело не только в читателе. В самой книге есть достаточно поводов для самых нелестных предположений о позиции, да и о самой личности ее автора. Но дело не только в этом. Так ли уж разителен контраст между «Государем», «Рассуждениями» и «Историей Флоренции», если брать за основу мировоззрение флорентийского секретаря?

Правда, в первом случае он как будто заявляет себя сторонником тирании, а во втором и в третьем — сторонником свободы и республики. Но что вы скажете об исходных посылах этих работ? О политической философии Макиавелли? Не кажется ли вам, что даже в комедии «Мандрагора» мы находим строки, которые мог сказать только Мыслитель, и только Макиавелли, и никто другой?

Для меня по-настоящему загадочно вот что: соотношение Макиавелли и макиавеллизма. Макиавеллизм, как известно, приобрел совершенно однозначное толкование. В этом слове сошлось все самое худшее, самое отвратительное, что можно увидеть, сказать и помыслить о жестокости и лицемерии, беспринципности и хитрости, коварстве и лживости политического человека, политической власти. Слово «иезуит» звучит менее однозвучно. «Макиавеллический замысел», «макиавеллический план», «макиавеллическая улыбка» — все это прочно закреплено в сознании как синоним худших проявлений худших качеств худших из людей. Цель оправдывает любые

средства — эта ужасная формула, как полагают многие, не была нигде изложена с большей откровенностью, чем в «Государе», где она к тому же облечена еще в научную форму.

И вот что меня занимает больше всего: был ли сам Макиавелли макиавеллистом? Является ли его учение действительно тем, что в нем пожелали увидеть многие? Или правы те мыслители, начиная от Спинозы и Руссо, которые открыли в учении Макиавелли нечто иное — первый по-настоящему глубокий анализ политической власти, выполненный к тому же с прогрессивных патриотических позиций? Но если даже это и так, то все же остается неясным, по какой причине его труды дали повод для подлинно макиавеллистического истолкования. Судьба учения Макиавелли — вот где подлинная загадка, — закончил Социолог.

— О, меня мало занимает все, о чем вы толкуете, — воскликнул Писатель. — Какое мне дело до политической философии, заявленной почти пять столетий назад, да еще с такой простотой и прямолинейностью? После этого были написаны сотни трактатов, тысячи увесистых томов и тоненьких брошюр на темы власти, монархии, республики, государства, народа, толпы, личности.

Меня взволновало, больше того, потрясло совсем иное — загадка личности, загадка призвания Никколо Макиавелли. Подумать только: этот человек мечтал о карьере чиновника в небольшой Флорентийской республике, совершенно не понимая своей природы, того, что в нем было заложено богом, как говорили в старину, не ценя в себе по-настоящему великого художника, писателя, мыслителя.

Вспомните его письма к Франческо Веттори и другим друзьям с бесконечными занудными жалобами на свою судьбу, с униженными просьбами исходатайствовать у сильных мира сего хоть какую-нибудь, пускай самую завалящую и паршивую, должностишку в государственном аппарате. Макиавелли в одно и то же время пишет великолепные «Рассуждения», блистательную «Мандрагору» и жалкие прошения о возвращении на жалкую должность в Флорентийском государстве. Так не понять себя! Такая слепота в отношении своей природы и своего призвания!

Именно этот факт пробудил во мне страстное желание приобщиться к человеческой судьбе Макиавелли —

столь банальной при жизни и столь необычной после смерти. Это желание я берег, вынашивал в глубине души своей, не делаясь даже с близкими людьми, боясь спугнуть тот глубокий порыв чувств, который шел неведомо откуда.

Впрочем, разность наших подходов вполне естественна, — заметил Писатель. — Взгляните, вон там, за окном, раскачивается сосна, ветки почти касаются форточки в нашей комнате. Вероятно, если кому-либо пришло в голову написать о ней, приоткрыть ее природу, он тоже был бы в немалом затруднении. Столько у нее веток, и все они разные. Различны участки ее ствола — у основания сосна подобна дубу, на вершине — тоненькой березке, столь несхожа даже окраска на разных ее сторонах, и неведомо главное — мыслит ли она и имеет ли душу. А ведь Никколо, позвольте мне называть его так, несомненно, имел душу — порывистую, смятенную, жадную до впечатлений. Еще более несомненно, что мыслил он не банально, пересекая реку мудрости не поперек, как многие, а находясь в самом ее потоке, как избранные. Загадка души — вот где подлинная загадка Никколо Макиавелли!

А что, если каждый из нас в свойственной ему манере письма и способе анализа изложит свое понимание этой личности и системы его взглядов? — вдруг предложил Писатель. — Затем мы попытаемся свести все это воедино и таким путем найти общий знаменатель, общую позицию, которая вберет в себя различные подходы к истолкованию загадки Макиавелли.

Социолог выразил было сомнение в правомерности принципа, который кладется в основу такой коллективной работы. Он сказал, что правильной может быть только одна точка зрения, а поскольку нас трое, то две другие будут ложными. Но стремительное согласие Историка решило дело. Социологу, хотя он и взял на себя роль председательствующего, пришлось подчиниться воле большинства, тем более что за ним было оставлено последнее и самое авторитетное суждение. Так родилась эта книга.

Как читатель увидит далее, речь идет не о трех разных интерпретациях Макиавелли, а скорее о рассмотрении предмета под различным в профессиональном отношении углом зрения. Историк, Социолог, Писатель должны бы дополнять друг друга, по крайней мере согласно

их собственному замыслу. В то же время они полностью отдают себе отчет в том, что им не вполне удалось избежать некоторых повторений и даже противоречий в истолковании одних и тех же событий и высказываний. Не видя в том большой беды, они полагаются на читателя, который силой своего воображения сумеет сложить из предложенных конструкций здание по своему вкусу.

Так завершился наш небольшой спор. Поскольку выяснилось одновременно сходство наших подходов и несходство истолкований, близость побуждений и разнообразие понимания, совпадение наших основных позиций и расхождение во многих частных оценках, было решено:

Первое. В интересах всесторонности писать книгу в три руки. Общность жанра создает новелла — излюбленная форма творчества самого Никколо Макиавелли; новелла историческая, драматургическая, социологическая (да простит нам читатель эту маленькую вольность). Мы следовали в этом нашему герою, автору разнообразных работ: от научных беллетризованных исследований («Государь») до стихотворной комедии («Мандрагора»). Три взгляда на предмет, три подхода, три стиля соединяются в единое историко-литературно-социологическое эссе, которое, возможно, даст более многогранное, а стало быть, и более полное впечатление о многоплановой фигуре флорентийца, чем размеренное жизнеописание, где на одной полке нередко возлежат важное и неважное, существенные поступки и второстепенные дела, оригинальные идеи и обыденные суждения.

Второе. Писать не биографию и тем более не хронику событий, а идейно-психологический портрет Макиавелли. Мы берем из истории его жизни и творчества лишь те факты, которые представляются важными для характеристики его личности. Мы следуем методу самого Макиавелли в его «Государе», «Рассуждениях», «Истории Флоренции». Каждый, кто прочтет эти произведения, убедится, что автор видит свою главную цель не столько в изложении, сколько в психологическом и социальном истолковании событий.

Мы отдаем себе отчет в рискованности подобного метода творчества. Но нас утешает то, что сейчас коллективные труды в моде и создаются они, по сути дела, подобным же образом. Каждый автор пишет о своем,

и тем не менее все они составляют творческий коллектив с одним медальным профилем, одной позицией, одним стилем. Ведь у читателя не вызвало бы протеста, если бы он получил в руки сборник, составленный тремя авторами. Вот мы и просим рассматривать нашу книгу как коллективную работу, чуть более экстравагантную, чем обычно, но зато, быть может, более цельную по замыслу.

Да, вот еще, чуть было не забыли сообщить важную особенность нашего творческого метода. Мы решили не ограничиваться изложением и толкованием источников, а прибегнуть к непосредственному общению с нашим героем, его окружением, его эпохой. В этих целях мы периодически приоткрываем Завесу времени, чтобы увидеть происходящее своими глазами. С этого мы и начнем. Приподнимите, пожалуйста, Завесу...





МОНАХ

Площадь во Флоренции. Слева монастырь святого Марка. В центре площади горит костер. На стене монастыря монах Савонарола. Мимо монастыря проходит шествие монахов с хоругвями. Подле монастыря и вокруг костра на коленях горожане, солдаты, мальчики, девочки. В стороне молодые художники и поэты, среди них Франческо Веттори, Сандро Боттичелли, Никколо Макиавелли.

Монах. Во имя очищения нравов, очищения души нашей предадим сожжению суеты жизни нашей!

Толпа (*хором*). Предадим сожжению суеты жизни нашей!

Монах. Зловредные книги языческие — Платона, Овидия, Вергилия — в огонь!

Толпа. В огонь!!

Мальчишки бросают книги в костер.

Монах. Мерзопакостные писания Боккаччо, Петрарки — в огонь!

Толпа. В огонь!!

Мальчишки и часть взрослых, встав с колен, бросают книги в костер.

Монах. Картины, изображающие наготу и срам человеческого тела, — в огонь!

Толпа. В огонь!!!

Бросают картины в костер.

Боттичелли (*хватает две картины, дотаскивает их до костра и бросает*). В огонь!

Веттори. Остановись, мессер Боттичелли!

Боттичелли. Я жгу свои картины! Свое постыдное увлечение греховной плотью!

Веттори. Греховной плотью? Это воплощение самого совершенства, созданного богом! Не жги! Отдай мне, я спрячу! (*Пытается вырвать у него очередную картину.*)

Боттичелли. Прочь с дороги! (*Швыряет и эту картину в костер.*)

Монах. Серебро и золото, драгоценные украшения и прочие соблазны — в огонь!

Толпа. В огонь!!

Некоторые матроны срывают с себя украшения и бросают их в костер. Мальчишки срывают с других женщин, которые не решаются сделать это сами.

Никколо (*к Веттори*). Обезумели все! Ты посмотри только, как они накалены! Быть бунту. Нет хуже, когда церковь посягает на гражданскую власть. О чем только думают в Палаццо Веккьо!

Веттори. О, наши толстосумы боятся брата Иеронима! Видишь, какую силу он взял над народом!

Из Палаццо Веккьо выходит глашатай в сопровождении солдат.

Глашатай. Народ Флоренции! По решению Совета десяти на завтра назначается великое испытание кост-

ром. Францисканские монахи вызывают доминиканцев огнем испытать, чье ученье ближе и угодней богу! Брат Иероним принял вызов францисканского ордена, и гонфалоньер одобрил состязание!

Радостные крики.

Никколо. Еще одна комедия! Нет, что ни говори, Веттори, глупые мы животные — люди!

Уходят.

Зала в богатом доме во Флоренции. За низкими столиками сидят хозяин дома Марсилио Фичино, Микеланджело Буонарроти, Франческо Веттори, Никколо Маккиавелли.

Фичино. Я счастлив, что дожил до нашего великого времени. Все пришло в движение во Флоренции да и во всей Италии. Мы заново открыли для себя целый мир, казалось, навсегда погребенный веками варварства. Платон, работы которого мне посчастливилось издать на нашем языке, Овидий, Тит Ливий, Вергилий. Их голоса разбудили нашу мысль, наши чувства. Конец века общает начало возрождения итальянского духа.

Все, что теперь — развалин ряд,
Все от тебя ждет возрожденья... *

Это ваш век, мои юные друзья! Вы его творцы, его надежда.

Веттори. Вы несправедливы к своему времени, синьор Фичино. Леонардо да Винчи осветил своим гением конец столетия, которое начиналось во мраке.

Фичино. Леонардо — одинокая звезда, он только предтеча той россыпи созвездий, которая появляется в настоящее время, когда древняя кровь взыграла в каждом итальянце. Вам еще суждено увидеть великие перемены...

Веттори. Пока мы наблюдаем перемены к худшему. После Лоренцо Великолепного, который окружал себя художниками и поэтами, пришел несносный Пьеро Медичи, а теперь брат Иероним Савонарола. А он не терпит искусства. Сейчас все — и проповедники, и власти, и толпа — смотрят на нас с подозрением.

Фичино. Я говорю не о политических переменах,

* Стихи Петрарки.

Веттори. Потомки не запомнят, кем был сослан Данте, но все будут знать, что этой ссылке мы обязаны появлением комедии, поистине божественной. Данте, Петрарка и наш Леонардо вернули нам заново наше величие.

Никколо. Горько сознавать, но пышнотелая монархия делает больше для искусства, чем тощая республика. Не правда ли, Микеланджело?

Микеланджело. Я готов примириться с любой властью, только бы она не мешала мне работать.

Никколо. А как же твое увлечение Савонаролой?

Микеланджело. Я почитал и почитаю его благородное стремление к нравственной чистоте. Но я отвергаю его вмешательство в сферу власти и искусства. Это ложный путь.

Фичино. Да, это не наш путь. Нам дано обновлять нравы иной силой, более могучей.

Италия моя, хоть не излечишь словом
Смертельных, страшных ран,
Которыми ты вся покрыта, все же —
Пускай на стон и плач родных мне стран
Печальным и суровым
Ответом песнь моя отгрянет... *

Врывается шум, топот толпы, крики, выстрелы. Стремительно вбегает Сандро Боттичелли.

Боттичелли (*возбужденно*). Чернь атакует монастырь святого Марка. «Бешеные», «теплые» и другая плебейская сволочь ищут брата Иеронима и жаждут его смерти. Они стреляют в солдат, в народ и не повинуются приказам Синьории. Пророк в опасности! Мы должны спасти его! Идемте все ко дворцу и потребуем от Совета обуздания толпы.

Фичино. Успокойся, Сандро. Выпей вина и расскажи все по порядку.

Боттичелли. О каком порядке вы говорите? Вокруг смута, беспорядок, озлобление. Друзья! Мы должны спешить! Будет поздно...

Фичино. Надо разобраться...

Веттори. Все началось с этого злополучного костра.

* Стихи Петрарки.

Микеланджело. Какого костра?

Веттори. Так вы ничего не знаете? Об этом шумит весь город.

Микеланджело. Я третьи сутки не выхожу из мастерской.

Веттори. Это была нелепая затея. Савонарола публично вызвал своих противников, францисканских монахов, пройти через испытание костром. Вчера на площади собралась толпа в ожидании чуда. Францисканцы и отцы из монастыря святого Марка стояли вокруг костра, непотребно браня друг друга. Но никто так и не вошел в костер.

Боттичелли. Все не так! Все неправда! Фра Доменико, напутствуемый братом Иеронимом, готов был радостно войти в огонь. Но его оппонент струсил и не явился. А враги стали натравливать людей на бедного пророка. Вот в чем причина раздражения народа!

Никколо. Причина не в этом. Костер только повод. За семь лет своего духовного правления городом Савонарола настроил против себя всех — Совет десяти и гонфалоньера, знать и чернь, купцов и ремесленников. Народ устал от его проповедей, никто больше не верит ему.

Веттори. Говорят, что папа решил отлучить Савонаролу от церкви.

Боттичелли. Мы одни можем еще помочь пророку! Нас поддержат в Палаццо Веккьо. Они прислушаются к голосу своих художников и поэтов.

Никколо (*горько*). Монах обречен. Он слишком странен для нашего времени, которым вы так восхищаетесь, синьор Фичино! Монах не искал ни богатства, ни власти, ни почестей. Как можно?! Он думал, что все люди такие же, как он, их надо только пробудить от сна. Как бы не так! Проповедовать мораль — понимаю. Но думать, что все последуют ей?! (*Пожимает плечами.*)

Боттичелли. Но это он выдворил французов из Флоренции, он изгнал Медичи. Он восстановил республику и дал новую конституцию народу.

Никколо. Это правда, мессер Боттичелли. Правда! Но не вся правда! Есть другая правда. И она весит не меньше! Вспомни только, как сжигали картины и книги! Конечно, это занимательное зрелище — крестный ход монахов, умиление толпы, шалости мальчишек, срывающих браслеты и кольца со знатных матрон и выбрасы-

вающих все это в грязь! Публичные покаяния в грехах! Но согласишься, это немного отдает вандализмом.

Микеланджело. Я слышал, мессер Боттичелли, что вы участвовали в сожжении картин? Это верно?

Боттичелли. Да, и я горжусь этим! Посмотрите, во что превращены наши храмы! Пророк прав! Они расписаны бесстыдными развлекательными сюжетами. Святая Магдалина изображается в виде обнаженной похотливой девки, а святой Себастьян — это не мученик за веру, а кокетливый Аполлон. Искусство должно передавать красоту духовную, а не телесную! Если для очищения нравов необходимо, оно должно принести себя в жертву! (*Восторженно.*) Силой проповедей фра Джироламо Флоренция становилась царством правды и чистоты, источником света для всех итальянцев! (*Пауза.*) Я сжигал свои картины, Микеланджело.

Микеланджело. Так вы действительно делали это, Боттичелли? Вы старший среди нас — наша гордость, наше знамя, и не могу скрыть — мне больно за вас. Теперь нас снова заставляют рисовать плоскогрудых мадонн, наподобие монахов. Для того ли мы заново открыли для себя античный мир, полный живой жизни? Я тоже поражен силой духа фра Джироламо. Но как художник я должен сказать ему, в чем он не прав.

Никколо (*живо*). Он не прав во всем.

Боттичелли. Во всем? Опомнись, Никколо!

Никколо (*быстро*). Он себя изжил. Он не нужен никому. Он всем мешает. Политический маятник качнулся влево и достиг своего предела. Теперь он начинает откатываться вправо, и мы снова можем вернуться к тирании Медичи. Надо вцепиться в кончик маятника, остановить его движение на середине, сохранить все, что было завоевано за эти семь лет! И если нужна искупительная жертва, то пусть ею будет монах с его религиозным фанатизмом!

Боттичелли. Фанатизмом?! Молчи, ты жалкий фигляр! Для тебя все игра! Но ты, Микеланджело? Ты, Веттори? Вы, синьор Фичино? Неужели и вы откажетесь идти со мной в Палаццо Веккьо?

Микеланджело. У нас свое дело. Наш долг — оберегать искусство.

Боттичелли (*вскакивает*). В такое время! Какое

искусство? (*Кричит.*) Там, на площади, погибает пророк, святой человек гибнет!

Микеланджело. Я сказал — не пойду.

Боттичелли. Так слушай меня, Микеланджело! Тот удар... изуродовал не твое лицо. Он обезобразил душу. (*Убегает.*)

Пауза.

Микеланджело (*тяжело*). Я безобразен. Боттичелли прав... Стыдно жить с таким лицом, выходить на люди. Я прячусь в мастерской. Я уродлив... Да... (*Пауза.*) Но именно мне дано богом творить совершенство, извлекать резцом красоту из камня.

За окном нарастает шум, но он его не слышит.

Я просыпаюсь на рассвете с одной мыслью, с которой уснул накануне. Я чувствую, я должен торопиться к нему, к этому холодному белому куску мрамора, который ждет меня в моей мастерской. Всею кожей своей я ощущаю живую плоть, сдавленную в камне. Она рвется из своей клетки наружу, она жаждет вернуть свою изначальную форму. Она хочет жить, эта плоть, и только я могу вдохнуть в нее жизнь! И вот под моими неловкими, нетерпеливыми ударами постепенно появляется белая-белая голова в голубом сиянии. Она сбрасывает с себя одну за другой свои мертвые одежды. Она начинает дышать, она смотрит на мир, впитывая его краски. Спросите у нее, что ей за дело до всех этих королей, кондотьеров, наемных солдат, лживых республиканцев, пророков! Она видела все это тысячи лет назад до того, как была заключена в свою тюрьму! И еще тысячелетия ее холодным глазам суждено видеть все то же.

И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке, — и лишь это нам
Рука, послушная рассудку, явит... *

Возвращается Боттичелли.

Боттичелли. Все погибло. Монастырь взят. Брат Иероним заточен в келью. Совет десяти хотел ограни-

* Стихи Микеланджело.

читься изгнанием и тем спасти его, но чернь требует пыток и казни.

Снова площадь во Флоренции. Посреди нее на небольшом возвышении связанный монах. Стража, представители Синьории, священнослужители, толпа мужчин и женщин. Немного сбоку виселица, под ней разжигают костер. Пламя костра время от времени бросает свои отблески на участников сцены. И вся она проходит в полумраке, освещенная как бы изнутри. В стороне стоят Никколо, Веттори, Боттичелли и другие художники.

Служитель. По приговору Синьории доминиканский монах Джироламо Савонарола, который покусился на власть во Флоренции и поднял руку на святая святых — нашу веру в Иисуса Христа и наместника Петра — папу, который внес смуту и разорение в дела Флорентийской республики и возбудил междоусобную вражду... *(Пауза.)* В силу всего этого Джироламо Савонарола приговаривается...

Монах *(Савонарола)* *(говорит почти нараспев, почти стихами, как бы исторгая звуки из нутра своего)*. О! Я любил тебя, народ Флоренции! Я чаял найти в тебе одном и пониманье и поддержку великих истин, за кои спаситель наш, сын божий, принял муку и казнь на Голгофе. Именем Христа пришел я к власти. Не для себя, а для всех вас, люди! Лишь на Него я уповал и слушал Его совета. О равенстве. О братстве. О добре. О справедливости. Я верил, что обрел тот край обетованный, которому начертано начать всечеловеческое очищение и, искупив нашу вину, предстать перед богом, как надлежит не зверю — человеку! А ты... народ Флоренции! На что тебе пророки? Ты, развращенный, жалкий и ничтожный, казнишь сегодня не меня — себя, свое спасенье и свои надежды. Мне горько, что я мог тебе поверить, народ Флоренции... *(Склоняет голову. Пауза.)*

Именитый гражданин. Ты, голь монастырская! На что осмелился поднять руку? На родовую знать? На собственность? Ты покусился на устои, освященные нашей матерью-церковью и древними обычаями.

Монах *(обратившись к Именитому гражданину)*. Вот против них боролся я за тебя, народ! За уравниенье всех — богатых, бедных, знатных и простолюдинов! Спаситель наш учил нас, что все люди — только люди. И вы и знать — одинаково древнего происхождения.

Все люди созданы по одному образу и подобию. Разденьте всех догола (*в толпе смех*), да-да, догола, и вы увидите, что все похожи друг на друга. Оденьте знатного в рубище нищего, и он будет нищим, облачите нищего в парчу и бархат, и он станет знатным!

Парень из толпы (*в костюме цехового подмастерья*). Пока ты проповедовал, знать вооружалась. Ты нес им слово божье, а они готовили пытки и казни!

Боттичелли (*к Никколо*). Эти палачи из Синьории шесть раз поднимали его на дыбу, рвали его тело раскаленными щипцами!

Монах. Я не хотел крови, ибо из крови рождается только кровь. Я не хотел насилия, ибо оно рождает только насилие. Нельзя служить богу средствами дьявола! Я следовал учению Спасителя нашего, который...

Парень из толпы. ...Который принес не мир, но меч! Теперь ты сам гибнешь от меча.

Монах. Нет! Не из-за этого я гибну! Я гибну потому, что ты, народ, чьи стопы я готов был лобызать непрестанно, ты отступился от меня и предал!

Парень из толпы. Каждому свое! Сейчас тебя, потом нас.

Простолюдин. Равенство-то равенство, а что из этого вышло? Несколько семей изгнали, а остальные стали еще сильнее душить нас.

Первая женщина. Обещал рай на земле, а жить все труднее...

Другой парень из толпы. А книги? Зачем ты сжигал книги? Зачем сжигал картины великих мастеров? Зачем?

Монах. Книги? Какие это книги? Что они дают народу? Примеры, достойные подражания? Чистоту морали, которой нас учил Христос и его апостолы?! Я повелел бросать в огонь все нечестивые писания Плутарха и Горация, Гомера и Овидия, проникнутые языческим духом свободомыслия, чуждые христианскому смирению. Я сжигал картины, где изображалось греховное человеческое тело, лишённое души и нравственного идеала. Я предал сожжению суеты жизни нашей и очищал твои нравы, народ! Лучшие художники были со мной заодно. Скажи ты, скажи им, Боттичелли!

Боттичелли. Сказать... Да что сказать... Мне больно видеть тебя здесь, на помосте! Мы так доверились тебе. И вот... Все прахом... Да, я сжигал картины!

Я верил, что придет царство божие на земле! А сейчас ни царства, ни картин. Лишь стыд да горечь...

Монах. Опомнись, Боттичелли! Хоть ты не предавай меня, нашу веру в эту минуту!

Боттичелли. Видит бог, я против твоей казни. Но на одном костре с тобой горит и моя вера в твой символ. *(Опускает голову.)*

Никколо *(обращаясь к Боттичелли)*. Что делать, Боттичелли! Пророк платит по своим счетам. Он вторгся в политику. А здесь цена — жизнь! Судьба швыряет монету, и либо ты вознесен, либо на плахе!

Монах. Я учил вас новой нравственности! Я насаждал мораль.

Женщина из толпы. Да, как ее насадить, когда природа требует свое, когда хочется... жизни? Уж действительно и с мужиком-то поиграть опасно стало!

Оживление в толпе.

Неровен час, ворвутся твои молодчики и станут пытаться — и кто он такой, да по закону ли, и часто ли бывает!

Смех в толпе.

Монах *(стражнику)*. Уйми блудниц! Дай в последний раз поговорить с народом.

Первая женщина. А мы и есть народ, сморчок паршивый!

Голоса. Тише!

— Тише!

— Пусть говорит!

Монах. Что говорить... когда меня понять вы не хотите... Но, может, вы прислушаетесь к Его голосу! Я слышу Его! Он является мне, и говорит со мной, и жаждет понимания, как и я, как сама истина, отвергнутая, попранная, презираемая.

Епископ. Ты сам признал во время следствия, что лгал о видениях своих, о голосе божьем в душе твоей.

Монах. Нет! Я слабый человек, я не вынес пыток. То была ложь во спасение! Подобно Сыну Человеческому, я взмолился: да минует меня чаша сия! *(Смотрит поверх толпы.)* О господи! Спаситель наш! На тебя одного уповаю я в свой смертный час! Яви свой светлый лик, подай знак, и душа моя с легкостью расстанется

со своей смертной оболочкой!.. Господи, боже мой, где же ты?!

Тишина.

Епископ. Бог с нами и в нас!

Монах. Не лги, ты, римский холуй! С вами нет бога! Бог лишь с праведниками, мучениками, подвижниками, с теми, кто отдает свою жизнь на закланье во имя торжества Его мысли и Его слова!

Епископ. А что ты скажешь об испытании огнем? Ты обманул народ и церковь!

Шум в толпе.

Толпа. Ты обманул народ и церковь!

Голоса. Испытать его самого огнем! Пускай попляшет! Посмотрим, как его добродетель одолеет веревку и костер!

Епископ. Джироламо Савонарола! Именем наместника святого Петра приказываю снять с тебя священные одежды и приготовить к казни.

Именитый гражданин. Гори, лицемер, враг законности и власти!

Монах. Обманутые, жалкие люди!

Служитель. ...Должен быть повешен, труп его сожжен, а прах брошен в реку Арно!

Тишина. Зажигается костер вокруг столба, к которому привязан монах. Пауза.

Снова та же зала в доме Фичино. Хозяин дома, Боттичелли, Микеланджело, Веттори, Никколо.

Боттичелли. ...И сверху падал дождь из крови и внутренностей великого мученика... (Плачет.) Страшно!

Фичино. Страшно...

Боттичелли. Страшна толпа. Еще вчера они стояли на коленях перед пророком и проливали слезы умиления. А сегодня...

Никколо. Страшно не это. Крушение надежд — вот что страшно. Какая игра проиграна!

Боттичелли. Как, тебе не жаль пророка? Этого святого, который жаждал добра?

Никколо (горько). О, добрыми намерениями вымощена дорога в ад!

Боттичелли. Но пророк не заслужил такой участи!

Никколо. А кто заслуживает? Право там, где сила.
Увы!

Боттичелли. Нет! Толпа — вот где зло! Будьте прокляты, флорентийцы, вы худшие среди людей, предавшие своего пророка!

Фичино (*мягко*). Ты не прав, Сандро! Флорентийцы не раз являли величие духа.

Никколо. Дело не во флорентийцах, а в природе человека. Люди скорее злые, чем добрые. Природа заложила в человека жадное желание обладать всем, но не дала возможности всего достигнуть! Отсюда постоянная неудовлетворенность и злоба!

Фичино. Ну разве все мы такие, Никколо?

Никколо. Простите, Фичино, я не о вас говорю. Вы — сама доброта! Я говорю не об отдельных людях, а о массе, о природе человеческих страстей. Вы не были на площади и, к счастью, не видели... (*Горько.*) Преданность, мораль, доброта — все это слова! Человек может позволить себе иной раз быть добрым. Но не этими страстями жив человек. Страх, ненависть, гордость, тщеславие, зависть! Подмастерье сгорает от зависти к мастеру! Купец страдает оттого, что на соседней улице живет барышник богаче, чем он! Худородный дворянин изнывает, что не родился бароном, барон — графом, граф — герцогом. Герцог завидует королю! Король — императору! Император — папе! Папа... Кому папа? Богу?

Микеланджело (*мрачно*). Жажда власти — вот главный порок! Опасней этой страсти нет ничего.

Веттори. Ну, страсть страсти рознь. Любовь, например...

Никколо. Любовь — самая непрочная из страстей. И ты знаешь это лучше других, не правда ли, Веттори? Давно тебя сжигала страсть к Беатрисе? А сейчас, рассказывают, тебя часто видят в обществе ее хорошенького племянника...

Веттори. И что же? Это только подтверждает мою мысль! Любовь не знает границ и захватывает все новые объекты...

Фичино. Оставьте, Веттори! Это непристойно.

Веттори. Не более непристойно, чем его рассуждения о человеческой природе!

Микеланджело. Только подлинная вера способна обуздать человеческие пороки.

Никколо. Вера? Но разве ты не видишь, во что выродилась церковь? Да и самые основы христианской веры, в сущности, вредны для общества.

Боттичелли. Вредны? Ты сошел с ума! Христианство — это милосердие, это кротость, это человечность!

Никколо. А как это оборачивается в реальном мире?! Мы видели сами! Пророк не просто казнен. Он отвергнут! Синьор Фичино, вы лучше знаете древних. Вот когда были люди! Какие художники, политики, воины! Куда все это девалось! Или иссякла доблесть в сердцах итальянцев?

Фичино. Варвары разрушили наш мир.

Никколо. Нет, дело не только в них! Главная причина — различие религий: древней и нашей. Древняя религия искала величие души, силу и красоту тела, все, что делает человека доблестным. А наша? Она видит высшее благо в смирении. Она обессиливает лучших людей и предает их в жертву худшим. Посмотрите хотя бы, кто процветал при добродетельном монахе Савонароле! Лживые проповедники, политические ловкачи, богомазы, посредственность... Кругом торжествует посредственность!

Боттичелли. И в этом, по-твоему, тоже виноват фра Джироламо?

Никколо. Да. Виноват! Нельзя братья за дело, которого не знаешь! Он хотел строить управление на любви. Это все равно что возводить дом на воде без свай.

Фичино. Но мораль...

Никколо. А откуда мораль? Человек рождается голеньким, без тени смысла в голове.

Фичино. Я не могу поверить в это. Человек не животное. Он наделен высоким духом — пусть даже мы не знаем, как это происходит.

Никколо. А чем мы лучше животных? Разве лошадь или корова не добрее человека? Волки надежнее в дружбе, птицы нежнее в любви, а муравьи крепче спаяны между собой.

Микеланджело. Тот, кто создал все сущее, выбрал затем из него наиболее прекрасное, дабы показать все, на что способно его божественное искусство, в человеке.

Безудержный и низкопробный люд
Низводит красоту до вожделенья,

Но ввысь летит за нею светлый ум.
Из тлена к божеству не досягнут
Незрящие, и чаять вознесенья
Неизбранным — пустейшая из дум! *

Веттори. Не знаю, как насчет души — об этом лучше спросить у монахов, — но я уверен, что в мире нет ничего прекраснее человеческого тела, да простят мне святые отцы эту грешную мысль!

Никколо. Да так ли это, Веттори? Кошка изящнее женщины.

Веттори (*весело*). О, если бы люди были добродетельны, как кошки весной...

Фичино (*в том же духе*). Или отзывчивы, как собаки по ночам...

Веттори. Импозантны, как черви...

Фичино. Или умны, как коровы...

Микеланджело. Оставьте, господа! Послушаем Никколо. Он отводит душу после костра. Тебя это потрясло не меньше, чем Боттичелли. Ведь это так, со знайся, Никколо?

Никколо. Сознаться? Я в ужасе. Не толпа, Боттичелли, развращенный народ — вот что ужасно. Люди изменчивы, как море. Давно ли они поклонялись Лоренцо? Вчера — Савонароле, сегодня — республике, а завтра — кто станет их идолом завтра?..

Фичино. Вы юноши, и вы можете позволить себе быть несправедливыми! Одно меня пугает — это ваше нетерпение, ваша жажда перемен. Это рождает горечь, разочарование, подобное тому, что испытываешь ты, Никколо. Нет, мир не застыл, он движется вперед, и время обновляет все.

Никколо. Мы сможем все обновить, если сорвем покровы святости со всего — с человека, государства, морали. Если отбросим иллюзии и мифы и взглянем смело в глаза правде! Римляне имели мужество видеть предметы и людей такими, какими их создала природа. Они знали меру вещам и делам. Знали цену проповеди и оружию!

Фичино. Христос не был вооружен.

Никколо. И потому погиб.

* Стихи Микеланджело.

Фичино. Он не погиб. Он дал себя распять, чтобы жить вечно в наших сердцах.

Никколо. Слова... Христос был обречен! И наш фра Джироламо тоже. Торжествовали только вооруженные пророки: Моисей, Кир, Тезей, Ромул.

Микеланджело. Так ты за насилie, мессир Никколо?

Никколо. Нет! И мне не нужно доказывать вам это. Но как изгнать варваров и воссоединить Италию, томящуюся под игом мелких тиранов?! Скажи ты, Микеланджело! Проповедью?! Ведь не послушают, нет, не послушают...

Италия, раба, скорбей очаг,
В великой буре судно без кормила,
Не госпожа народов, а кабак! *

О, если бы только явился великий человек — храбрый, мудрый, добродетельный... Добродетельный! Пусть он только явится, и доблесть проснется в каждом итальянце!

Микеланджело. А мне уж позволь тогда отбыть во Францию, а еще лучше в Британию, подальше от такого величия! Добродетельный тиран! Ты на опасном пути, Никколо! Тебе ли, с твоими вечными увлечениями, играть в политические игры? Что до меня, то я нынче же покидаю Флоренцию. Прощайте, господа! (К Никколо.) И ты, мой друг, прощай. Желая тебе не обмануться в твоих надеждах.

Никколо. Прощай, Макеланджело! И тебе не отси- деться в античном храме! Ты еще вернешься сюда, к нам, в нашу родную Флоренцию...

* Стихи Данте.





ВОСХОЖДЕНИЕ

М

акиавелли... Микеланджело... Фи-
чино... Боттичелли...

Откуда пришли эти гиганты?
Пришли так естественно, так обы-
денно и стали деловито и основа-
тельно творить новую эпоху. Она
ли их породила, они ли ее создали?

Возрождение... Само это слово звучит как торже-
ственный хорал, как симфония, как гимн человеку. Оно,
это слово, едва мы произносим его, вызывает в созна-
нии яркие, многокрасочные образы.

«Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи — мы могли видеть ее в Эрмитаже — воплощение трепетного и нежного материнства — и по контрасту воплощенное страдание в его «Святом Иерониме»; властный, неукротимый «Моисей» — и лиричный, обаятельный «Давид» Микеланджело, вся Сикстинская капелла — это живая трагедия живого, смертного, незащищенного существования; красочные полотна, фрески, полные изящества и движения скульптуры в храме святого Петра в Риме. Рафаэль, Тициан...

Затем наше воображение уводит нас за пределы Италии, и мы видим героического Дон-Кихота, смятенного Гамлета, торжествующего Гаргантюа. Перед нами встают имена Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Дюрера. Политическая и социальная мысль эпохи представлена Макиавелли, Гвиччардини, Эразмом Роттердамским, Ульрихом фон Гуттенем, Лютером, Кальвином и грозным Томасом Мюнцером; а прямо вслед за ними идут те, кто уже олицетворяет начало нового времени, — Коперник, Джордано Бруно, Галилей.

Возрождение вызывало и долго еще будет вызывать жгучий интерес у все новых поколений своим величием, своей неожиданностью, неповторимостью. Не только интерес — нескончаемые споры. И хотя в этих спорах еще многое остается и будет оставаться неясным, тем не менее основные причины этого бурного взлета человеческого духа более или менее известны.

Это и развитие раннекапиталистических отношений вследствие ликвидации крепостничества, что сформировало новый тип личности — предприимчивой, активной, свободомыслящей. Это и бурные столкновения сословий, групп, государей, сопровождавшие становление абсолютизма в Европе, что порождало огромный накал человеческих страстей — неизменный источник творчества. Это и борьба светской и духовной власти, которая привела к краху политические притязания римской церкви, что сопровождалось подъемом антиклерикализма, усилением духа Реформации, взлетом свободомыслия. Это и расцвет городов, особенно в Италии, с их независимостью, свободолобием, активной включенностью личности в процесс социальной, политической и культурной жизни. Это и развертывание внутриевропейских связей, сближение народов и стран, экономического и культурного обмена. Это и великие географические открытия —

Индия, Китай, Америка; человек расширил свои горизонты, увидел новые, неведомые ранее поприща для деятельности, для проявления своих талантов.

Вся культура Возрождения стоит обеими ногами на этом социальном и политическом основании, но, конечно же, сама она не может быть выведена только из него. Она рождена в лоне культурной традиции, восходящей к Древнему Риму и Греции. Оковы средневекового церковного догматизма вызвали огромное накопление пара в котле человеческого сознания. Это не могло не привести раньше или позже к взрыву котла, к высвобождению мысли, к взлету творчества. И не случайно, что взрыв произошел именно в Италии, где страсти — религиозные, политические, социальные — были особенно накалены, в Италии, которая никогда не утрачивала полностью античной традиции и всегда продолжала с тоской оглядываться на свое былое величие.

Дух Возрождения. Об этом тоже спорят до бесконечности. И не удивительно: чрезвычайно трудно (возможно ли вообще?) свести к одной формуле такое гигантское многообразие литературного, образительного, политического, философского, технического, военного творчества. Творчества, представленного внутри Италии — Флоренцией, Венецией, Генуей, Римом, Миланом, Неаполем и многими другими центрами, имевшими свои художественные и литературные школы, а затем Англией, Францией, Испанией, Германией. Последние исследования находят аналогичные процессы далеко за пределами Европы: в странах Ближнего Востока и Азии — в Персии и Китае, на территории нашей Средней Азии и Кавказа.

Можно ли, нужно ли интегрировать всю ту множественность художественных стилей, литературных школ, форм стихосложения и драматургии, направлений философской мысли, естественнонаучного знания?

Медиевисты (специалисты по истории средних веков и Возрождения) пишут о «реализме Возрождения», о «героизирующей идеализации», о «платонизирующей культуре», таящей в себе черты абстракции и отрыва от реальности. Нам нет нужды вдаваться во все разнообразие оценок различных авторов, трактующих к тому же о своеобразных процессах раннего (Треченто, XIV век), зрелого (Кватроченто, XV век) и позднего, или высокого (Чинквеченто, XVI век), Возрождения.

При всем различии оценок все сходится в одном: дух Возрождения — это дух гуманизма, это апофеоз человеческой личности — ее красоты, ее мощи, ее универсальности. Внешняя сторона Возрождения — восстановление и развитие античной культуры, греческой и латинской. Внутренняя сущность Возрождения — освобождение человека от оков церкви, власти средневековой морали, схоластики, пошлости, посредственности. Возрождение на основе гуманистической античной культуры, растоптанной варварами, попранной (но незабытой!) в течение срединных столетий. Возрождение духа человеческого от многовековой спячки, уснувшего неведомо почему и пробудившегося неведомо от чего.

Дух Возрождения предвосхитил еще Данте — последний поэт средневековья и первый поэт Возрождения. Флорентиец, как и Макиавелли, Данте не случайно в своей «Комедии», названной потом «Божественной», выбрал в качестве своего учителя и проводника древнеримского поэта Вергилия.

Франческо Петрарка, которого Макиавелли чтит не менее, чем Данте, стал первым гуманистом эпохи Возрождения. Он в кратких словах выразил ее истоки, ее направленность:

Юристы забыли Юстиниана, медики — Эскулапа.
Их ошеломляли имена Гомера и Вергилия.
Плотники и крестьяне бросили свое дело
И толкуют о музе и Аполлоне.

Мы с вами находимся в периоде высокого, или позднего, Возрождения. Это самый конец XV и первые десятилетия XVI века. Именно в этот период происходит то, что Энгельс характеризует как «величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством»*. Этот переворот распространился на все без исключения области человеческого существования — экономику, социальные отношения, государственное устройство, идеологию, но здесь, в Италии, он выразился прежде всего и сильнее всего в области культуры: литературы, изобразительного искусства, политической философии.

И поскольку мы упомянули о политической философии, самое время вернуться к нашему герою.

Никколо Макиавелли родился 3 мая 1465 года во

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 346.

Флоренции. Появился он на свет с открытыми глазами, подобно Сократу, Вольтеру, Галилею, Канту и многим другим отмеченным богом (как говорили в старину) или историей мыслителям и деятелям. Тогда это было редкостью и дало обильную пищу для разговоров соседям семьи Макиавелли. Сейчас это стало обычным делом — с открытыми глазами рождаются мальчики и девочки, представляющие все слои общества и все профессии, что, без сомнения, надо отнести еще к одному, пускай не самому значительному, показателю прогресса, сделанного человечеством на протяжении последних пяти столетий...

Отец Никколо — Бернардо Макиавелли — гордился аристократическим происхождением своего рода, который был известен уже в XIII веке. Фамилия Макиавелли образовалась из прозвища, которое переводится как «вредный гвоздь». Это прозвище означало, что его носители могут постоять за себя. В XIV—XV веках этот род выдвинул множество крупных деятелей Флорентийской республики. Однако деятели эти, по-видимому, больше отличались на поприще управления и культуры, чем в делах житейских. Поэтому семейство Макиавелли располагало весьма скромным достатком. В обнаруженной впоследствии «Книге заметок», которую Бернардо Макиавелли вел с тщательностью человека бедного или скарёдного, отмечено, что семья обходилась лишь одной служанкой-девочкой и нередко испытывала серьезную нужду.

Родители Макиавелли были образованными людьми. Его отец, юрист по профессии, поддерживал дружеские связи с известными книгопродавцами. В их числе был и Джунта, потомок которого позднее стал первым издателем книг Никколо. Установлено, что именно в отцовской библиотеке Никколо впервые обнаружил работу древнеримского историка Тита Ливия, которая была положена затем в основу наиболее крупного из его сочинений — «Рассуждения на первые три книги Тита Ливия».

Мать Никколо также была не чужда интереса к культуре: сохранились сведения о том, что она писала поэмы, главным образом религиозного содержания. Семья была немаленькая: кроме Никколо, который родился вторым, были еще две сестры и брат. Заработка Бернардо едва хватало на покрытие самых непосред-

ственных нужд семьи. Это дало повод Никколо писать, что он родился бедным и научился нуждаться раньше, чем наслаждаться жизнью.

О событиях детства, юности и ранней молодости Никколо (до поступления его на службу, когда ему минуло двадцать девять лет) известно мало. Судя по всему, он не получил систематического образования. В отличие от Франческо Гвиччардини — его знаменитого современника и друга — Никколо не посещал университета, а учился дома. Латынь, которая в ту пору как раз входила в моду, он стал постигать с семи лет.

Вскоре он приохотился к чтению древних писателей и историков, а также великих творцов новой итальянской литературы — среди них прежде всего Данте, Петрарка, Боккаччо. Греческого языка он, по-видимому, так и не освоил — даже самым ревностным поклонникам Макиавелли не удалось доказать обратного. Тем не менее благодаря усилиям родителей и влиянию культурной среды, а также его собственной настойчивости он был вполне удовлетворительно подготовлен к деловой карьере.

По справедливому замечанию выдающегося советского исследователя А. Дживилегова, который написал яркий очерк о жизни и деятельности Макиавелли, настоящей школой для Никколо была флорентийская улица. Здесь он получал образование, здесь проходил практический курс политической науки. Любознательный, активный, порывистый, Никколо, как можно предположить, уже в молодые годы стремился попасть в центр общественной и культурной жизни Флоренции.

В Италии, да и во всем тогдашнем мире трудно было бы найти город, где можно было бы с большим успехом изучать политику, чем во Флоренции.

«Во Флоренции политиками были все... Не всегда во Флоренции политический опыт накапливался в спокойной обстановке, иногда его приходилось усваивать под звон мечей, под грохот разрушаемых зданий, под жуткое гудение набата в дыму пожаров: среди заговоров и революций. А в мирное время политика сплеталась с весельем, ей вторили карнавальные песни и хороводные припевы» *.

Флоренция была одной из типичных торгово-промыш-

* Никколо Макиавелли. *Academia*. Соч., т. 1, с. 24.

ленных республик Италии, раздробленной на множество княжеств, герцогств, республик. Она жила в состоянии постоянных конфликтов, войн, малых и больших, нескончаемых дипломатических интриг со своими ближними и дальними соседями: Романьей и Римом, Ломбардией и Венецией, Сицилией и многими другими областями Апеннинского полуострова. Она находилась в состоянии перманентной войны с внешними завоевателями.

Испанцы и французы попеременно оспаривали господство над итальянскими провинциями. Их влияние на страну было столь значительным, что Макиавелли вслед за другими итальянскими историками вообще не включал ряд провинций — Пьемонт, Геную, Венецию и Сицилию — в проекты объединения Италии. Сицилию же они считали испанской даже по языку.

Как выглядела Флоренция в те времена? Картины известных художников — Боттичелли в их числе — донесли до нас живые образы самого города, его домов, его площадей и улиц. И первое, что можно заметить, — это что он мал, этот город. Его можно обойти кругом едва ли не в полдня. Он как большой дом разросшегося семейства. Достоинство такого города, что он весь у тебя под рукой, ты в нем не потеряешь. Тебя не давят махины зданий, не настораживает обилие улиц, не смущает бесконечное изобилие незнакомых лиц. Ты чувствуешь себя вровень с городом. Он тебе по плечу. Ты в нем заметен. Ты — личность. (Да простят мне эту вольность те философы, что доказывают, будто личность появилась лишь в новейшее время, а значит, рождена жизнью больших городов.)

Как выглядел город во времена Макиавелли?

«...Я родился и возрос в великом городе на ясном Арно», — писал Данте. «Дивным светом мой город блещет», — вторил ему Микеланджело. Как схватить, как представить себе это дивное сияние?

Общественная жизнь такого города сильно напоминает театр. Да, именно театр — все публично, все в действии, все на виду, театр своеобразный, где актеры и зрители то и дело меняются местами. Кстати говоря, совсем не случайно, что значительная часть действия пьес Шекспира, Кальдерона, Лопе де Вега происходит на улицах средневековых городов. Это естественные подмостки. Здесь, на улицах и площадях, можно увидеть постоянные стычки между различными группировками и партия-

ми, между солдатами и вооруженной толпой, между народом и искателями легкой наживы, между Капулетти и Монтекки. Буйные столкновения на публичных собраниях, религиозные диспуты на глазах многочисленных слушателей, подбадривающих то одну, то другую сторону, привычка решать политические споры мечом и кинжалом, быстрая и нередко легкая смена правительств — все это составляло обычную картину жизни города.

Нам такая степень и форма публичности жизни показалась бы странной и обременительной, но для людей того времени это было нормально, так же как для нас обыденны движения по воздуху со скоростью тысяча километров в час, беседа с человеком, находящимся на расстоянии десяти тысяч километров, и даже цветные картинки, показывающие живого человека, который бродит по Луне и не падает на Землю...

Во Флоренции во времена Макиавелли было примерно 98 тысяч жителей. Не так уж и мало как будто, всех не упомнишь. Но активную часть составляли только 3200 человек. Это те, кто имел право участвовать в заседаниях Большого совета, представляющего собой род народного собрания, олицетворяющего республику. Эти люди вполне могли знать друг друга в лицо, и, уж конечно, все представители крупных фамилий постоянно сталкивались между собой на поприще политики, или торговли, или искусства.

В число активных входили земельные аристократы, купцы, владельцы мануфактур, богатые ремесленники. Впрочем, численность Большого совета постоянно менялась. Когда он насчитывал несколько сот человек — это называли тиранией, когда несколько тысяч — демократией. Как мы видим, дистанция между этими противоположными режимами была, казалось бы, не так уж и велика — она измерялась нулем в конце числа. Но борьба за участие в Большом совете достигала самых ожесточенных форм. Верхние три тысячи «популо» составляли народ в отличие от нескольких сот человек, входивших в аристократию.

Конфликты между народом и аристократией составляли живую ткань политической жизни города. Остальная часть населения называлась «плебе». Положением этой последней были мало озабочены даже самые радикальные реформаторы, выступавшие в защиту народа и республики. Их использовали как материал для борьбы

за свои права и привилегии и представители народа, и аристократия. Мы просим читателя обратить внимание на это обстоятельство.

Когда мы читаем в «Истории Флоренции» о «народе», не следует думать, что речь идет о всех слоях общества, о его низах. Нет, речь идет главным образом о его полноправной верхушке, остальная же масса рассматривается как объект управления, она лишена самостоятельных прав и самостоятельной политической позиции.

Но хотя полноправных граждан было немного, количеству партий и группировок того времени может позавидовать любая современная буржуазная демократия. В годы молодости Никколо в среде «популо» действовали политические группировки, которые назывались «бешеные», «теплые», «товарищи» и другие. Как правило, они были вооружены. Нередко они бесчинствовали на улицах, врываются на заседания Большого совета, вступали в стычки с солдатами Синьории, подвергали осаде Палаццо Веккьо — резиденцию правительства республики. В социальном отношении полноправная часть населения делилась на представителей земельной аристократии, торгово-промышленной буржуазии, рантьевской буржуазии, ремесленников.

Низы общества — «плебе», или подлинный народ, как их называли бы сейчас, были бесправны, но не безгласны. «Плебе» участвовали в спорах и стычках, вовлекаемые в них теми или иными группировками и партиями, а иной раз выдвигали из своей среды вождей, которые объединяли их для самостоятельных действий.

В «Истории Флоренции» Макиавелли посвящает не одну страницу политическим движениям «плебе». Он описывает, например, знаменитое восстание чомпи в 1378 году, представлявшее собой едва ли не первую в истории города попытку захвата власти низами общества — предшественниками современного рабочего класса.

Мы узнаем вначале о борьбе среди полноправных граждан, затем повествуется о движении городских низов (*infima plebe della città*). Эти люди, по словам Макиавелли, питали жгучую ненависть к богатым гражданам и законам цехов, ибо они находили, что заработная плата, которую они получают за свои труды, гораздо меньше, чем они по справедливости заслуживают...

Восстание чомли сильно потрясло власть аристократии в городе, но в конце концов закончилось поражением низов.

Подобные события составляли фон, на котором разворачивалась официальная политическая история города. Молодой Никколо имел возможность наблюдать несколько крутых политических поворотов, наполненных драматическими событиями, надеждами, разочарованиями, опасениями для всего населения Флоренции.

Юные годы Никколо прошли во времена господства Лоренцо Медичи, прозванного Великолепным, который правил Флоренцией с 1469-го по 1492 год. Это было полновластное личное правление, тяготевшее к монархическому, но сохранявшее внешние формы республиканских учреждений. Ловкий и дальновидный правитель, Лоренцо был в то же время человеком широких культурных интересов. Его двор отличался пышностью и блеском. Сам Лоренцо, поэт и философ, покровительствовал художникам, писателям, ученым, ценил таланты, приближал их к себе, в его доме делал первые шаги молодой Микеланджело.

После смерти Лоренцо начался период упадка режима. Сын Лоренцо, Пьеро Медичи, прозванный трусливым и несносным, удержался у власти всего лишь два года. Последний год его правления (1494) ознаменовался известным походом французского короля Карла VIII, который положил начало итальянским войнам; они продолжались с разной активностью более полувека, до 1559 года. Вся сознательная жизнь и деятельность Макиавелли прошла под знаком этих войн.

В 1494 году Пьеро Медичи сдал французам тосканские крепости, охранявшие Флоренцию с севера. Возмущенный народ изгнал из Флоренции Пьеро Медичи и его семейство.

Была восстановлена республика. Вместе с этим возобновилась ожесточенная борьба различных группировок верхних слоев общества за свое влияние и власть.

Как раз в этот период выдвинулся доминиканский монах Джироламо Савонарола. Мы уже имели случай познакомиться с ним раньше, когда приоткрывалась Завеса времени и нам удалось заглянуть в подлинную (или воображаемую) картину жизни Флоренции XV века. Савонарола был настоятелем монастыря Сан Марко, но вскоре он стал оказывать решающее влияние

на все дела республики. Его возвышению способствовала мужественная позиция, занятая им во время переговоров с Карлом VIII. Савонарола пригрозил королю народным восстанием, и французы вынуждены были оставить город. Это вызвало бурное ликование флорентийцев и положило начало их восторженному преклонению перед Савонаролой.

Его неистовые проповеди в защиту свободы Флоренции, против французских поработителей, противоречивость его идей и поступков дали повод для самых крайних оценок со стороны его современников и потомков — от самых восторженных до безоговорочно осуждающих. Религиозный фанатик, духовный тиран для одних и борец против официальной церкви, праведник, подвижник, народный заступник для других — таким был и остается неистовый Савонарола. Несомненно, что личность этого человека не менее характерна для духовной жизни эпохи Возрождения, чем Леонардо да Винчи, Микеланджело или Макиавелли.

«Тот, кто утверждает, что Савонарола был «человеком средневековья», не учитывает в достаточной степени его борьбу с церковными властями, борьбу, которая, по существу, была направлена на то, чтобы сделать Флоренцию независимой от церковной феодальной системы», — писал А. Грамши.

Деятельность Савонаролы была первым примером разложения средневековой схоластики и церковного религиозного сознания. В этом смысле он был прямым предтечей Реформации, охватившей впоследствии многие страны Европы. Страстный и самозабвенный доминиканец выплеснул негодование, которое накапливалось веками среди искренне верующей части церковников. Одновременно он остро поставил многие наболевшие социальные проблемы своего времени.

Бурные проповеди фра Джироламо на протяжении четырех лет потрясали воображение флорентийцев. Он обличал знать, и прежде всего Медичи, призывая к равенству состояний. Он ратовал в защиту низов. Подобно другим деятелям своей эпохи, он тоже мечтал о Возрождении. Но если художники, поэты, мыслители видели идеал культуры, науки, искусств в доблести и мужестве Древнего Рима, то Савонарола жаждал Возрождения на почве ранних христианских верований с их наивными мечтаниями о добре, о справедливости, о челове-

ности, о чистоте нравов во имя Христа. Проповедям и призывам доминиканского монаха не чужды уравни-тельные представления, которые всегда затаенно жили в сознании человека, находя живой отклик в душах низовых слоев общества.

Смело вторгаясь в область политических отношений в городе, Савонарола предложил план широких социальных реформ, отвечавших прежде всего интересам средних слоев населения. Политическая реформа, осуществленная под его влиянием, значительно расширила группу активных граждан и усилила ответственность власти перед народом.

Савонарола убеждал других и, надо думать, верил, что через него вещает не кто иной, как Иисус Христос. Его мистические откровения были сродни видениям Жанны д'Арк, что внушало ему гипнотическую силу, а вместе с этим укрепляло и мужество при жестоких испытаниях, выпавших на его долю.

Легко представить себе, какое возбуждение в городе вызывали непрерывные проповеди фра Джироламо, которого неизменно именовали пророком. Бедные восставали против богатых, благочестивые жены против распутных мужей, народ против князей церкви. Религиозные шествия с песнопениями, проповедями завершались красочными карнавалами. Здесь перемешалось все: вера, любовь и политика. Это не могло не оставить неизгладимый след в душе молодого Никколо Макиавелли, как и у его сверстников — Микеланджело, Веттори, да и Боттичелли, который был старше Никколо на двадцать четыре года и, быть может, более других увлекся проповедником.

Каково было отношение Никколо к Савонароле? Это до сих пор остается предметом спора среди исследователей. Многие зарубежные историографы рисуют эти отношения в одних черных красках. Стала обычной ссылка на письмо молодого Макиавелли от 9 марта 1498 года, направленное Ричардо Бекки — послу Флоренции в Риме. Это письмо, между прочим, примечательно еще и тем, что представляет собой первый дошедший до нас документ самого Макиавелли и открывает биографию периода его зрелости.

Уже в этом письме мы обнаруживаем черты будущего мыслителя. Он судит о Савонароле исключительно с политической точки зрения. Он лишь мимоходом, с за-

метным пренебрежением отзывается о религиозном восторге вокруг пророка и обходит полным молчанием его нравственно-этические идеи. Зато Макиавелли подробно останавливается на вторжении пророка в область политики.

Никколо упоминает о двух проповедях и показывает, как резко они различны между собой. В первой монах критикует соперничающие партии и утверждает, что он один стоит между ними, преграждая путь к торжеству тирании. Это было в момент очередного переизбрания Синьории. Надобно заметить, что многие посты в городе переизбирались тогда каждые два месяца, и Савонарола опасался, что новый состав выступит против него и возьмет сторону папы. Вторая проповедь была произнесена, по-видимому, когда выяснилось, что новый состав Синьории благоприятен для доминиканца. Это отразилось на тоне его речи, где нет ни слова об опасности тирании и на место критики партийного соперничества поставлены призывы к единению вокруг платформы, выдвигаемой Савонаролой. Сравнивая обе эти проповеди, Никколо пишет: «Таким образом, по моему мнению, он играет на обстоятельствах и приукрашивает свою ложь с тем, чтобы угодить им».

На этом основании многие западные биографы Макиавелли единодушно твердят о его отрицательном отношении к Савонароле. Думается, однако, что это не так. Они не принимают во внимание два обстоятельства. Первое: письмо было написано в момент, когда деятельность Савонаролы была на ущербе — за два с половиной месяца до его казни. Это неизбежно отразило эволюцию отношения к пророку со стороны интеллектуалов того времени, а вместе с ними самого Никколо. И второе: упускаются из виду последующие более зрелые суждения Макиавелли о казненном монахе, где он воздает ему должное как человеку высокой нравственности и чистых, хотя и неосуществимых, намерений.

Должно принять во внимание еще одно обстоятельство: при господстве Савонаролы Никколо так и не смог пробиться к вождельной политической деятельности. Двери Синьории были для него закрыты. Можно только догадываться о том, что ему, очевидно, мешала принадлежность к довольно известной в городе аристократической фамилии, а возможно, неосторожные высказывания столь легкого на язык остроумца.

Остается фактом, что первой своей должностью он обязан как раз крушению режима Савонаролы, когда произошла почти полная смена всего состава управляющих во Флоренции. 19 июня 1498 года Макиавелли был избран на пост второго канцлера республики, и уже 14 июля того же года он назначается секретарем Совета (коллегии) десяти. Эти посты он сохранил до ноября 1512 года, когда на смену республике в результате переверота снова пришли Медичи.

Так началась многолетняя деятельность флорентийского секретаря, не принеся ему особой славы или состояния, но позволившая накопить ценнейший практический опыт, спрессованный впоследствии в его трудах.

Высшему представительному органу Синьории подчинялся Совет десяти как исполнительный орган управления. Он поддерживал внешние сношения с другими государствами, нанимал войска, укреплял крепости, вел войны. Во главе двух канцелярий при Совете десяти стояли канцлеры, или секретари. Второй канцлер формально был в подчинении у первого. На протяжении всего периода, когда Макиавелли выступал в этой должности, первым канцлером был Марчелло Вирджилио Адриани, человек, который, по некоторым сведениям, устроил его на службу и покровительствовал ему. За секретарями не закреплялись определенные функции, их могли перебрасывать из одного ведомства в другое, давать временные поручения дипломатического характера, поручать решение внутренних проблем.

Поначалу Макиавелли занимался по преимуществу внешнеполитическими делами, а в 1507 году он получил новое назначение в Совете десяти, в задачу его теперь входило создание ополченской армии. Пост секретаря не относил Макиавелли к числу лиц, которых сейчас называют «decision makers» (принимающие решения). Но этот пост был достаточно ответственным и весьма конфиденциальным, поскольку обеспечивал доступ к важным государственным секретам. По традиции секретари были широко образованными людьми, не чурающимися литературного творчества и научной деятельности.

После изгнания Медичи Флоренция больше всего была озабочена тем, чтобы власть не концентрировалась в руках какой-либо личности. Поэтому выборы в Синьорию производились по жребию и только на очень корот-

кий срок. Глава правительства, который носил название гонфалоньера справедливости, избирался лишь на два месяца и не мог вновь избираться ранее чем через три года. Такая форма, хотя она и давала известные гарантии против сползания к диктатуре, порождала значительную слабость правительственной деятельности, что особенно сказывалось в периоды кризисов, которые следовали один за другим. Впоследствии в один из острых периодов для республики, когда возникла непосредственная угроза ее безопасности, была предпринята правительственная реформа. В результате создается должность пожизненного гонфалоньера, и на эту должность избирается Пьеро Содерини, сторонник умеренной линии, убежденный республиканец. Этот выбор оказался удачным с точки зрения интересов Макиавелли, который вскоре стал близким человеком, даже личным другом и помощником гонфалоньера.

Секретари получали поручения от Синьории или ее советов, писали доклады, сообщения, давали заключения по тем или иным сложным проблемам, участвовали во внешнеполитических миссиях, а иной раз (это было куда реже) выступали в роли непосредственных организаторов, практически выполняя то или иное дело. Они имели сравнительно широкие полномочия в постановке проблем перед Синьорией, особенно в своих суждениях и выводах, где проявляли широкую самостоятельность. Они вносили важные предложения, настаивали на осуществлении мероприятий, но они были абсолютно ограничены в отношении принятия решений: Синьория и ее советы ревниво оберегали это свое право, оговаривая малейшее отклонение от инструкций, в особенности когда дело касалось дополнительных расходов.

Ведя переговоры с зарубежными государствами, секретари, так же как другие представители миссий, жестко придерживались полученных указаний, запрашивая каждый раз полномочия для той или иной акции. Это создавало дополнительные затруднения, затягивало дипломатические переговоры, а нередко приводило к серьезным упущениям в отношении интересов Флоренции. Но такой порядок твердо сохранялся на протяжении всей деятельности Макиавелли, который приобретал все больший вес, пользуясь растущим доверием Пьеро Содерини.

Несмотря на эти ограничения, сложившийся характер работы был близок натуре Никколо Макиавелли.

Он находил удовлетворение своей бурной жажде деятельности в пытливом поиске ответов на коренные вопросы политической жизни, в постоянной приобщенности к наиболее важным, сложным и деликатным внешним и внутренним проблемам, перед которыми стояла республика, в бесчисленных контактах, беседах, наблюдениях над правителями других итальянских и европейских государств, в возможности широко и свободно излагать итоги своих наблюдений перед Синьорией, отстаивать свою позицию. В отличие от своего друга, первого канцлера, страстный, увлекающийся и порывистый Никколо вкладывал в эту работу всю свою душу, жертвуя личными интересами и не задумываясь о дальнейшей карьере.

Как справедливо замечает видный биограф Макиавелли Р. Ридольфи, у которого мы почерпнули многие биографические сведения о Никколо, он глубоко любил свою родную Флоренцию, и его забота о ее благополучии, преуспевании была подлинной заботой гражданина. Он страстно любил Италию и мечтал о восстановлении, возрождении ее доблести, ее величия, ее роли в мире. Это была любовь одного из первых великих итальянских патриотов, опередившего свое время на много столетий.

Мы не думаем, что правы те биографы, которые говорят о растущем чувстве горечи у Никколо в период его практической деятельности — из-за неудавшейся карьеры, из-за не очень сложившейся личной жизни. Деятельность — это и была судьба Никколо в тот период, а величие целей, которые виделось ему, давали могучий порыв, поднимавший его над обыденными интересами. Кроме того, ему по складу характера, несомненно, импонировала роль «теневого» человека, черпающего удовлетворение в себе самом, в ощущении своего влияния, своей значимости, своей силы, основанной не на формальной власти, а на интеллектуальном превосходстве.

У нас есть все основания полагать, что четырнадцатилетний период практической работы был счастливейшим временем для Никколо. Хотя он ни на шаг не продвинулся по службе и не приобрел богатства, престиж его был высок, работа давала широкий простор для воображения, позволяла накапливать ценнейшие наблюдения о политическом устройстве государств в Италии и во

всей Европе. Рано проявившаяся склонность к политическому анализу и литературной деятельности находила выход в мастерски составляемых докладах и донесениях по поводу деликатных поручений Совета десяти.

А поручения эти были не только важны для Флоренции, но и чрезвычайно занимательны для острого политического ума Никколо. Первое из них касалось соглашения между Флоренцией и Венецией по поводу Пизы. Никколо составил об этом подробный доклад о пизанской войне (1499 г.), который представляет собой его первый опыт размышлений о военном искусстве, еще недостаточно оригинальный, но уже вполне основательный. В марте того же года он едет с поручением к правителю Пьомбино Якопо IV д'Аппиано — кондотьеру, который обратился к Флоренции с просьбой увеличить ему жалованье. В июле он отправляется в Форли к тамошней правительнице графине Екатерине Сфорца по поводу продления срока военной службы ее сына. Графиня, которую Никколо называл «демоном в юбке», в свои 36 лет пережила трех мужей и с невероятной жестокостью мстила за убийство первых двух.

Затем начинается наиболее интересный четырехлетний период (1500—1503 гг.), когда Макиавелли участвует в важных дипломатических миссиях при дворах Людовика XII — французского короля, Цезаря Борджа — герцога Валентино, а затем нового папы Юлия II. Он встречается с французским королем и его близким советником, первым министром, кардиналом Руанским Жоржем д'Амбуазом, хитрым и способным дипломатом. Вместе с Франческо делла Каза, возглавлявшим миссию, Никколо пишет интересные донесения, насыщенные острыми политическими наблюдениями.

Особый след в душе молодого дипломата оставили его встречи с Цезарем Борджа. Личность этого человека произвела сильнейшее впечатление на воображение Макиавелли.

Второй сын папы Александра VI Цезарь Борджа прожил всего лишь тридцать один год, но успел прославиться более любого из других современных ему авантюристов Италии. В 17 лет он получил звание кардинала, но вскоре сложил с себя сан и благодаря содействию Александра VI получил от Людовика XII титул герцога Валентино.

Борджа стремился создать себе мощное государство в Центральной Италии. Идя к этой цели, он безжалостно уничтожал мелких тиранов, управлявших отдельными городами Романья, и представителей феодальной аристократии. Свою жестокую борьбу он оправдывал идеей создания объединенного итальянского государства. Прикомандированный (как сказали бы мы сейчас) к его двору, Никколо Макиавелли имел случай опробовать на деле свою давнишнюю мечту о государе, способном осуществить великую патриотическую задачу единения итальянских провинций.

Здесь, пожалуй, уместно и любопытно снова приподнять Завесу времени...





Г О С У Д А Р Ь

Зала во дворце в Чезене. На возвышении стоит кресло Цезаря Борджа, герцога Валентино. Впереди Никколо Макнавелли.

Никколо. Нет, Фичино не прав! Слово не может заменить дела. А дело невозможно без власти! Безоружные проповедники оставляют след только в отдельных избранных душах. А вооруженные меняют законы, учреждения, нравы.

Но где найти такого пророка? Честного, как брат Иероним, и сильного, как Юлий Цезарь. Цезарь... Цезарь... Что, если это не случайное совпадение? Сына папы Александра VI Борджа тоже зовут Цезарь. Умный,

жестокий, коварный, как все испанцы, сильный, он ненавидит этих мелких тиранов и кондотьеров, он жаждет верховной власти. Что, если бы он мог распространить свою жажду на всю Италию, воодушевиться идеей единения всех наших республик и княжеств?! Какое поприще для деятельности! Какое будущее открылось бы перед нашей истерзанной страной! Но может ли Борджа стать чем-то большим, чем прежние мелкие убийцы вроде Гонзаго? Что, если может?

Входит Гвиччардини.

Гвиччардини. Я пребываю в сомнении и страхе, мессер Никколо. Уж скоро год прошел, как Цезарь Борджа, герцог Валентино, назначил меня председателем судебного трибунала и возложил высокую обязанность охранять законность в Романье. Мне удалось покончить с разбоями, убийствами и грабежами. Но Романья оказалась в еще более тяжком положении. Наместник герцога Валентино Рамиро де Орко творит такие жестокости, в сравнении с которыми бледнеют все прежние преступления. Я знаю, мой долг сообщить об этом герцогу. Но прислушается ли он к моему голосу? Особенно сейчас, когда сам он в большом затруднении из-за бунта Паоло Орсини, Оливеротто да Фермо и других главарей наемных отрядов, которые до этого ему верно служили.

Никколо. Надо сообразовываться с обстоятельствами. Посмотрим, чем кончится его встреча с кондотьерами Сенигалии. Сумеет Цезарь Борджа подчинить себе непокорных кондотьеров или они сделают его орудием своих разбойничьих планов? Посмотрим. Но какая смелость! Отправиться во главе слабого отряда в Сенигалию, где собрались эти заговорщики с их многочисленным войском! Это все равно что встать у пасти льва. Впрочем, в его гербе — дракон, пожирающий змей. Будем надеяться, что провидение будет на стороне дракона.

Входит дон Микеле, сподвижник Цезаря Борджа, капитан его наемных отрядов, а с ним и другие офицеры, мужчины, женщины. Среди них Барбера.

Дон Микеле. Я только что из Сенигалии, синьоры. Великий герцог встретился со своими союзниками, командирами отрядов Вителлоццо, Оливеротто и другими. Они все скоро будут здесь. *(Проходит в сторону.)*

Барбера (к Никколо). И вы здесь, синьор Никколо? Я рада видеть доброго флорентийца в этом вертепе.

Никколо. А, вы здесь...

Барбера. Здесь я та же, что и в любом другом месте. Я — Барбера, и я изображаю на сцене то, что вы так неуклюже делаете в жизни.

Никколо. А герцог?..

Барбера. Что нам с вами герцог, синьор Никколо?

Дверь открывается, и решительным шагом входит герцог Валентино, Рамиро де Орко, офицеры, солдаты, толпа. Герцог проходит к своему креслу и садится. Рамиро де Орко становится по правую руку от него и ставит правую ногу на ступеньку в свободной позе.

Де Орко. Я должен сообщить вам радостную весть, синьоры. Только что Вителлоццо, Оливеротто, Паоло Орсини и герцог Ровино, эти мерзкие заговорщики и злобные тираны, казнены в крепости Кафель дель Пьево. Вот нож, которым отрублена поганая башка герцога Ровино! (*Вытаскивает кинжал.*)

Все в ужасе молчат.

(*Продолжает раздраженно.*) Они хотели поймать в ловушку великого герцога, всех нас, а попались сами. Мы выкорчевали наконец эти гнусные семейства, которые безжалостно угнетали народ Романьи и других республик и княжеств. Заложен первый камень в здание единства всей Италии.

Герцог. Да, это так.

Де Орко. Восславим же господу нашего Иисуса Христа и возблагодарим великого герцога!

В ответ раздаются нестройные крики толпы.

Гвиччардини. Великий герцог! Я выступаю здесь от имени судебного трибунала, утвержденного по твоему высокому повелению. Народ Романьи радостно приветствует тебя! Я счастлив доложить, что ныне в провинции спокойно. Действуя от твоего имени, великого и грозного, мы водворили законность и порядок. Теперь прошу тебя без гнева выслушать меня, ибо я вынужден обратиться с жалобой и обвинением в отношении лица, тебе столь близкого, что я заранее чувствую всю трудность своей миссии.

Герцог. Говори.

Гвиччардини. Великий герцог! Я вынужден, я должен сказать тебе о человеке, который один стоит между тобой и народом Романьи, который действиями своими пятнает твое славное и доброе имя, который злоупотребил твоим доверием и обратил данную тобой власть на достижение личных целей.

Герцог (*подавшись вперед*). Так что же, где этот человек? Скажи немедля, я требую.

Гвиччардини (*подняв руку*). Вот он. Рядом с тобой. По правую руку от тебя. Это твой наместник Рамиро де Орко!

Герцог. Рамиро?!

Гвиччардини. Да! Нет имени, которое было бы сейчас более ненавистно народу Романьи, чем Рамиро де Орко! Нет семьи во всем городе, в которой кто-либо не был задет его действиями, казнен, изгнан, подвергнут пыткам, унижениям, поборам. Нет человека, который с ужасом и отвращением не отшатывался бы при виде этого палача. Кроважадная гиена ничто в сравнении с этим человеком, не знающим ни меры, ни жалости!

Герцог. Рамиро?!

Де Орко (*к сановнику*). Паршивый пес! Судебная крыса! Крючоктвор! Что понимаешь ты в управлении государством? Когда я принял дарованные мне герцогом полномочия и власть в Романье, во всей Италии не было провинции, где чинилось бы больше беззаконий, смут и беспорядков, чем здесь. И что же? Я должен был прибегнуть к вашей чернильной пачкотне, чтоб навести порядок? Нет! Здесь надо было действовать мечом и силой, как надлежит солдату и полномочному министру.

Герцог. Порядок — это главное в нашем государстве. Твердый порядок и закон!

Гвиччардини. Порядок введен не им, а нами! От него — нарушения закона и порядка.

Де Орко. Да! Я изгнал, а частью истребил представителей семейств, которые сеяли смуту и оказывали сопротивление законной власти герцога. Да! Я повесил вниз головой несколько мошенников и воров в устрашение всем остальным преступникам. Да! Я приказал казнить блудницу, которая развращала наших солдат и ссорила их между собой. Но вот результат! Ныне все в Романье — купцы, ремесленники и весь народ — еди-

ны в своем стремлении служить тебе, великий герцог, и повергают к твоим стопам свою глубокую любовь, мочтенье и покорность!

Гвиччардини. Но какой ценой?

Де Орко. Ценой? Какое значение имеет цена? Нет такой цены, которая была бы слишком высока за то, что народ обретает единство и приводится к покорности власти герцога!

Гвиччардини. Почему ты отвергаешь трибунал, учрежденный великим герцогом? Почему ты не расследуешь все дела законным образом?

Де Орко. В таком деле достаточно подозрения. Даже если из десяти подозреваемых девять окажутся невиновными, надо предать казни всех десятерых! Зато одним врагом у государя будет меньше.

Герцог (*тяжело глядя на сановника*). Ну, что скажешь ты на это?

Гвиччардини. Великий герцог! Мы не менее его печемся об укреплении твоей законной власти...

Герцог. Печетесь? Так ли это?

Дон Микеле проходит и становится позади Гвиччардини. Тот невольно подается в сторону.

Никколо (*выходит вперед*). Великий герцог! Флоренция, которую я представляю здесь, также видит нужду в успокоении страстей и укреплении законности в Романье. А от себя лично смею добавить, что на вас с восхищением и надеждой взирает вся Италия, томящаяся под властью тирании и междоусобиц. И мы жаждем видеть здесь не только образец мужества и силы в борьбе с ненавистными народу тиранами, но и пример справедливости и правды, идущий на пользу великой нашей общей цели.

Гвиччардини (*ободрившись*). Именем оскорбленных и униженных жителей Романьи, именем городских властей, чьи права постоянно попирает этот человек, именем церкви нашей, представителей которой он подвергает подозрениям и издевательствам, именем самого закона и права я взываю к тебе, великий герцог! Вырви из своего сердца расположение к недостойному Рамиро де Орко, изгони его из Романьи навеки!

Ропот в толпе. Верно, государь!

— Это злобное исчадие ада!

— Злодей Рамиро страшнее сатаны!

Герцог (*задумчиво*). Изгнать?.. Не слишком ли слабое наказание за все, что он натворил здесь?

Де Орко (*отшатываясь*). Великий герцог!

Дон Микеле проходит и становится позади Рамиро.

Герцог (*к сановнику*). Как, за все злодеяния, за все злоупотребления властью изгнать... и только?

Пауза.

Крики из толпы. Слава герцогу!

— Слава великому государю!

— Будь благословен владыка наш и повелитель!

Де Орко (*падая на колени*). Государь! Я верный твой слуга! Я делал все во имя утверждения твоей власти.

Герцог. Стало быть, моя рука направляла твои жестокости? Твои неслыханные преступления? Значит, я, а не ты виновен в законном недовольстве народа Романьи?

Крики из толпы. Великолепному герцогу слава!

— Да здравствует справедливость и закон!

— Повелевай нами!

— Мы верные твои слуги, государь!

Де Орко. Прости меня! Прости! Мой благородный повелитель! Прикажи, и я выполню любую твою волю! Вспомни, я казнил своими руками твоего заклятого врага Оливеротто. Ты говорил мне, что век не забудешь моей услуги.

Герцог. Я не забыл, как видишь. Ты получишь по заслугам, как палач.

Де Орко. Но я... я был орудием твоим!

Герцог. Ты волен был им быть или не быть. Ты сам избрал свой жребий.

Де Орко. Зачем ты отвергаешь слугу своего?

Герцог. На что мне служба твоя, когда она ссорит меня (*указывает рукой*) с моим народом?

Де Орко. Государь, позволь два слова наедине... в память о том, что было...

Герцог делает жест рукой, все отходят.

Герцог. Ну, что ты скажешь, Рамиро?

Де Орко. Великий герцог, тебе одному служил я и хочу служить. Ты знаешь это. За что, за что ты пре-

даешь меня казни? Я все тот же, я самый преданный тебе...

Герцог. Да, ты все тот же, Рамиро. Но время изменилось. И сейчас нужны другие действия и люди другие. Когда нужно было водворить порядок и внушить народу страх, нужна была жестокость и сила. Но теперь надо внушить народу благоволение и любовь к монарху. *(Во весь голос.)* Народ Романьи! Он говорит, что предан лично мне. Что хочет служить мне одному. *(Говорит величественно, в размеренном, почти стихотворном ритме.)*

На что, скажи, мне преданность твоя,
Когда ты бесполезен государству?
Государство — вот мой идеал, мой фетиш,
Пред которым я сам стою коленопреклоненно.
Все мы — сановники, солдаты,
Ремесленники, — весь мой народ
И даже я сам, верховный символ власти, —
Ничто в сравнении с ним. С его величием,
Его мощью, его неведомыми целями.
На что, скажи, мне преданность твоя,
Когда ты негоден государству?

Де Орко. Но государство не абстрактный символ!
Ты! Ты его воплощение!

Герцог.

Да, угодно было богу отметить
Нас своим перстом и возложить
На наши плечи нелегкую обязанность.
В час тяжкий для Италии родной,
Томящейся во власти тирании,
Я принял эту миссию, поскольку
Мой взор проник в грядущее Италии,
Единой, сильной, представляющей угрозу
Для врагов и опору для друзей.
Все — государство. Я лишь строитель.
Я собираю кирпичик к кирпичу
И их кладу в фундамент всего зданья.
И пусть пока вся стройка
Еще сыра, захламлена, грязна,
Я отсюда вижу великое сияние вершины.
Все — государство. Я лишь орудье.
Не зная жалости к себе и людям

Своим, я разворачиваю почву, подобно плугу.
И пусть залито великой кровью подножье,
Тем вернее будет упрочена основа всего зданья.
Все — государство. Я — лишь посредник
Меж ним и всем народом, коего оно
Владыка и слуга. Оно как пирамида,
Внутри которой, слой за слоем, каждый в своем
месте,
Располагается народ со всем его разнообразьем.
Народ без государства — это племя,
Это шайка, сброд, неорганизованная группа.
И только государство придает народу силу,
Организованность, единство, мощь,
Внушающие страх и зависть другим народам.
Твоя работа была нужна, уместна,
Пока она служила государству и мне.
А сейчас ты более не нужен, и оно,
Оно — заметь себе — не я,
Отбрасывает тебя прочь с дороги.

Де Орко. Ну тогда... Тогда зачем казнить? Я готов
уйти, стать частным лицом, отправиться в изгнание.

Герцог. И это говоришь мне ты, мой наместник и
полномочный министр, который учился у меня искусству
укреплять власть и истреблять врагов? Изгнать тебя!
Да это равносильно тому, чтобы своей рукой создать
себе врага! Да за кого ты принимаешь меня? Опомнись!
И прими свою участь достойно, как мужчина. Как чело-
век я, быть может, и пожалел бы тебя, но как госу-
дарь — не вправе.

Крики из толпы. Казнить предателя!

— На дыбу его!

— На плаху!

— В огонь!

— Дать ему понюхать лезвие кинжала, которым он
загубил столько душ человеческих!

Де Орко (*подползает к креслу и говорит тихо*).
Великий герцог, ты не можешь казнить меня, ты знаешь,
я твой брат молочный, мы оба вскормлены одной жен-
щиной, наши судьбы сплетены...

Герцог (*во весь голос*). Ты слышишь, народ Ро-
маньи? Он говорит, что он мой брат молочный, что
вскормлены мы одной женщиной, что судьбы наши пе-
реплелись. И потому я должен изменить свой приговор.

(Пауза.) Я повелеваю... рассекь злодея на две равные части и выставить его тело на площади в Чезене, а рядом положить окровавленный нож, которым он творил свои злодейства!

Рамиро падает.

Толпа (в неистовом восторге). Да здравствует великий государы!

— Да здравствует наш справедливый герцог!

— Слава!

— Слава!

— Слава!

Герцог. Да будь ты мне отцом, и сыном, и братом в одно и то же время, я бы казнил тебя тысячу раз во имя единенья с народом Романьи и величия государства!

Все уходят, остаются Макиавелли и Барбера.

Никколо (быстро). Что скажете вы об этом человеке?

Барбера (приходя в себя). О ком? О Рамиро де Орко?

Никколо (с досадой). Да нет же. Кто интересуется Рамиро? Он просто неудачник. В политике это самый пошлый сорт людей. Я говорю о Цезаре Борджа, о герцоге Валентино. (Восторженно.) Каков, а?

Барбера. Разбойник, лиса лицемерная... Втянул Рамиро в это дело, а потом на нем же и отыгрался!

Никколо. Ну, вы меня удивляете, синьорита. О чем вы здесь толкуете? (Передразнивая.) Разбойник, лицемер... Такая наивность при такой внешности. Да все они разбойники, разве в этом дело?

Барбера. Что же, нужно рассекать на части живого человека без суда, без защиты? Мораль...

Никколо. Мораль? Оставьте ее церковникам. Они о ней пекутся больше всех, и не было больших грешников на земле, чем они.

Политика и мораль живут на разных этажах человеческого сознания. Увы, увy, синьорита. Что дозволено на одном этаже, не дозволено на другом. Иначе воинов не награждали бы за убийство чужих солдат, а казнили на площадях; государей, которые по-братски раздавали свои земли другим государям, ставили бы в пример, а не изгоняли; сановников, готовых на все, чтобы услужить государю, называли бы рабами; народ, который

поклоняется тирану, называли бы безумным, а тирана, который властвует над рабами, называли бы чудачком.

Герцог Валентино — великий государь. Он показал пример, как должен поступать правитель, когда он хочет учредить новое государство, покончить с раздорами, подавить врагов и обезопасить себя от них — хитростью или силой, и заставить подданных покоряться себе и любить себя.

Барбера. Ну а расправа со своим приспешником, слугой, другом? Это как же?

Никколо. А не ходи на этот этаж, не лезь в политику. Но раз пошел, изволь держаться правил игры. Казни или ложись под нож!..

Барбера (*приподнято*). Итак, вы восхищаетесь тираном, который душит народ?

Никколо (*горько*). Народ? Народ, который хочет быть рабом, да будет рабом. Народ, который хочет быть свободным, да будет свободным.

Барбера (*сурово, в манере допроса*). Значит, тирания ваш идеал, мессер Никколо?

Никколо. При чем тут идеал? Кто нас спрашивает?

Барбера. Вам лично какая власть нравится?

Никколо. Нравится... Что это, женщина, что ли? Да и власть женщины не может нравиться. Вот я восхищаюсь вами, дружок мой нежный, но власть ваша мне не нужна — я без того поработан со всех сторон: Синьория, жена, дети, друзья и герцог тот же — того и гляди подсунет яду в вино.

Барбера. Так за что вы стоите, мессер Никколо, я хочу знать, наконец, — за республику или монархию?

Никколо. Какую республику, какую монархию — вот что вы мне скажите, синьорита! Афинскую, которая казнила Сократа? Спартанскую, которая изгоняла поэтов и музыкантов? Флорентийскую в период Савонаролы? Или в период Содерини? Монархию? Но кто монарх? Александр или Кир? Цезарь или Антоний? Кто им придет на смену? Каков народ? Каков сенат и знать? В какое время — войны или мира?

Барбера. Вы уклоняетесь, мессер Никколо, виляете, право! Ну, признайтесь, глядя прямо мне в глаза: вам нравится герцог, поскольку вам милы тираны?

Никколо. В глаза — о, это с удовольствием...

Барбера. Нет, нет. Скажите, вы ученый муж, с кем вы и за кого? Борджа, Содерини, папа Александр?

Никколо (*устало*). Поймите вы, я ни за кого, я за всех. Я — советник, советник, не более того.

Барбера. А как же насчет того, что здесь так красочно вещал герцог? Государство! Величие! Единство! Прекрасно! Что же, выходит, он прав. И эта мощь, эта махина, государство служит человеку.

Никколо. Конечно, служит. Как египетская пирамида муравью. Разве пирамида не служит муравью?

Барбера. Куда как просто! Муравей — живой, пирамида — мертвая.

Никколо. Но один камень, свалившись с этой мертвой пирамиды, способен раздавить тысячи муравьев. Осыпь с пирамид разрушает сотни муравьиных племен, засыпает навеки целые муравьиные царства. А разве создание самих египетских пирамид, этих бессмысленных нагромождений камней, не является лучшим символом величия государства, несравнимости ни с чем его могущества?

Барбера (*выходит из себя*). Но ведь все это неверно, все должно быть иначе!

Никколо. Вот я и поймал вас, синьорита! Вот оно, слово, которого я ждал все время! Должно быть! Вот что вас занимает! Я говорю не о том, что быть должно, а о том, как есть на самом деле в нашей брэнной жизни.

О, если бы мне удалось воодушевить Цезаря Борджа идеей объединения всей Италии — пускай кровью и железом, — восстановления нашего величия! О, если бы!..

Барбера. Воодушевить? Герцога воодушевляет только власть и любовь... немного. Прощайте, мессер Никколо, я надеюсь встретить вас в лучшие времена...





НИСХОЖДЕНИЕ

В сцене, которую мы посмотрели, немало неточностей. Например, Гвиччардини — он был назначен губернатором Романьи значительно позже. Впрочем, выступить так независимо, благородно и смело мог только он — этот вельможа и ученый, умный управитель и блистательный автор многотомной «Истории Италии».

А Барбера? Вряд ли она могла быть в это время в свите герцога. Она была еще слишком юна в ту пору. Но согласитесь, что только перед ней хитроумный Ма-

киавелли рискнул бы приоткрыть свою душу. Впрочем, это слишком сильно сказано — не приоткрыть, а едва-едва обнаружить...

Ну а циничные суждения флорентийского секретаря — представителя республиканского режима — правдоподобны ли они? Чтобы читатель мог сам взвесить степень нашей непредвзятости, вот вам прямое высказывание второго канцлера (из первых сообщений Никколо Макиавелли Синьории по поводу Борджа): «Герцог так смел, что самое большое дело кажется ему легким. Стремясь к славе и новым владениям, он не дает себе отдыха, не ведает усталости, не признает опасностей. Он приезжает в одно место прежде, чем успеешь услышать о его отъезде из другого. Он пользуется расположением своих солдат и сумел собрать вокруг себя лучших людей Италии. Кроме того, ему постоянно везет. Все это вместе взятое делает герцога победоносным и страшным» *.

«Изображая все действия герцога, я нахожу, что в них не только нет ничего достойного порицания, но что на него, как я и сделал, можно смотреть как на достойнейший подражания образец Правителя, достигшего власти при помощи счастья и чужих войск. Обладая значительной храбростью и высоким честолюбием, он не мог действовать иначе, чем действовал, и в достижении своих целей только и мог быть остановлен совпадением двух роковых для себя случайностей: недолговечностью отца своего — папы и губельной своей болезнью. Всякий Правитель, которому придется учреждать новую монархию и который поймет, что ему необходимо обеспечить себя от врагов, приобрести союзников, победить хитростью или открытой силой, заставить подданных любить себя и покоряться себе, привязать к себе солдат и заставить их быть усердными исполнителями своей воли, уничтожить всех, кто может ему вредить, заменить старые учреждения новыми, выказаться в одно и то же время строгим и милостивым, великодушным и либеральным, образовать новые войска и уничтожить старые, суметь так поставить себя в отношениях к другим государям, чтобы каждый из них считал приятным для себя делать услуги и опасался поступать в отношении к нему несправедливо, — каждый такой Правитель

* Цит. по Никколо Макьявелли. История Флоренции. Л., 1973, с. 356.

должен взять себе примером герцога Валентино» (Г., 34—35).

Те же оценки мы находим и во всех других работах Макиавелли, написанных в самую разную пору — в период взлета Борджа и много спустя после его падения. Невероятно, но факт. И нам придется считаться с этим фактом, когда мы будем с разных сторон исследовать фигуру нашего героя.

Здесь надобно рассказать читателю о личности Цезаря Борджа, который сам по себе заслуживает внимания как одна из колоритнейших фигур Возрождения. Среди всех жестоких и бесстыдных правителей того времени Цезарь Борджа выделялся своей жестокостью, бесстыдством, коварством и разнузданным развратом. Церемониймейстер папы Букарт оставил дневник, представляющий собой сухую реляцию о ежедневных событиях при дворе папы Александра VI. Эта реляция исполнена таких омерзительных сцен — отравлений, убийств, обманов, перед которыми козни Яго кажутся не более чем легковесными шутками.

Напомним, что одной из причин падения Савонаролы было то, что он выступил с остроразоблачительными проповедями против разврата, богохульства и убийств, творимых папой Александром VI. Доминиканец особенно негодовал по поводу Джулии Фарнезе, которая являлась повсюду как законная жена папы; она родила от него сына, немедленно признанного Александром VI. Впрочем, папа признал и всех остальных своих сыновей и дочерей, которые унаследовали от отца все его качества. Но даже в этой жуткой семейке кардинал Цезарь Борджа отличался особой жестокостью.

Флорентийский историк Гвиччардини свидетельствует, что Борджа приказал умертвить и бросить в Тибр своего брата герцога Гандию только потому, что тот отказался участвовать в устроенной им оргии. Вероятно, дело было не только в этом, но и в желании овладеть именьями брата. Дочь Александра VI Лукреция Борджа была в любовной связи со своими братьями и на этой почве рассорилась со своим мужем Иоанном Сфорца, владельцем Пезаро. Александр VI по просьбе дочери развел ее с ее мужем и сделал попытку лишить его Пезаро, в чем, однако, не преуспел.

Александр VI мечтал создать светское государство для своего сына Цезаря Борджа. С этой целью он всту-

пил в союз с французским королем Людовиком. При этом Цезарь объявил публично, что он намерен сложить с себя кардинальское достоинство и духовное звание, которое будто бы принял по принуждению. Он отправился во Францию для заключения союза, развязывавшего ему руки в завоевании некоторых итальянских княжеств и республик. Людовик XII обещал не только не мешать, но даже содействовать Цезарю Борджа в его замыслах, изгонять из папской области наследственных владетелей и апостольских викариев. Король сам был заинтересован в содействии папы и его сына; он хотел с их помощью уничтожить ненавистного ему Лодовико Моро Миланского. Потому-то он преподнес в подарок Цезарю герцогство Валентино в Дофине, назначил его полковником Конного отряда с 20 тысячами ливров жалованья и обещал помочь овладеть Миланским герцогством.

В обмен на это папа пожаловал кардинальскую шапку архиепископу при дворе Людовика XII Жоржу д'Амбуазу. Поддержанный папой Людовик XII двинул в августе 1499 года против Милана армию из 13 тысяч человек пехоты и 9,5 тысячи человек конницы. Цезарь Борджа, в свою очередь, поддержанный Людовиком XII, начал свои захватнические походы против итальянских провинций и городов — Имола, Фаэнца, Форли, Пезаро, из которых он составил впоследствии свое государство.

Как раз в период этих походов Макиавелли и был прикомандирован Советом десяти к герцогу Валентино. В 1500—1501 годах Цезарь Борджа, опираясь на поддержку французов, захватил Пезаро, затем Римини и Фаэнцу. Юный владелец Фаэнцы Манфреди, отличавшийся замечательной красотой, был умерщвлен Цезарем. Тем временем Лукреция Борджа пресытилась третьим мужем князем Безеньяно, и он был по наущению Цезаря ранен на пороге церкви, а затем отравлен. Александр VI и его сын принудили герцога Феррарского Эрколе д'Эсте жениться на Лукреции, несмотря на трагическую смерть трех предыдущих ее мужей.

Получив от своего отца герцогство Романья, Борджа замыслил создать новое королевство в Средней Италии. Он обложил данью Болонью, а впоследствии и Флоренцию. Гвиччардини характеризует деятельность Александра VI и его сына Цезаря Борджа поговоркой, которая сложилась еще при их жизни: «Папа никогда не делает того, что говорит; а сын никогда не говорит, что делает».

Цезарь Борджа изгонял, избивал и грабил викариев в Романье, а осенью 1502 года начал свои походы против городов и крепостей Средней Италии.

Тем временем папа Александр VI пригласил во дворец кардинала Джованни Батиста Орсини и там убил его. То же самое произошло с Ринальдо Орсини, флорентийским архиепископом, и представителями других видных фамилий. Александр VI рассчитывал провозгласить своего сына королем Романьи, Марки и Урбино.

Макиавелли был направлен к Цезарю Борджа в связи с угрозой, нависшей в результате действий последнего для Флоренции. Когда герцог осадил Римини и Пезаро, которые без сопротивления капитулировали перед ним, это сильно обеспокоило соседнюю Флоренцию. Республика срочно командировала Макиавелли ко двору короля Людовика XII в Нанте, с тем чтобы получить от него гарантии в отношении возможных происков герцога Валентино. Это была одна из наиболее длительных и успешных миссий Макиавелли. Только в декабре 1500 года Никколо вернулся во Флоренцию.

Наблюдения, накопленные во французской абсолютной монархии, которая резко отличалась в политическом устройстве от итальянских государств, легли потом в основу сравнительного анализа политических систем, осуществленного им в «Государе» и «Рассуждениях».

«Об этом предмете я говорил в Нанте с архиепископом Руанским, — напишет впоследствии Макиавелли в «Государе», — когда Валентино, как называли в просторечии Цезаря Борджа, сына папы Александра, занимал Романью. Когда кардинал сказал мне, что итальянцы ничего не понимают в военном искусстве, я ответил, что французы ничего не смыслят в государственном деле, потому что если б они в этом разбирались, то никогда бы не допустили такого усиления церкви. Опыт показал, что могущество папы и испанцев в Италии было создано Францией, а сокрушение в Италии французов устроено ими» *.

Мы видим, что Никколо выходит далеко за рамки своей дипломатической миссии, беседуя по поводу круп-

* Никколо Макиавелли. Соч., т. I. М.—Л., 1934, с. 225—226.

ных политических проблем с видными деятелями того времени. Успешная миссия к французскому королю укрепила его авторитет, и с той поры ему стали в особенности охотно доверять самые деликатные дипломатические поручения.

Гарантии Франции оказались, однако, недостаточными для Флоренции. Получив от своего отца титул герцога Романьи, Цезарь Борджа смело направился на Болонью, а вскоре его войска оказались на территории Флоренции. Тем временем французы захватили Неаполитанское королевство и разделили его с испанцами. Это был один из наиболее трудных периодов для Флоренции.

Летом 1502 года по просьбе герцога Валентино к нему направили полномочное флорентийское посольство, в состав которого входили епископ Вольтерры Франческо Содерини и Макиавелли.

Начались переговоры. Цезарь Борджа требовал, чтобы город сменил правительство, и шантажировал поддержкой, которую он якобы получил от короля Франции, будто бы согласившегося на оккупацию им Флоренции. Никколо Макиавелли впервые столкнулся с тем, как легко и просто расправляется герцог со своими врагами. Как раз в период их миссии герцог Урбино, резиденция которого была захвачена Цезарем Борджа, умер «раньше, чем он узнал, что он болен».

Спустя год после рассматриваемых событий Никколо Макиавелли написал свою первую политическую работу — «О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Валь-ди-Кианы» (август 1502 г.). Здесь в зародыше намечены основные темы, которые будут волновать его на протяжении всей жизни.

Работа была написана в связи с восстанием в Ареццо 4 июня 1502 года, направленным против Флоренции. Восстание было вызвано происками Цезаря Борджа и вскоре подавлено с помощью Франции. Характерно, что свои рассуждения Никколо начинает с прямого сопоставления с аналогичными событиями в Древнем Риме. Он безоговорочно рассматривает их как образец для современной ему политической деятельности.

Наблюдения над методами борьбы Цезаря Борджа приводят его к выводу, что с восставшими нужно поступать либо хорошо, либо уничтожать их: все средние меры опасны. Поговорка «в золотой середине заклю-

чается добродетель» не имеет никакого отношения к политике, по его мнению.

Макиавелли писал об этом: «Перуджи и Сиена ощущали еще дыхание гидры, и каждый из этих тиранов бежал впереди нее, стараясь избежать ужаса». Характерно и его замечание о том, что если бы подобные действия допускал флорентиец, то он мог бы понравиться ему только «на березке». Стало быть, дело не в методах и средствах, которые выдвигал Цезарь Борджа, а в твердости и последовательности его действий в борьбе за свои цели.

Любопытно, что в самый драматический период походов Цезаря Борджа Макиавелли попросил прислать ему из Флоренции «Жизнеописания» Плутарха. Не исключено, что уже тогда в его уме зрела мысль использовать примеры древних римлян и сравнить их с опытом Цезаря Борджа. Идея политического возрождения Италии не дает покоя Никколо.

Донесения Никколо Макиавелли с большим интересом читались в Совете десяти. И все же лишенные романтики толстосумы, заседавшие в Палаццо Веккьо, не раз выговаривали ему за чрезмерное увлечение личностью Цезаря Борджа — потенциального врага Флоренции. Члены Совета были слишком заняты делами Флоренции, чтобы задумываться над общеитальянскими проблемами. Они были слишком реалистами, чтобы принимать всерьез мечтания о политическом единении итальянских провинций.

Кончил этот великолепный разбойник, однако, плохо, что дало Макиавелли пищу для размышлений о роли судьбы в жизни политического деятеля. 18 августа 1503 года умер отец герцога — папа Александр VI. Цезарь Борджа сам был тоже тяжело болен. Есть серьезные основания полагать, что причиной его болезни было отравление.

Имеется достоверная версия, что Александр VI вместе со своим сыном пригласили в гости несколько кардиналов с целью отравить их и овладеть их имуществом. Однако из-за ошибки слуги они сами выпили отравленное вино. Это кончилось трагически для одного из них — для Александра VI. Другой — Цезарь Борджа, — испытывая ужасные муки, по слухам, прибег к жестокому средству лечения: его тело дважды опускали в нутро только что зарезанного осла. Это должно было способ-

ствовать удалению яда из его тела через кожу. Таким варварским средством ему удалось спасти свою жизнь. Но ненадолго. Потеряв поддержку курии, Цезарь Борджа стал терять одну за другой завоеванные провинции. На смену Александру VI пришел папа Пий III, но вскоре умер. На папский престол был избран энергичный Юлий II.

Однако участь Цезаря Борджа была уже предрешена. Еще при жизни папы Пия III на улицах Рима произошло сражение между Цезарем Борджа и Джованни Паоло Бало Бальоне, а также Орсини и другими семействами — жертвами злодеяний Цезаря. Ему пришлось укрыться в Ватикане, а затем в замке Сан Анджело.

Макиавелли одним из первых почувствовал, что звезда герцога закатилась. Никколо продолжал встречаться с Борджа и подробно информировал об этих встречах Флоренцию, опасавшуюся, что новый папа постарается направить аппетиты Борджа в сторону их города.

Герцог Валентино в оцепенении, свойственном многим политическим деятелям накануне их падения, продолжал, однако, вынашивать обширные планы. Он надеялся опереться на Юлия II, которому он оказал поддержку на выборах. И тот поначалу действительно обещал покровительство.

В сообщении, которое посылал Никколо Макиавелли Синьории по ходу событий, связанных с избранием нового папы и взаимоотношениями между ним и герцогом Валентино, Никколо пишет, что папа обещал герцогу на выборах сплотить всю Романью. Но пронизательный флорентийский секретарь тут же высказывает сомнение в надежности этого обещания и поразительной легковёрности герцога. «Герцог увлечен самоуверенностью; он думает, что слово другого должно быть прочнее, чем было его собственное» *.

Предсказания Никколо на этот раз подтвердились. Юлий II выполнять своих обещаний и не собирался. Ловко посредничая между ним и герцогом Валентино, Никколо все более убеждался, что судьба герцога решена и он может быть списан со счетов в новых политических играх, затеваемых Юлием II. Любопытно, что как раз в эту пору мы встречаем едва ли не впервые острую моральную оценку личности герцога. В своих со-

* Никколо Макиавелли. Соч., т. 1, с. 169.

общениях Никколо цитирует слова первого министра французского короля Людовика XII, руанского епископа, кандидата от Франции в папы Жоржа д'Амбуаза: «Бог еще никогда не допускал, чтобы грех оставался безнаказанным, и не допустит безнаказанности грехов этого человека». В следующем письме Никколо сообщает, что «герцог по-прежнему остается ни с чем, а люди умудренные думают, что дела его складываются дурно и как бы не кончить ему плохо».

Тем временем Юлий II начал теснить Борджа, и тот счел за благо вместе со своими войсками уйти из Рима. Однако вскоре его нагнали посланные папой кардиналы. Они предложили ему от имени Юлия II передать управление крепостями в Романье, которые еще оставались верными герцогу, обещая впоследствии вернуть их. Герцог отказался наотрез, тогда его арестовали и привезли в Рим. После ареста герцога он сообщает слова, ставшие впоследствии знаменитыми: «О герцоге, раз он взят живым или мертвым, можно уже больше не думать...» *

Герцог Валентино все еще пытался спорить с папой по поводу крепостей, но вел себя при этом униженно, жалко, вызывая презрение у современников и самого Никколо, о чем он сообщит позднее в своих «Рассуждениях». В последнем сообщении по поводу Борджа из Рима он пишет, что «герцог мало-помалу скатывается в могилу».

На этом закрывается одна из наиболее интересных страниц политической деятельности Никколо Макиавелли. Он не только с блеском выполнил сложное поручение Синьории, но и основательно приобщился к общетальянским проблемам.

Но в глубине души Макиавелли не очень-то верил в возможность появления добродетельного тирана. Он менее всего одобрял наследственную монархию, поскольку слишком высоко ставил личные доблести правителей, остающиеся в этих условиях целиком на воле случая. Но он трезво судил о слабостях республиканской формы власти, неспособной противостоять внутренним раздорам в условиях большого государства и внешним посягательствам. А если так, то предпочтительной формой становилась все же абсолютная монар-

* Никколо Макиавелли. Соч., т. I, с. 173, 175, 199.

хия, однако не испанского образца с ее религиозным фанатизмом, с безмерной жестокостью и жадностью ее дворянства, а монархия типа Франции Людовика XII. Что же его привлекало во французской монархии?

«Из современных, хорошо организованных государств, не могу не указать на Францию. В этой стране существует бесчисленное множество отличных учреждений, обуславливающих независимость и безопасность короля. Главнейший из них — парламент и его власть. Введение парламента показывает, что организаторы Франции понимали, насколько необходимо обуздать честолюбие и ненасытную гордость знатных лиц государства... Для прочности государства и спокойствия Государей трудно придумать лучшее и более разумное учреждение» (Г., 79—80).

На протяжении многих лет своей жизни Макиавелли страстно искал пути освобождения Италии, воссоединения ее. Искал Освободителя, способного осуществить эту высокую цель.

В этих своих поисках он шел от надежды к заблуждению и разочарованию, от уверенности в реальности успеха к пониманию полной бесперспективности. Это была струна, натянутая в душе неистового флорентийца, и малейшее прикосновение способно было исторгнуть из нее самые мощные звуки. Отсюда его неослабевающий интерес к созданию новых государств, новых религий, новых законов, новых нравов, стремление найти сильных людей, способных осуществлять коренные реформы. Ему мало было примеров древних времен, когда величие и доблесть были обыденным делом для деятелей Рима. Он жаждал примеров из современной ему истории и хватался за любые образцы, способные хотя бы чуть-чуть осветить светом реальности вынашиваемые им мифы.

Поиск идеального государя не был чем-то необычным для политической мысли того времени. Еще Франческо Петрарка в письме к синьору Падуи Франческо да Каррара (1383 г.) рисует тип идеального правителя, который должен любить своих подданных, заботиться об их благосостоянии, обеспечивать мир, справедливость в отношении всех сословий и т. д. Идея просвещенной Синьории была выражена другим предшественником Макиавелли, гуманистом Колуччо Салутати, полагавшим, что государь должен быть первым среди рав-

ных, лучше и умнее других. Южноитальянский писатель Понтано в специальном трактате «О государе» прославляет просвещенный абсолютизм за покровительство искусствам и наукам.

Цезарь Борджа — кандидат в Освободители, Объединители, Реформаторы — был мифом, созданным Макиавелли прежде всего для самого себя. А затем уже и для других.

Это увлечение становится все более понятным, когда знакомишься с республиканскими деятелями, окружавшими Макиавелли. В этой связи заслуживает внимания его отношение к правителю противоположного типа — флорентийскому гонфалоньеру Пьеро Содерини.

Это был, как свидетельствуют историки, во всех отношениях достойный человек: умеренный, разумный, скорее добрый, чем злой, демократичный. Но способен ли он был хоть на один радикальный шаг, хоть на одну смелую реформу, иными словами, был ли он политиком — вот в чем вопрос. Какова была мера его способностей, его смелости, его хитрости в борьбе за власть, за сохранение независимости Флоренции в то суровое время? Последуем снова за нашим героем по его чиновным весям.

Вскоре после падения опасного для Флоренции Цезаря Борджа у республики появились новые заботы — было получено известие о выступлении венецианцев против Фаэнцы, что вызвало опасения и серьезное недовольство Флоренции. По распоряжению Синьории Макиавелли подал жалобу Юлию II на узурпацию Венецией побережья Романьи.

Началась новая интрига, направленная против укрепления этой «сестры» Флоренции, древней, богатой и могущественной Венецианской республики. Но эта страница не так интересна, перелистаем ее и направимся вместе с Никколо Макиавелли во Францию, куда он отправился со своей второй миссией в 1504 году.

На этот раз миссия во Францию была связана с серьезным беспокойством Флоренции по поводу неудач французов во время военных действий в Неаполитанском королевстве. Никколо Макиавелли согласно инструкции Совета десяти должен был оценить приготовления Людовика XII к войне против испанцев и сообщить обо всем во Флоренцию. Во время этой своей

миссии Никколо встречался с французским наместником Карлом д'Амбуазом и с самим королем.

Макиавелли проводит во Франции несколько месяцев. Он подробно беседует с французскими деятелями не только о внешней политике, но и по поводу устройства государства, военного искусства и других проблем, интересовавших самого Никколо.

Осенью 1504 года он описал в 550 стихах «Горести Италии за последние десять лет и свои собственные за пять дней» — весьма примечательное литературное произведение, насыщенное политикой и содержащее интересные биографические сведения о нем самом. К тому же периоду относится и завершение его работы «Первое десятилетие», которую он посвятил видному деятелю Флоренции Аламанко Сальвиати.

Эта книга, публикация которой была осуществлена сотрудником Макиавелли Августино Веспуччи на свои средства, имела, по свидетельству современников, серьезный успех. Она вызвала и немалые страсти, о чем можно судить из того факта, что вскоре появилась подделка этой работы, предпринятая каким-то издателем.

Тем временем Макиавелли выполняет еще несколько дипломатических миссий — в Пьембино, Перудже и других местах. В августе 1506 года он встречался с Юлием II, а затем участвовал в смотре его войск, о чем написал Совету десяти, оценивая их как военный эксперт.

В середине 1507 года Макиавелли вместе с Франческо Веттори находился в Германии, где они имели важные встречи с императором Максимилианом. Письмо и отчет об этой миссии были написаны Макиавелли, Веттори только подписывал их, иногда вставляя несколько слов. Существовала опасность, что Максимилиан войдет в Италию с армией, и в задачу послов входило информировать Синьорию, а также добиваться гарантий в отношении флорентийских интересов. Однако в конечном счете император подписал договор с Венецией, так и не осуществив экспедицию в Италию.

Ридольфи, анализируя германскую поездку Никколо, указывает, что во Францию его «сопровождал Цезарь, а в Германию — Тацит». В докладе «О состоянии дел в Германии» Макиавелли обнаружил замечательную политическую проницательность: находясь всего лишь два дня в Тироле, Макиавелли заметил глубокий

конфликт между «мощью германского народа» и его «политической слабостью» из-за раздробленности государств.

В середине 1510 года Макиавелли отправляется в третий раз во Францию. Он имел поручение Совета десяти содействовать установлению мира между королем Франции и папой. Флоренция в условиях нарастания конфликта между ними чувствовала себя очень неуютно. Связанная на протяжении длительного времени с Францией, она боялась вместе с тем целиком встать на ее сторону, опасаясь враждебных действий со стороны папы Юлия II. Миссия Макиавелли на этот раз была особенно сложной.

К этому времени Макиавелли пользовался огромным интеллектуальным влиянием в политических кругах республики. Один из его биографов, Шабо, специально анализирувавший документы этой миссии, заметил, что Макиавелли считал в ту пору, что во Флоренции его высказываниям должны верить как евангелию. Вернувшись из Франции, он написал «Описание французских дел», где дал подробный анализ политического строя Франции, развитый впоследствии в «Государе». Содерини все больше ценил своего проницательного и преданного советника и все больше сближался с ним лично.

Из числа других занятий Макиавелли в этот период заслуживает упоминания его деятельность по созданию милиции во Флоренции. Это была одна из излюбленных идей Никколо, с которой он неоднократно выступал перед Синьорией. Еще до него во Флоренции вносились предложения о том, чтобы обучить какую-то часть населения владению оружием, но только он впервые разработал идею создания милиции, написал ее устав, определил формы командования. Он не только дал теорию, но и сам руководил первым набором милиции.

Вернувшись из Рима в конце 1506 года после дипломатической миссии при папе Юлии II, Никколо снова берется за формирование милиции. По его настоянию в декабре 1506 года создается специальный магистрат по военным делам. Никколо среди хлопот о бюджете и формах деятельности магистрата пишет «Рассуждения о военной организации Флорентийского государства». На Никколо возлагают дополнительно к его обязанностям еще и должность канцлера нового маги-

страта без всякого вознаграждения. На протяжении следующего года он неоднократно выезжает в разные провинции Флоренции, вербует новобранцев, вооружает их, организует командование, снабжение.

Начало 1509 года застаёт его на поле брани под стенами Пизы. Никколо занимает вместе со своей новой милицией позиции под Пизой, блокирует канал на реке Арно, участвует в возведении заграждений. Вскоре война была окончена — пизанцы согласились на сдачу города. Макиавелли вместе с посольством побежденных едет во Флоренцию. В июне 1509 года в торжественной обстановке войска флорентийцев, а вместе с ними и батальоны Макиавелли входят во Флоренцию. Никколо подписывает статьи акта, которым закрепляется победа Флоренции над Пизой. То был один из самых сладких часов в жизни Макиавелли. В Синьории, да и во всем городе большую долю победы справедливо относят на его счет. Филиппо да Казавеккиа пишет, что каждый день все больше обнаруживает в Никколо Макиавелли пророка, достойного сравнения с библейским. Никколо переживает зенит своей славы как практический деятель республики, не предчувствуя ни в малейшей степени, что вместе с ней движется к своему падению.

Между тем республика Содерини была обречена. Она испытывала удары внешних сил и подтачивалась изнутри сторонниками дома Медичи и старых порядков. Добряк Содерини пытался занять нейтральную позицию во время столкновения его покровителя — французского короля — с папой Юлием II, что сильно раздражало последнего, не улучшая отношений Флоренции с французами. Юлий II кипел от негодования по поводу того, что Флоренция не противится призывам Людовика XII созвать общий Совет церкви для свержения папы, и созвать его не где-нибудь, а в городе Пизе, зависимом от Флоренции. В отместку папа даже приказал арестовать флорентийских купцов на территории папства и наложил интердикт на Флоренцию.

Роковую роль сыграла и нерешительность Людовика. Одержав ряд побед в войне против папы, король почему-то отвел свои войска и обнаружил неожиданное желание помириться с папой, не воспользовавшись плодами военных побед. Впрочем, Людовик XII про-

должал настаивать на созыве церковного Совета. Этот акт имел скорее символическое, чем практическое значение, поскольку в состав Совета входило всего лишь 4 кардинала. Для короля это было не больше чем эпизодом в его обширных планах. Для Флоренции это имело роковые последствия, доведя до крайней точки и без того трудные отношения с Юлием II.

Пьеро Содерини все же сделал попытку предотвратить созыв церковного Совета. В сентябре 1511 года он направил в Пизу Макиавелли с целью задержать приезд кардиналов. Затем Макиавелли в четвертый раз отправился во Францию. На этот раз для переговоров с королем об отмене церковного Совета либо изменения места его созыва. Макиавелли доказывал, что имеется опасность сговора папы с Испанией и другими противниками Франции. Однако Людовик XII пытался успокоить флорентийцев и утверждал, что опасности такого союза нет.

Любопытно заметить, что эта беседа состоялась 23 сентября, а ровно через 10 дней было объявлено о создании Священной Лиги, в которую входили: папа Юлий II и испанский король Фердинанд Католический, швейцарцы и венецианцы. Несмотря на противодействие Флоренции, Людовик XII продолжал организацию церковного Совета в Пизе — кардиналы, противники Юлия II, направились в этот город. Никколо Макиавелли сопровождал их, тщетно убеждая отказаться от участия в соборе. В конечном счете он преуспел в этом. Кардиналы уехали в Милан, но результат для Флоренции был все равно плохим. На этой почве возникла напряженность в отношениях с французами, а отношения республики с Юлием II ни в малейшей степени не стали лучше.

В октябре Никколо вернулся во Флоренцию с убеждением, что городу предстоит выдержать военную осаду. Он активно включился в дело укрепления города, инспектировал крепости, ездил в Пизу, Ареццо, Сиену, Поджо и другие города с целью лучше подготовить Флоренцию к защите.

Тем временем Лига развернула военные действия против Франции. Вначале военное счастье было на стороне французов, но в битве под Равенной был убит вице-король Франции Гастон де Фуа. Этот драматический эпизод послужил началом поражения француз-

ских войск, которые вскоре были вынуждены оставить завоеванные города и отойти во Францию. Лига торжествовала. Дружественная Франции Флоренция оставалась один на один с объединенными силами Лиги. В августе 1511 года Лига приняла решение заставить Флоренцию сменить правительство. Речь шла о возвращении дома Медичи — кардинала Джованни, его кузена Джулио, его старшего брата Джулиано и их племянника Лоренцо.

Внутри Флоренции сторонники Медичи активизировались. Они вели агитацию в пользу этого дома, напоминая о правлении Лоренцо Великолепного как о золотом веке в жизни города. Пьеро Содерини долгое время недооценивал опасность, идущую со стороны агентов Медичи, и не предпринимал никаких мер против их сторонников. И только после того, как был раскрыт заговор с целью убить Содерини, Совет десяти опубликовал декрет, объявлявший мятежником каждого, кто связан с кардиналом Медичи и его братом. Чрезвычайное положение, в которое попала республика, обнаружило все слабости Пьеро Содерини и его режима, который годился для управления в спокойные времена, но оказался непригодным в обстановке внутреннего и внешнего конфликта. Он не умел пользоваться, когда нужно, силой, скажет впоследствии Никколо Макиавелли о Содерини и будет прав.

Флоренция лихорадочно готовилась к обороне. Никколо принимал в этом самое деятельное участие. Конец 1511-го и начало 1512 года застают его в военных заботах. Он инспектирует легкую кавалерию, добивается ее утверждения специальным статусом, проверяет гарнизоны, организует укрепления крепости Валь-ди-Кьяне. Летом 1512 года войска Лиги перешли в наступление. Все попытки преградить им дорогу потерпели провал.

Командующий войсками Лиги Кордонна, подойдя к границе Флоренции, выдвинул ультиматум о смене правительства. Затем, пройдя по территории Флоренции к стенам Барберино, он снова повторил вопрос — намерены ли флорентийцы сменить правительство?

В первый раз Содерини ответил, что его избрал народ и только он может сменить его. Во второй раз он не ответил ничего. Тогда Кордонна захватил Кампи, а затем Прато. Пьеро Содерини все еще рассчитывал

на поддержку гражданами его усилий защитить город военными средствами. Однако дело было проиграно. Флорентийцы предпочли избежать военной осады ценой падения гонфалоньера и республики. Обстановка в городе настолько накалилась, что 31 августа к Пьеро Содерини пришли четверо молодых людей, среди которых был Паоло Веттори, уговаривая его бежать. Он немедленно послал за Макиавелли и Франческо Веттори (братом Паоло). Когда Франческо явился во дворец, он нашел гонфалоньера в состоянии паники. По его просьбе Франческо Веттори спрятал его у себя дома и ночью переправил в Сиену.

Это сразу разрядило обстановку. В город вернулись Медичи. Был избран новый гонфалоньер — Джанбатиста Ридольфи — с ограниченным сроком — на четырнадцать месяцев. Но уже через четырнадцать дней Палаццо Веккьо был окружен и захвачен вооруженными сторонниками Медичи, во главе которых стоял Джулиано Медичи. Созданный вскоре парламент, или Балья, в которую вошли преимущественно приближенные дома Медичи, до основания разрушил республиканские институты. Первой мерой, которую предпринял он, был роспуск милиции и войск, сформированных Никколо Макиавелли. Балья упразднила Большой совет и заложила основы нового режима. Наступили десятилетия черной реакции Медичи во Флоренции.

Легко представить себе панику, которая охватила высших чиновников республиканского режима. Многие из них, по позднему выражению Макиавелли, стали «проституировать между народом и Медичи», быстро приспособившись к новым порядкам. И преуспели в этом. Первый канцлер республики сохранил свое место. Франческо Веттори, несмотря на то, что он содействовал побегу Содерини, также сумел поладить с новыми властями и получил важный пост представителя Флоренции при римской курии.

А что делал Никколо? Он сохранял достоинство, хотя и не исключал возможности сотрудничать с новым режимом. После первого потрясения, которое он, несомненно, пережил в результате стремительного падения республики и утраты им позиций, завоеванных упорным четырнадцатилетним трудом, он снова включился в политическую жизнь. Он пишет письмо к кардиналу Медичи, советуя не добиваться конфискации имущества,

отобранного у их рода в 1494 году, а получить денежную компенсацию. Затем он составляет специальное обращение «К сторонникам Медичи».

То был последний политический документ второго канцлера республики. И едва ли не единственный голос в защиту республики, а также репутации Содерини. В то же время здесь выражалась надежда на примирение с Медичи. Макиавелли призывает их остерегаться тех сторонников Содерини, которые сейчас рьяно поносят его, чтобы выслужиться перед новой властью. Он настаивает на преемственности целей новой власти и прежней республики. Однако его обращение, чуждое жалкому пресмыкательству, характерному для большинства прежних служителей республики, не возымело действия. Тщетно Никколо взывал к разуму Медичи. Участь республики и его собственная участь были пред-решены.

7 ноября 1512 года Никколо Макиавелли был освобожден от всех занимаемых им должностей (секретарь Совета десяти и второй канцлер). 10 ноября решением Синьории ему было запрещено на год выезжать за пределы владений Флоренции. От него потребовали обязательства с поручительством на тысячу золотых флоринов — огромная по тем временам сумма. Это имело целью помешать контактам Макиавелли и Содерини. Поручительство было обеспечено тремя друзьями Макиавелли, оставшимися неизвестными истории.

17 ноября Синьория запретила Макиавелли в течение года входить в Палаццо Веккьо. Впрочем, несмотря на все эти «острые удары ножа в сердце» и «булавочные уколы», Никколо сохраняет верность себе. Его ум интеллектуала даже в такой трудный для личной судьбы момент не перестает энергично реагировать на возникшие новые политические вопросы. Он размышляет над причинами падения республики и вытекающими отсюда уроками. Это видно из ответного письма Никколо, направленного им Пьеро Содерини, находившемуся в Рагузе под защитой папы Юлия II. Хотя в письме Содерини содержалось предупреждение не отвечать на него, Макиавелли, пренебрегая осторожностью, пишет пространное письмо опальному гонфалоньеру.

Судя по ответу Макиавелли, Содерини в своем письме, по-видимому, выразил удивление по поводу того,

как легко произошла реставрация Медичи. Макиавелли анализирует причины этого.

По его мнению, главная причина падения республики в том, что прежний режим не сумел приспособиться к новым обстоятельствам, ибо то, что может быть правильно в одно время, оказывается ошибочным в другое. Различные методы, применявшиеся в разных ситуациях, могут тем не менее дать одинаковые результаты. Преуспеть может только тот, кто приспособливает направление своих действий ко времени. Тут существует, однако, трудность — человеческая натура не так гибка, как меняющиеся переплетения событий. Если человек будет видеть не только изменения в мире вокруг него, но и изменяться сам, он будет иметь успех, оправдывая поговорку о мудреце, который может управлять звездами и судьбой. Однако люди близоруки, они не могут менять свою природу, и поэтому ими руководит судьба. Здесь Сoderини должен был прочитать приговор своим действиям в последний период.

Отсюда Никколо делает вывод, что для решения одних и тех же проблем в разной обстановке требуются разные методы. В одних случаях надо поступать как законодателю, в других — как тирану. Ганнибал мог потерпеть поражение в Испании, а Сципион мог потерпеть его в Италии. На этом Никколо обрывает свое письмо, считая, что он достаточно ясно дал понять Сoderини беспомощность его действий в трудный для республики период.

Как обычно, Никколо ссылается на примеры древних. Он пишет, что Ганнибал завоевывал Италию жестокостью, а Сципион Испанию — умеренностью.

А что же сам флорентийский секретарь? Куда девалась его хваленая проницательность в момент, когда бил двенадцатый час Флорентийской республики? С большим сожалением приходится признать удивительную слепоту Никколо, который заслужил впоследствии в веках прозвище «прозорливейшего». Мы не находим никаких симптомов того, что он предвидел или предчувствовал крушение республиканских порядков. До последнего момента он продолжал заниматься текущими делами республики, как будто нарочито игнорируя нависшую опасность. Что это — результат увлеченности, нежелание верить в то, чего боишься? Или неспособность осмысливать дела текущей политической

жизни из-за увлеченности большими стратегическими идеями? Или, напротив, погруженность в текущие дела и невнимание к глубинным процессам? Трудно сказать.

Все же остается фактом, что «прозорливейший» Никколо был последним, кто заметил крушение республики. В отличие от многих других помощников Пьеро Содерини он не обеспечил себе тылы для отступления, ни в малейшей степени не позаботился о своем будущем, намертво связав себя с республиканским режимом. Вот уж воистину никто не может быть пророком для самого себя. Для этого надо было быть либо очень наивным, либо очень порядочным человеком и, безусловно, последовательным приверженцем республики. Мы выбираем последнее предположение и верим, что дело было именно в этом.

Так, дважды столкнувшись с двумя противоположными типами политических деятелей — Борджа и Содерини — в период, критический для их власти, Макиавелли дважды проиграл игру за звание политического пророка.

Судьба, однако, готовила суровые испытания самому Никколо. Небольшая группа недовольных режимом Медичи, во главе которой встали выходцы из знатных семейств Агостино Каппони и Пьер Паоло Босколли, составили заговор против нового режима. В феврале 1513 года один из этих неумелых заговорщиков уронил листок бумаги. Это оказался список из восемнадцати-двадцати имен. Список попал в руки правительства, Каппони и Босколли были схвачены и признались, что готовили покушение на одного из представителей клана Медичи — на кардинала Медичи (будущего папу Льва X), или, по другим сведениям, на Джулиано Медичи — нового правителя Флоренции.

То был смехотворный заговор. Два ученых мужа, вдохновленных книжным патриотизмом, затеяли игру, которая была нужна больше им самим, чем делу спасения республики. Паоло Босколли, человек незаурядный, ревностный последователь учения Савонаролы, в такой же мере не подходил для роли организатора заговора, как и сам Макиавелли, который в принципе отвергал заговоры и постоянно осуждал эту форму борьбы в своих служебных документах и политических сочинениях. Но антимакиавеллийские высказывания Никколо, по-видимому, ввели в заблуждение неловких заго-

ворщиков. Они поставили его имя седьмым в упомянутом списке, и вместе со всеми остальными перечисленными в нем людьми Никколо был посажен в тюрьму.

В час тяжких испытаний он показал себя человеком мужественным и стойким. Его пытали. Подобно Савонароле, его шесть раз поднимали на дыбу, но не добились никаких показаний, которые компрометировали бы кого бы то ни было. Это не мешало ему использовать для своего освобождения средства, которые он считал достойными. Он пишет два сонета, обращенные к Джулиано Медичи, в которых горько сетует на свою судьбу. Однако и здесь нет ни пошлого унижения, ни низкой лести.

Желая преподать урок гражданам Флоренции, Медичи жестоко расправились с мнимыми заговорщиками. Каппони и Босколли были казнены, а многие другие осуждены к заточению на два года в крепости либо к ссылке. Макиавелли был в группе тех, кто освобождался за выкуп. 11 марта 1513 года, после смерти Юлия II, новым папой был избран кардинал Джованни Медичи под именем Льва X. 13 марта по этому случаю была объявлена всеобщая амнистия, под которую попал Макиавелли.

Мы подошли к кульминации жизни Никколо Макиавелли. И невозможно не попытаться как раз в этот момент приподнять Завесу времени и заглянуть в самое сокровенное, в самую глубину души великого флорентийца.





ИСПОВЕДЬ

Камера в тюрьме. Слова деревянное кресло для следователя.
Никколо в рубище.

Никколо (*говорит с претензией на величие*).

Судьба иль случай? Чему ж обязан я своим
паденьем?

Еще вчера я был помощником ближайшим
правителей,

Активно жил, был нужен государству, как спица
колесу.

Сегодня — я здесь. Один. Отрезанный от мира.
Забывтый.

Следователь. Мне велено сегодня снова тебя подвергнуть пыткам.

Никколо. Быть не может! Какая в этом польза? Что я знаю о заговоре?

Следователь. Вот это-то мы и выясним по ходу дела.

Никколо. На вот прежде прочти мое посланье Джулиано Медичи. Я уверен, это изменит его мнение и даст возможность мне снова служить Флоренции.

Следователь (*читает*). «Сонет». Сонет?

Никколо. Читай же!

Следователь (*читает, все более издеваясь*). «На ногах у меня, Джулиано, ремни». И верно — ремни... «На плечах — шестикратная память о веревке». Ну, это преувеличение... «О других несчастьях говорить не хочу, потому что таков способ обращения с поэтами». Поэт? Ну какой ты поэт? Ты — заговорщик! «...Лишь бы обратилось ко мне твое милосердие, которое ты с именем получил от отца и предков!»

Никколо. Что ты скажешь?

Следователь. Неуклюжие стихи твои — пример очевидной лести и унижения на почве страха. Твое раскаяние слишком свежо.

Никколо. Но ты передашь сонет по назначению?

Следователь. Я передам. Но до этого я выполняю данные мне предписания.

Никколо. Они будут отменены после прочтения сонета. Джулиано Медичи поверит мне, вняв голосу разума и совести.

Следователь. Тем более я поспешу и сделаю, что велено мне было.

Никколо. Однако зачем тебе такая бессмысленная жестокость! Ведь ты же человек!

Следователь. Ты пронцателен, бедный друг мой. Я человек, разумеется, где угодно, но здесь я лишь слуга новой власти, я — исполнитель и делаю, что мне указано. Потому я не в ответе ни перед людьми, ни перед богом. А что было бы, если бы я отступил от данных мне распоряжений? Я нарушил бы свой долг и был бы беззащитен перед лицом власти. К чему мне такой риск, подумай сам... Эй, принесите инструменты! Приступим к делу!

Входит п а л а ч, он перевязывает руки Никколо веревкой сзади и прикрепляет ее к дыбе. Поднимает.

Никколо (*стонет*). А-а-а... Ведь ты не зверь же, в самом деле!

Следователь. Я не зверь. Я твой друг, единственный ныне твой друг. Ты думаешь, мне так уж приятно видеть, как ты, второй канцлер республики, висишь на дыбе, подобной татю? Но я забочусь о тебе. Признайся, повинись, и участь твоя смягчится.

Никколо. В чем признаться? Ведь ты отлично знаешь, что я не участвовал в заговоре.

Следователь. Неважно — участвовал ты или нет. Но имя твое стояло в списке седьмым.

Никколо. Я в глаза не видел этот список.

Следователь. И это не так важно.

Никколо (*кричит*). Да и был ли заговор на самом деле?!

Следователь. Он должен быть, раз так считают Медици. А от тебя требуется лишь признание. И тогда — я обещаю тебе это — число казненных ограничится шестью. (*Палачу.*) Опустить его! (*К Никколо.*) Ну, что ты скажешь?

Никколо. Даже под пыткой я не могу ложно обвинить людей. Я не противник Медици. Ты должен был прочесть в моих бумагах, что в секретном письме Содерини после его падения я писал, что его режим исчерпал себя и потому так легко произошла реставрация Медици. Кроме того, я не раз осуждал заговоры как метод, недостойный серьезного политического деятеля, и писал об этом в своих донесениях Совету десяти.

Следователь (*язвительно*). Писал... Совету десяти... Да нет твоего Совета. Есть новая власть, а ты, ты не хочешь ей покориться. И будешь беспощадно раздавлен ею! Эй, палач, вздерни-ка его снова, да повыше!

Палач подтягивает Никколо на дыбе.

Следователь. Отвечай, кто должен был убить Медици? Кого выдвигали на роль нового правителя? Уж не тебя ли? Впрочем, ты слишком для этого ничтожен. Ты слишком много рассуждаешь, чтобы быть способным принимать решения. (*Палачу.*) Ну-ка освежите его память!

Палач снова подтягивает Никколо.

Никколо (*стонет*). А-а-а... Тварь! Бандит!.. Ты же знаешь, что я не виновен!

Следователь. Не виновен!.. Не виновен тот, кто сидит в зале Синьории, а кто в тюрьме, тот виновен! Вот если бы ты со своими соумышленниками захватил власть, ты был бы не виновен и чист, как белый голубь, а на дыбе висел бы я, близкий человек Медичи. И я был бы виновен. Не виновен... Ты же сам писал, что в политике нет морали, а есть сила и удача. Ты повержен, стало быть, ты виноват!

Никколо. А ты не такой дурак, каким я полагал тебя вначале.

Следователь. Благодарю. Я рад, что ты наконец смог оценить мои таланты, хотя и с опозданием. Вспомни, когда ты был вторым канцлером, я пришел к тебе проситься на должность...

Никколо. Что-то я тебя не припоминаю...

Следователь. Еще бы ты помнил! Да ты и в упор не замечал людей, которые стояли ниже тебя по службе. А я вот не забыл того, как ты пренебрег мною.

Никколо. Что же, я отказал тебе?

Следователь. Нет, ты меня направил на должность писаря. Когда же я пришел к тебе спустя полгода снова с просьбой передвинуть меня на другое место, ты ответил, что не видишь возможности использовать мои блестящие способности. Ты был полон иронии. Как же, ты преуспевал тогда.

Никколо. А, вот оно что... Уж лучше было бы отказать.

Следователь. Да, было б лучше. А от твоей услуги отдавало высокомерием, превосходством. Ты меня унизил, а ведь я по своему рождению, по крови, стою выше тебя.

Никколо. То-то, я вижу, ты вкладываешь столько усердия в свое занятие.

Следователь. Ну как же, ты сам твердил не раз, что личный интерес есть главный стержень государственной деятельности, что правитель должен строить свои расчеты не на высоких идеалах, а на выгоде поданных.

Никколо. Да, я реалист в политике. Я пишу о том, что есть, а не как быть должно.

Следователь. Реалист? Какой ты реалист? Вот ты стоишь за высокие идеалы. А я хочу только выдвинуться и преуспеть. И я тебя пытаю. Кто же из нас реалист? Вот так-то, гений!

Никколо. Да, я ошибся. Ты не дурак. Ты мелкая душонка, злобная, бесталанная посредственность, завистник...

Следователь. Эй, палач, поднять его еще раз! Повыше!

Никколо (*стонет*). А-а-а...

Следователь. Хватит на сегодня!

Никколо в углу.

Никколо (*раздумчиво*). Гений и глупость несовместимы. А что как совместимы? Глупый гений. Умный дурак. Обыкновенная история. Разные части мозга этого недоработанного существа! В одной части — искры таланта или бездарности, в другой — капли ума или глупости, в третьей — щепотки доброты или злости. Все дело в сочетаньях. Хитрый дурак так иной раз гения обставит, продаст и купит, в тюрьме сгноит. А сам стоит в сторонке, глазами хлопает по-глупому: мол, это не я, он сам того хотел, он же умнее, я просто не мешал, я сожалею о нем, какой талант погиб, а все зря, зря... (*Все более раздражаясь.*) Жалка участь заговорщика, потерпевшего неудачу. Но участь человека, который не участвовал в заговоре и погибает из-за него, не просто жалка, она нелепа, отвратительна! Я здесь, в этом рубище, и какая-то тюремная крыса изводит, как последнего бродяжку! Великий ум, талантливый политик! Да, это крушение. Полное крушение, когда ни один корабль не возвращается в гавань. Я выпотрошен без остатка, я разрушен больше, чем Помпей Везувием. И если бы даже меня помиловали. (*Кричит.*) Меня! Помиловали! Что за жизнь! Что за жалкое существование! Неудачника, ходока по канцеляриям, прихлебателя, попрошайки, мелкого человека... Ради чего? Нет, уж лучше виселица, костер. Это пристойней для человека, который стоит вровень с Титом Ливием и Данте.

Да и что есть смерть? Избавление от отвращения к самому себе, от своей неумелости, бесхарактерности, трусости, от своей гордыни, от своего безумия, от своей мелкой, лживой сущности. Быть может, там начнется подлинное, не замутненное ничем существование, пускай в иной, неведомой нам форме...

Я видел много смертей. И на полях сражений, и на площадях, и в дворцовых гостиных. Но то была чужая

смерть. Она не задевала меня почти совсем, как будто чьей-то рукой снимали с шахматной доски фигуры, пешки. А о своей смерти я думал все меньше, хотя она становилась все ближе. И вот теперь я с ней лицом к лицу. И все равно я ее не вижу. Я вижу самого себя в этом рубище, я чувствую боль от пыток, я испытываю отвращение ко всей своей жизни и такому ее жалкому финалу. Но смерть? Я не вижу смерти. Я не могу ощутить, понять, какая она, моя смерть.

Я всю жизнь считал себя избранной натурой, человеком, отмеченным перстом божьим. Теперь настал момент, когда я должен сам решить свою судьбу и тем восстановить свое величие и избавиться от презрения к самому себе. (*Привязывает к дыбе шнурок, которым он подпоясан, и делает петлю, накидывает петлю себе на шею. С неожиданным озорством.*) Ну что ж, прощай, Никколо! Нам с тобой не к лицу делать постную мину, когда пришла пора расплачиваться, а в кармане пусто. (*С вызовом.*) Ну где ты, смерть моя?

Г о л о с (*из-за сцены, глухой и гулкий*). Смерть моя...

Н и к к о л о. Откуда этот голос?.. Я безумен?..

Г о л о с (*снова так же*). Безумен...

Н и к к о л о. Да, безумен. Уйти со сцены, когда представление не окончено, актеры еще на местах, а зрители сидят в зале... Я готов умереть. Но умереть здесь и так бессмысленно... (*Пауза.*) Какие, однако, мелкие мысли мне приходят на ум в такой час... О чем, бишь, я тут толковал? Да. О своих былых надеждах, о крушении кораблей... Все говорил, говорил, болтун неисправимый... (*Саркастически.*) Что это я вцепился зубами в этот маленький клочочек земли, в эту жалкую группку людей, среди которой мне суждено было появиться на свет? А родился я презренным мавром или гонимым иудеем, я так же держался бы за свою черную кожу или за веру свою, за искупление страданием... (*Возвышает голос.*) Передо мною вся земля, вся вселенная! А я здесь хочу надеть петлю себе на шею лишь потому, что не буду больше корпеть в канцелярии Синьории?! Так играючи можно и в самом деле повиснуть на этом шнурке поганом. (*Снимает петлю с шеи.*)

Все это происходит так, что не совсем ясно, то ли Никколо действительно собирается повеситься или, как всегда, наполовину ведет игру с самим собой. Входит священник.

Священник (*отшатывается*). Сын мой! Муки твои тяжки, непереносимы, но нет такого отчаяния, которое нельзя было бы одолеть путем искреннего обращения к богу. Тебе выпала нелегкая участь. И смерть уже заглянула в твои глаза. Исповедуйся же, сын мой, очисти свою душу, чтобы явиться перед священным ликом господя бога нашего раскаявшимся и просветленным.

Никколо (*с трудом поднимает голову*). Кто ты таков?

Священник. Я скромный служитель святой церкви нашей. Разве ты не видишь?

Никколо. Да нет, вижу... Что ты за человек?

Священник. Я не человек, я только символ, я сосуд, наполненный божьим словом.

Никколо. Но есть же у тебя какая-то своя сущность. Вот следовательно был здесь давеча. Тот мне понятен: и цель его, и злоба, и пристрастье... А ты? Что надобно тебе?

Священник. Я лишь помощник... Я помогаю возрождению твоей души...

Никколо. Иди отсюда, грязная повитуха. Тебе нет дела до моей души, как и ей нет дела до тебя, сосуд в мерзком рубище!

Священник. Твой разум помутился. Это одеяние францисканского ордена, ты видел его много раз. Исповедуйся, сын мой! Облегчи свою душу! Оставь суетные мысли, ибо перед лицом смерти мы все равны.

Никколо. Как?! Разве и ты смертен? Ты же только символ, носитель слова божьего, чей-то отпечаток, тень! Как можешь ты быть смертен?

Священник. Не кощунствуй. Ты говоришь сейчас не со мной, ничтожным рабом церкви, а с богом.

Никколо. Ну, с богом я сам свои дела улажу как-нибудь! Что до тебя, то раз ты смертен и состоишь из плоти немощной, как и я, ешь, пьешь, любишь женщин, испражняешься и так же можешь страдать, когда тебя поднимут на дыбу, и к тому же ты просто червь ничтожный в сравнении со мной, который видит сквозь века, — чтобы я тебе открыл свою душу?

Священник. Смири свою гордыню. Перед властью церкви нет избранных, есть лишь слуги, как и подданные перед законной властью государей, ибо всякая власть от бога.

Никколо. Не лги, старик, стыдись своих седин.

Не мы ли с тобой видели, как несчастный монах Савонарола был сожжен на костре, а добрейший Содерини изгнан своекорыстной знатью? Не марай бога. Только люди способны на такую злобу и глупость.

Священник. Я не для того здесь, чтоб вести с тобой дискуссию о власти. Я жду исповеди, чтоб даровать прощение от лица римской церкви твоей заблудшей душе.

Никколо. Прощение? Римской церкви? Мне?! Послушай, я тебе напомяну.

Поток скорбей, обитель злобы дикой,
Храм ереси и школа заблуждений,
Источник слез, когда-то Рим великий,
Теперь лишь Вавилон всех прегрешений.

Горнило всех обманов, мрачная тюрьма,
Где гибнет благо, зло произрастает,
Живым — до смерти ад и тьма... *

Священник. Нечестивец! Как смеешь ты, да еще перед лицом смерти, так богохульствовать?! За это одно тебя мало предать анафеме и обречь на вечные муки в аду. В огонь тебя! На костер! На виселицу!

Никколо. Ну вот ты и заговорил своим языком и приоткрыл свою собственную душу, ходячий символ. Прочь отсюда! Прочь, засаленная сутана, церковная крыса, лицемерная мразь! Прочь!

Священник (*слащаво*). Я ухожу в печали, сын мой. Душа твоя смятенна, но я надеюсь...

Никколо. Стража! Уведите этого мерзопакостного шута! Уж лучше дыба!

Священник уходит.

Никколо лежит в углу. Входят жена и Барбера.

Жена. Что с ним сделали! Бедный ты мой! (*Бросается к Никколо и вытирает кровь.*)

Никколо. А-а, это ты?

Жена. Я не одна.

Никколо (*видит Барберу*). О-о! Барбера! (*Жене.*) Но зачем же вместе? А-а, понимаю... Это конец.

Барбера. Нет! Это шутка следователя. Это он велел пропустить нас только вместе.

* Стихи Петрарки.

Жена. Он хотел, чтобы мы уговорили тебя сообщить властям об участниках злодейского замысла, о Каппони и Босколли.

Никколо. Нет! Никогда! Каппони мне друг. А Босколли, разве он способен на заговор? В его душе Христос сильнее Брута. Никогда!

Жена. Я не к тому, чтоб ты оговорил их. Но вспомни о детях. Надо примириться и просить о помиловании у Медичи.

Никколо. Помиловании! Я не виновен!

Барбера. Я была у наших друзей. Есть надежда, что твоя участь смягчится.

Никколо (*мягко*). Так ты была у них, Барбера?

Жена. Это я попросила ее съездить в Рим и поклониться папе и святым отцам.

Никколо. Святым отцам! Бедная моя Мариетта. Ты все еще веришь в это...

Жена. Верю и молюсь о тебе каждую минуту.

Никколо. Да-да. Молись, Мариетта. А что же дети? Как Беппино, душа моя?

Жена. Все кланялись тебе. Беппино больше всех.

Барбера. Ты должен выжить! Сейчас только начинается главное в тебе!

Никколо. Выжить? Но какой ценой?!

Барбера. Выжить! Обмануть лжецов и провести новую власть, не предавая никого! Ведь ты выше их всех, вместе взятых! Никколо!

Входит стражник.

Стражник. Пора! Кончай свиданье!

Никколо. И ты уходишь, Барбера?

Стражник. Уходят обе! (*Ворчливо.*) Впервые вижу, чтобы сразу две приходили на свиданье к узнику. Власть, она везде власть, даже здесь!

Жена (*холодно*). Прощай, Никколо! Я еще приду к тебе.

Стражник (*ворчливо*). Придешь, ежели не опоздаешь.

Барбера. Никколо!!

Никколо. Не верь ему, Барбера!

Стражник. Верь не верь, а уходить надо. (*Выводит женщин.*)

Никколо (*после паузы*). Меня уже хоронят! Не рано ли, однако?! Забыли, кто я и кто они! Во мне еще

достанет сил, чтобы обратить свое несчастье в победу! Да!! Я предложу Джулиано нечто большее, чем стихи. Свое знание, свой опыт, накопленные дорогой ценой. (*Садится за стол, пишет.*) Важно название. Точное, как острое кинжала. Вот оно: Советы государю. (*Пишет.*) Нет, слишком прямо. Неосторожно. Государь! Вот это слово! В нем суть. В нем главное о том, как управлять этими людьми, подчинять их, властвовать над ними. (*Машет кулаком.*) Как внушать им покорность, страх и любовь к своей власти. (*Зачеркивает. Пишет. Ходит. Снова пишет. Возбужден. Сосредоточен. Он творит.*)

В отдалении высвечивается фигура сидящего на троне государя. Он напоминает Цезаря Борджа из третьей новеллы и вместе с тем несхож с ним. Тот был активнее, весь в движении, а этот почти неподвижен и раздумчив. Быть может, это Джулиано Медичи. Или папа Юлий II. Или Людовик XII, французский король. Одно несомненно — это Государь. Начинается сцена из сна Никколо.

Государь. Что, худо тебе?

Никколо. Да. Мне худо...

Государь. Боишься?

Никколо. Боюсь... (*Быстро.*) Но я не заговорщик.

Я не замышлял против власти.

Государь. Я это знаю. Ты не способен.

Никколо. Ты знаешь, я хочу служить Флоренции, несчастной Италии, которую мы любим равно.

Государь. И это мне ведомо.

Никколо. Так почему я здесь? Я в рубище, а не у подножия твоего, в приличествующем мне наряде советника?

Государь. Почему?..

Никколо (*быстро*). Тебя смущает, что я был верным и близким Содерини? Но поверь мне, я буду так же верен новому государству. Тебе.

Государь. И это я знаю.

Никколо (*быстро*). Тот, кто, как я, был честным и добросовестным в течение сорока трех лет, вряд ли сможет переделать свою природу.

Государь (*насмешливо*). Так ты честен? Тебя нельзя купить?

Никколо (*быстро*). Государь! Ты увидишь, что те пятнадцать лет, которые я потратил на изучение управления, я не спал и не проводил время праздну. Я знаю истину, как добиться власти, как укрепить ее, как управлять народом. Я обнаружил...

Государь. Что обнаружил ты?

Никколо. Что одни законы управляют жизнью людей и стран во все века! Я знаю, как управляются республики и монархии...

Государь. Да... знаешь... знаешь...

Никколо. А здесь вот главное, прости меня, о том, каким быть государю, как надлежит ему в видах власти поступать с подданными. (*Листает лихорадочно листы.*) А вот оно. (*Читает.*) Каждый государь хочет быть достоин высшей хвалы. Но как добиться этого?

Государь (*с долей любопытства и иронии*). Как?

Никколо (*с большим оживлением*). Просто. Очень просто, когда знаешь. (*Доверительно.*) Ни один не может иметь всех добродетелей сразу. Поэтому важно не то, какой ты есть, а то, каким ты кажешься подданным.

Государь. Ты думаешь?

Никколо. Государь хочет, чтобы его любили и боялись. Но так как совместить это трудно, то гораздо вернее внушать страх, чем быть любимым. Но страх надо внушать так, чтобы избегать ненависти.

Государь (*с некоторым любопытством*). Вот как. Каким же это образом?

Никколо. Все дело в том, как изобразить свои поступки. Вот если надо пролить кровь врага своей власти, так каждый подданный должен знать, что это и его враг. Затем — жестокость, ее надо делать быстро и сразу — она и забудется, а добро творить постепенно, медленно. Потом — нельзя быть жестоким и прямым. Государь должен взять в пример лисицу и льва, ибо лев беззащитен против сетей, а лисица беззащитна против волков.

Государь (*постепенно раздражаясь*). Ты бы еще сравнил нас со змеей или лягушкой.

Никколо (*не замечая раздражения*). Но нужно уметь хорошо скрыть в себе это лисье существо и быть великим притворщиком. Это не сложно. Пусть государь лишь заботится о победе и сохранении государства — средства всегда будут считаться достойными и каждым будут одобрены. (*Доверительно.*) Ибо толпа идет за видимостью и успехом дела. Каждый видит, каким ты кажешься. И лишь немногие чувствуют, какой ты есть.

Государь (*с сарказмом*). А ты, конечно, в числе тех, кто видит, как есть!

Никколо. Государь! Я прошу тебя — не считай за

самоуверенность, что человек такого низкого состояния позволяет себе рассуждать о правлении князей и устанавливать для них правила. Подобно тому как люди, рисующие какой-то вид, спускаются в долину, чтобы узреть очертания гор, так, чтоб постичь природу князя, надо быть из народа.

Государь. Устанавливаешь правила, стало быть. А для чего?

Никколо (*воодушевляясь*). Послушай, государь! Ты мог бы, опираясь на знание мое, мой опыт, достичь великих целей — единения Италии. (*Страстно.*) О печаль моя и боль моя, Италия, томящаяся под игом варваров и мелких тиранов! Ты способна принять самые широкие реформы! Слушай, государь, если ты возложишь на свои плечи это бремя, тебе удивится весь мир!

Государь (*все так же*). Да... удивится... (*Резко.*) А ты измерил препятствия? Сопоставил силу врагов с нашими силами? Ты подсчитал на точных счетах, сколько солдат выставят против нас французы и испанцы? А могущество мелких тиранов? А сопротивление знати? А равнодушие народа? Ты все это взвесил? Мечтатель?

Никколо (*трезвея*). Но великая цель...

Государь. У власти нет иной цели, как укреплять себя!

Никколо. Единение Италии...

Государь. Что значит — единение? Кому оно пойдет на пользу, чьей власти — моей, его, твоей, — вот в чем вопрос!

Никколо (*все более возбуждаясь*). Нашей Италии, нашему великому народу!..

Государь. Народ? Кто таков народ? Серая масса, стадо, воск в моих руках, чистый лист бумаги! Ничтожество, достойное презренья! Вот твой народ!

Никколо. Но истина управления...

Государь (*так же резко*). Истина! Подглядел! За одно это тебя мало четвертовать. Ты выбалтываешь секреты власти, говоришь несчастный, да еще похваляешься этим перед нами! Мы, государственные люди, знали это во все века. Но у нас хватало ума хранить это как самую интимную тайну нашу. Ты, жалкий червь, хотел судить о нас, поправ святое правило о суде равных. Лишь мы, цари, князья и государи, вправе судить друг друга при жизни и после смерти!

Никколо. Но, государь, ты сам есть часть народа своего!

Государь. Нет! Никогда! Я господин! А ты — ты раб, раб, восставший в лоне духа! И тем опасен вдвойне!

Никколо *(снова униженно)*. Но, государы!.. Я не посягал ни на чью власть. Я хотел...

Государь. Обмануть хотел?! Бога живого хотел обмануть?! Не выйдет — бога!!

Никколо. Я хотел лишь быть советником, добросовестным и честным...

Государь. Советником? Ты хочешь наставлять меня! Да что ты знаешь? Что стоят твои знания перед лицом умения? Что стоит слово перед лицом дела? Нет, ты хочешь разделить со мною власть, которую я обрел ценой борьбы, преодолений страха, нравственных мук. Ты хочешь прийти на готовое, как муха на мед, собранный трудолюбивой и самоотверженной пчелой. Ты хитрая муха! Хитрая, но простоватая. Тебя так же легко запутать в паутине и выпотрошить. Да, ты прав — государи подобны льву, и тигру, и лисе, пчеле и пауку! Ну а ты, умник, ты худший среди нас, ты, как шакал, питаешься огрызками, оставленными более смелыми и жестокими животными. И ты еще хочешь быть выше нас! Прощай, простак! Теперь исповедуйся перед казнью.

Образ государя постепенно исчезает.

Никколо. Нет! Постой! Постой! Я тебе скажу два слова правды о тебе! Да, я простак! Мечтатель! Кого хотел я одарить величием! Кого?! Кого?! Все прахом! Все рухнуло! Все надежды! Вся жизнь!! *(Падает на пол, катается по полу. Садится. Потом встает.)*

...Исповедь... Они требуют исповеди. Одни именем кесаря, другие именем бога. Но что я знаю о себе самом? Я так часто менял маски, что не ведаю, которая осталась на моем лице. Маска служенья, маска исполнительности, маска мудреца, маска дружеского участия, маска льстеца, маска кутилы — маски, маски, маски... Как же мне сейчас под всем этим ворохом найти самого себя? Если я политик, то почему не рвался к власти, не шагал по трупам, как Борджа? Если я праведник, подвижник, то почему не кончил жизнь на костре, как тот монах несчастный? *(Пауза.)*

Кто я? Зачем я? С той поры, как я себя помню, я более всего желал насытить утробу живущего во мне червя познания. Бывая с другом, с правителем, с поэтом, с ученым, я жадно впитывал в себя все впечатленья и ими кормил червя. Я жил раздвоенный — для тела и для того, что не есть тело, — для души, что есть познание и развитие.

Червь сыт. А что же я? Что дальше? Дальше — творить! Творить! Строить башню из песка и глины, подобно муравью, и в этом быть подобным богу, ибо бог есть созидание, работа на развитие вселенной!

Тогда, выходит, я всю жизнь бежал от своего призвания? От муравьиной своей работы на бога и вселенную? Так ли это? Кто скажет мне? Как бы мне хотелось хоть однажды лицом к лицу увидеть свою душу! (*Пауза.*) Где ты, душа моя?!

Пристально вглядывается в стену тюрьмы, и она постепенно светлеет, становится белесой, и вот уже за стеной, как в тумане, появляются фигуры, мелькают, медленно движутся. Очертания их едва заметны.

Боже, я схожу с ума. Случилось... то, чего я боялся всю свою жизнь более смерти... Я безумен... (*Рыдает.*) Вот я вижу знакомые черты. Савонарола, ты? А вот другой... Да это ж государь — герцог Валентино, Цезарь Борджа... А вот казненные им Орсини, Вителли, Оливеротто, Ваньоли, а вот папа Юлий II... О! Сколько их здесь, друзей и недругов! Но где же ты, душа моя? (*Прижимается лбом к стене.*)

Голос (*за стеной, глухо*). Я здесь.

Остальные фигуры исчезают, постепенно растворяются. Голос звучит глухо, как бы сверху.

Никколо. Я не узнаю тебя.

Голос. Да, ты меня не знаешь. Ты так поспешно жил.

Никколо. Да, поспешно. Впрочем, теперь мне кажется, я угадываю в тебе знакомые черты. Вот (*поднимает палец*)... Таким я себя и помню в двенадцать лет. Нет, пожалуй, когда казнили монаха... Нет, опять не то... А... таким был я на службе Флорентийской республики. Счастливое время... Не то... А вот! Я веду переговоры с французским королем... То была трудная роль, но я сыграл ее успешно... Не то... не то... Я был таким, когда встретил Барберу... Нет...

Голос. Не старайся напрасно. Душа неизменна. Менялся лишь твой внешний облик, и усложнялась ткань души, но не ее сущность.

Никколо. Это слишком сложно... Где мне понять сейчас... (Кричит.) Да и слышу ли я тебя на самом деле? Иль это бред моего истерзанного мозга?!

Голос. Слышишь. Тебе дано заглянуть в свою душу. Понять себя. Повиниться перед собой. Отринуть все, что чуждо душе твоей.

Никколо. Да, я виновен. Виновен. И нет мне оправданья.

Голос. Ты виновен.

Никколо. Я виноват в предательстве... Я предал Пьеро Содерини, который был мне больше чем другом, покровителем, единомышленником. Я предал герцога Валентино, которым так восхищался раньше. Я предал память бедного монаха Савонаролы, человека, который был честнее нас. Я всех их поносил, смеялся над их несчастьями.

Голос. Нет. В этом ты не виновен.

Никколо. Да, верно... Я не причинил им зла. Да и то сказать, Пьеро Содерини позаботился о себе, а обо мне и не вспомнил. Герцог Валентино был жестокий тиран. Я могу лишь стыдиться того, что восхищался им в свое время. Савонарола был фанатик. Эта порода людей не менее страшная, чем тираны...

Тогда я виноват в предательстве своих родных и близких. Теперь я знаю, я виновен перед женой, детьми, перед Барберой. Я хотел их совместить, я надрывал им душу. Я лгал жене, я лгал Барбере, своим детям. Я уверял, что люблю их, а любил неизменно только одно — свои идеи, свои иллюзии.

Голос. В этом ты виновен не более других. Они получили свое.

Никколо. Пожалуй... Пожалуй... Жена казнилась, но и казнила меня всю жизнь. Своим напряжением, своим сопротивлением... Барбера и не желала большего... А дети — у них все впереди.

Тогда я виновен в предательстве идеалов. Я мечтал о величии республиканской Италии. Я жаждал независимой, гордой, процветающей Флоренции. Но дал себя увлечь идеей государя — Великого объединителя страны.

Голос. То была чужая роль. Чужой поступок. Ты

его искупишь вековым позором, превышающим твою вину. Подумай... еще.

Никколо. Тогда... в чем же... я виновен? Быть может... быть может... я предавал... себя... свое призвание?..

Голос (*гулко*). Да!.. Да!.. Да!.. Всю жизнь ты изменял своей природе. Мне изменял, своей душе. Ты ломал меня, ты выворачивал мне руки. Ты пытался исказить мое лицо. Ты был рожден добрым и сильным, как слон, а тщился стать злым и коварным, подобно барсу. Ты был рожден не для того, чтобы властвовать или быть подвластным, а чтобы возжечь еще одну светлую лампаду в этом холодном мире. Ты всегда носил чужие маски, и каждая из них ранила твою душу, кромсала ее в кровь, раздирала на части, вываливала в дерьме. Да, ты предо мной виновен! А что ты обрел взамен? (*Гулко*.) Цель жизни?

Эхо повторяет: ...Цель жизни...

Любовь?

Эхо повторяет: ...Любовь...

Славу?

Эхо повторяет: ...Славу...

Свободу?

Эхо повторяет: ...Свободу...

(*Обычным голосом.*) Был ли ты счастлив хоть один день в разладе со мной?

Никколо (*падает вперед, как индус во время молитвы*). Прости меня! Я не ведал, что творил. Мне нет прощения! Я достоин смерти... сейчас... я ускорю ее приход... (*развязывает шнур*) сам... Я сам...

Голос. Остановись! Ты познал себя. Ты должен, ты обязан размотать пружину своей жизни до конца.

Никколо. Клянусь, отныне я буду верен тебе одной и своему долгу перед... человеком... перед вселенной.

Голос (*глухо и гулко*). Живи... (*Звучит все тише, постепенно растворяется.*) И помни... (*еще тише*) обещание... (*еще тише*) свое...





О Б Р Е Т Е Н И Е

М

истика была все еще в ходу в ту пору. Но Макиавелли нима-ло не был подвержен ей. Что он по-настоящему ценил, так это хо-рошую мистификацию, и потому названную сцену можно принять как род мистифицирующей литературы и то с больши-ми оговорками и с учетом чрезвычайных обстоятельств, в которых он оказался: политический крах, тюрьма, пытка, помутненное сознание...

Трудно, пожалуй, найти другой пример в истории

общественной мысли, когда бы привычные понятия — жизнь и творчество — были так четко разграничены во времени, как у Никколо Макиавелли. Судьба разделила все его бременное существование на земле на три части: первая (1469—1498 годы) — формирование личности и характера; вторая (1499—1512 годы) — практическая деятельность на посту флорентийского секретаря; третья (1512—1527 годы) — творчество. В двадцать девять лет он вступил на политическое поприще, в сорок три года он его лишился, и лишился навсегда. Более четырнадцати лет Макиавелли накапливал практический опыт, и почти столько же времени у него ушло на то, чтобы изложить накопленное в политико-философских, исторических и литературно-художественных произведениях.

Макиавелли, второй канцлер республики, который ведет борьбу за сохранение республиканского режима, подтачиваемого изнутри и испытывающего острые удары извне, вряд ли подозревал, что ему уготован иной удел, что он навсегда простится с привычными комнатами в Палаццо Веккьо, с политической деятельностью и начнет другую, новую жизнь — жизнь создателя, мыслителя, художника.

Если бы существовала predeterminedность, то смысл крушения республиканского режима во Флоренции был бы не в нем самом, а в том влиянии, которое это должно было оказать на жизнь и деятельность второго канцлера.

В сочетании этих двух фактов — падение республики и падение Макиавелли — есть нечто такое, что схватывает самую суть жизни этого человека. Двенадцатый час республики оказался двенадцатым часом и для ее второго канцлера. Случайно ли?

Нет. Это был самозабвенный, самоотверженный и страстный республиканский деятель; все, что он делал до крушения республиканских учреждений, в момент их крушения и после утверждения режима Медичи, не в состоянии смыть с его чела этой почетной печати. Он намертво связал себя с республикой и полностью разделил ее судьбу. Об этом знали все, это было невозможно скрыть в пору реакции ни с помощью притворства, ни с помощью хитроумных ходов, ни заигрывая с друзьями нового режима.

Некоторые биографы Макиавелли полагают, что по-

следующие его злоключения были связаны с тем, что он слишком близко стоял к Пьеро Содерини: был его человеком, его «куклой», его ближайшим помощником, был дружен с его братом, с которым участвовал в нескольких дипломатических миссиях. Но так ли это?

Трудно сказать, кто был «куклой», поскольку Макиавелли сильно влиял на Содерини, который не был ни стратегом, ни идеологом и слишком часто, по мнению многих сотрудников Синьории, полагался на советы и предложения малоименитого секретаря.

Не потому ли Макиавелли не очень-то любили в окружении Содерини? Особое положение человека, занимавшего невысокий официальный пост, откровенная демонстрация им своего интеллектуального превосходства порождали много завистников. Характерный эпизод произошел в момент расцвета его политической деятельности, в конце 1509 года, когда в его отсутствие избирался новый состав Совета десяти.

Его друг Буонаккорси писал ему, что какие-то доброты пытались сместить Никколо Макиавелли с поста второго канцлера. Предлог для этого был придуман смехотворный: его отец-де умер должником государства. Об этом вспомнили спустя одиннадцать лет после вступления Никколо на политическое поприще. Атака противников Макиавелли не удалась, он сохранил свой пост, но его друг с огорчением сообщил Никколо, что очень мало людей вступилось за него. То был первый тревожный симптом того, что произошло впоследствии, — полной изоляции Макиавелли в политических кругах Флоренции. И объяснялось это, конечно, не только его близостью к Содерини. Ведь не покушался же никто на первого канцлера республики, который так же был дружен с гонфалоньером. Объяснялось это скорее другим: новый режим интуитивно чувствовал в нем своего тайного и непримиримого противника.

Но Макиавелли не смиряется со своим поражением. Едва выйдя на волю, неугомонный Никколо вновь начинает хлопоты по поводу государственной службы. Он сочиняет «Песнь блаженных духом», приуроченную к избранию нового папы, посылает Джулиано Медичи третий сонет и несколько певчих дроздов. Одновременно он пишет Франческо Веттори, назначенному послом Флоренции при римской курии, письма с просьбой похлопотать за него перед папой. Но тщетно. Медичи остаются

ся глухи к просьбам бывшего флорентийского секретаря. Еще слишком свежи были воспоминания о его неустойчивой приверженности республике Содерини и его решительной борьбе против реставрации Медичи.

Итак, три сонета, певчие дрозды... Вот каков он был, этот неловкий ловчила, честный лгун, искренний лицемер! Да разве так входят в доверие к государю? Сонеты, дрозды, разговоры на равных, предложения реформ, поиск идей, претензии на величие — разве таким товаром можно было соблазнить этого властителя, которому нужны покорность, лесть, раболепие, постоянная демонстрация своего ничтожества?!

В чем же дело? Почему он был так неловок, этот опытный политический деятель? Ведь это он, Никколо, умел мастерски вести дипломатический разговор, тонко разгадывать очередной ход противника, плести хитроумные сети, в которые попадались даже такие прожженные политиканы, как герцог Валентино, давать точные экспертные заключения о деятелях, о войсках, о событиях. Он умел писать пространные, литературно отточенные репортажи, разбирая события с одной и с другой стороны, играть словами, находить выразительные художественные образы. Он умел набирать рекрутов, вдохновлять солдат, укреплять крепости, намечать военные планы.

Но вот беда — он не обрел опыта в главной науке чиновника. То был жалкий придворный. В мастерстве лести, в ловкости общения с нужными людьми, в цепкости, в точности закулисных ударов по сопернику — словом, во всем том, что делало чиновную карьеру в ту пору, он был плох, очень плох. Любой аристократишка, человек десятистепенных способностей с молоком матери всосал больше придворного политеса, чем этот прямолинейный политический талант. Уж очень он был горд, даже в унижении своем. Уж очень он был независим, даже в своей зависимости.

Он готов был уступить лично как человек. Он готов был уступить даже как деятель. Но не как мыслитель. Его политический анализ оставался беспощадным. Он шел до самого конца в своих выводах. Он цепко держался за свои убеждения. Сверх всего он дорожил словом, им придуманным, больше, чем делом. Ведь даже когда он брался за перо с прямой целью прислужиться, он не мог до конца переломить в себе беса познания.

Сквозь униженную лесть проглядывал вызов, а сквозь угодливые советы — безжалостное разоблачение.

Можно представить себе, каким болезненным пунктом для Медичи было простое упоминание о Пьеро Содерини. Тем не менее Никколо, будучи не в силах удержать руку, продолжает дразнить в своих сочинениях новую власть описанием деятельности Содерини, причин его падения, в которых, несмотря на словесные прикрытия, чувствуется острое сожаление об утраченных возможностях, затаенное сочувствие поверженному республиканскому лидеру. Вот что он напишет впоследствии в «Рассуждениях»:

«В наше время мы видели, какие нововведения были произведены во Флорентийской республике оттого, что масса не нашла законного исхода своему неудовольствию против одного из граждан... В подкрепление всех этих заключений приведем еще случай во Флоренции с Пьеро Содерини. Случай этот произошел только потому, что в этой республике не существовало никаких учреждений, которые имели бы право преследовать честолюбие могущественных граждан; ибо для обвинения сильного человека конечно недостаточно простого суда из 8 судей; необходимо, чтобы судей этих было больше, потому что несколько человек всегда готовы подчиниться небольшому числу других частных лиц. Если бы государство было устроено как следует, то граждане, найдя его (Содерини) виновным, удовлетворили бы свое негодование против него, не призывая испанских войск; если же напротив он оказался бы невиновен, они не посмели бы поступить против него дурно, потому что побоялись бы сами подвергнуться обвинению; и таким образом во всяком случае народная вражда к нему утихла бы, не произведя столько беспорядков» (Р., 143—144).

Здесь, как мы видим, содержится весьма прозрачный намек на то, что Пьеро Содерини был обвинен неправильно, что его падение привело к самым неблагоприятным последствиям для Флорентийской республики. Но Макиавелли не успокаивается и на этом. Он идет дальше. Вот что мы читаем на следующих страницах того же труда.

«Пьеро Содерини приобрел во Флоренции популярность, как благоприятель народа, считавшего его преданнейшим приверженцем свободы. Граждане, оскорблен-

ные его возвышением, поступили бы гораздо честнее и благоразумнее, с меньшим вредом и меньшей опасностью для государства, если бы постарались предупредить его на пути к возвышению, вместо того, чтобы, действуя открытым насилием, увлечь заодно с ним в пропасть всю республику... Быть может, заметят, что если граждане, ненавидевшие Пьеро, сделали ошибку, не предупредив его в средствах, которыми он приобретал популярность, то и сам Пьеро сделал ошибку, не предупредив своих противников и не обратив против них того оружия, которым они ему грозили. Но ошибка Пьеро извинительна, потому что средство, которое ему предстояло, было затруднительно и бесчестно; известно, что это средство, которым его низвергали, которым боролись против него и наконец погубили, состояло в поддержании семейства Медичи. Очевидно, стало быть, что Пьеро не мог прибегнуть к этому средству потому, что мог ли он, не губя своей популярности, способствовать угнетению свободы, вверенной его бдительности? Ему пришлось бы делать это тайно и завершить внезапным решительным ударом; но, кроме позора, это представляло ему большую опасность, потому что при малейшем подозрении в сообщничестве с Медичи народ возненавидел бы его, и тогда врагам его ничего не стоило бы погубить его» (Р., 240).

Вот как писал Никколо в период, когда Медичи еще находились у власти. Не наивно ли было рассчитывать при этом на то, что они вернут ему свое благоволение из уважения к его уму и таланту политического мыслителя?!

За четырнадцать лет верной службы республике Макиавелли не сделал никаких сбережений. Он ушел из Палаццо Веккьо таким же бедным и честным, каким пришел туда. Подсчитав свои скромные доходы, он понял, что не может содержать семью во Флоренции, и к середине весны 1513 года переселился в свое крошечное имение Сан-Андреа, в двух милях от Сан-Кашано и семи милях к югу от Флоренции. Начался многолетний период опалы Никколо Макиавелли. Он получил, правда против своей воли, жизненную паузу, чтобы стать тем, кого мы знаем: великим политическим мыслителем эпохи Возрождения.

Никколо принял зов судьбы. Перед отъездом в деревню он пишет Веттори:

«...Судьба решила, что, поскольку я не разумею ничего в шелковых мануфактурах или в операциях с шерстью, равно как и в прибылях и убытках, мне подходит рассуждать о политике, я должен либо рассуждать, либо молчать о ней». Подпись под этим письмом полна горечи: «Никколо Макиавелли, бывший секретарь».

Подобно Данте, о котором он очень любил вспоминать, использовавшему изгнание для создания божественной комедии, Никколо всю силу своего ума, весь свой темперамент отдает созданию политической теории. Но хотя он постоянно сетует на судьбу, которая вырвала его из кипящего страстями политического котла и забросила в глухую деревушку, где самый образованный человек — это приходский священник, он вместе с тем не чувствует себя ни раздавленным, ни сломленным. Он находит новый источник для приложения жизненных сил. Перелистывая книги столь почитаемых им древних авторов, он снова и снова листает свои собственные воспоминания о политической жизни итальянских и других европейских государств, о людях, о встречах. Его голова полна ясного света, он бодр, вера в себя не покидает его ни на минуту.

Мы не должны забывать о маленькой детали. Изгнание Макиавелли в деревню было добровольным, ему никто не запрещал появляться во Флоренции. Время от времени он наезжает туда в поисках развлечений, для встреч с друзьями, любимой женщиной. Хотя стремительный бег его жизни был прерван обстоятельствами, он сознательно пошел на то, чтобы обратить зло в добро и выжать максимум из жизненной паузы.

Не следует слишком преувеличивать его постоянные сетования на свой жалкий жребий: «И если иногда смеюсь я иль пою, — пишет он 16 апреля 1513 года Веттори, — то потому, что у меня лишь этот путь остался, чтоб горечь унижений не показывать свою» *.

Он жаждет продолжения деятельности и втайне радуется отрешению от нее, дающему возможность осуществить давно взлелеянную мечту — побеседовать с древними мыслителями как равный с равными, выразить накопленный опыт в политических и художественных образах.

Что бы там ни говорили, а ему никогда не давала

* Сонет Петрарки.

покая тайная мечта помериться силами с Плутархом, Титом Ливием и даже с Данте и Петраркой. Если бы это было не так, он вряд ли похоронил бы себя в деревне, а скорее хлопотал в приемных Палаццо Веккьо и Ватиканского дворца. Нет, он был сложнее и противоречивее, чем думают те, кто изображает его вечным искателем политической работы.

Это прекрасно обнаруживает его переписка с Франческо Веттори. Она длилась не меньше трех лет и была особенно активной в первые годы заточения Никколо в «зеленой, солнечной тюрьме». Франческо Веттори, которого мы видели в начале книги, прекрасно развил себя. Заложенные природой качества человека, который любит и умеет хорошо жить, достаточно родовитого, чтобы претендовать на высокие должности, и достаточно способного, чтобы не ударить в грязь лицом, сделали его вполне земным политиком, умело сочетавшим выгоды власти с личными выгодами.

Небезынтересно, что во времена республики Содерни он, не будучи ни стратегом, ни мыслителем на уровне Никколо и не погружаясь, подобно ему, с головой в дела, тем не менее нередко получал более высокие назначения. Во время их совместной миссии в Германию именно он оказался во главе, хотя все дела (переписку, переговоры, отчеты) вел Никколо. Не чуждый маленьких человеческих слабостей, он стремился извлекать максимум удовольствия из своих занятий политикой и любовью.

Это и составляло основной предмет его переписки с Никколо. Нередко он спрашивал его мнения относительно тех или иных текущих политических дел и, надо думать, пользовался острыми и тонкими суждениями своего друга, чтобы блеснуть при римском дворе. Время от времени Никколо возобновлял свои просьбы замолвить словечко о себе перед папой Львом X, перед другими вельможными особами, не особенно рассчитывая на активность своего друга. И Веттори для успокоения Никколо предпринимал нечто или делал вид, что предпринимает, о чем сообщал ему мимоходом.

Приведем некоторые, наиболее характерные для настроений и стиля Макиавелли письма.

В конце ноября 1513 года Веттори пишет письмо Никколо, приглашая его приехать в Рим. Соблазняя друга, он подробно описывает пикантные детали своей жиз-

ни, рассказывает о том, как утром он идет во дворец, чтобы обмолвиться несколькими словами с папой, кардиналами и узнать новости, потом днем обедает с кардиналом Медичи, затем, вернувшись домой, играет в карты или идет на прогулку, развлекается чтением римских историков. По праздникам он посещает мессу. Подробно расписывая свои любовные приключения, он приглашает Никколо приехать не для того, чтобы работать, а отдохнуть и повеселиться.

Макиавелли отвечает ему письмом (10 декабря 1513 года). Предлагая Веттори поменяться образом жизни, он дает подробное описание своего времяпрепровождения:

«...Встаю я утром вместе с солнцем и иду в свой лесок, где мне рубят дрова. Там, проверяя работу предыдущего дня, я провожу час-другой с дровосеками, у которых всегда имеются какие-нибудь нелады с соседями или между собою... Из лесу я иду к фонтану, а оттуда — на птичью ловлю. Под мышкой у меня всегда книга: или Данте, или Петрарка, или кто-нибудь из менее крупных поэтов — Тибулл, Овидий, другие. Читаю про их любовные страсти, про их любовные переживания, вспоминаю о своих. Эти думы развлекают меня на некоторое время. Потом прохожу на дорогу, в остерию, разговариваю с прохожими, расспрашиваю, что нового у них на родине, узнаю разные вещи, отмечаю себе разные вкусы и разные мнения у людей. Тем временем настает час обеда. Я ем вместе со всей семьей то, что бедное мое поместье и малые достатки мои позволяют. Пообедав, возвращаюсь в остерию. Там в это время бывает ее хозяин и с ним обыкновенно мясник, мельник и два трубочиста. В их обществе я застаю до конца дня, играю с ними в крикку и трик-трак. За игрою вспыхивают тысячи препирательств, от бесконечных ругательств сотрясается воздух. Мы воюем из-за каждого кватрино, и крики наши слышны в Сан-Кашано. Так, спутавшись с этим сбродом, я спасаю свой мозг от плесени и даю волю злой моей судьбине, почти довольный, что она бросила меня так низко; погляжу, не сделается ли ей стыдно.

Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свой кабинет. На пороге я сбрасываю свои повседневные лохмотья, покрытые пылью и грязью, облачаюсь в одежды царственные и придворные. Одетый достой-

ным образом, вступаю я в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне, для которой я рожден. Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать объяснений их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я переносюсь в них. И поскольку Данте говорит, что не существует знания, если сохранять в памяти накопленное, решил я записывать те сокровища, которые почерпнул из разговоров с ними, и составил маленькую книгу «De principatibus» («О государствах». — Ф. Б.), в которой я попытался проникнуть насколько мог глубоко в этот предмет, рассуждая о том, какие виды государств бывают, как они приобретаются, сохраняются и гибнут...»

По-видимому, речь здесь идет об одном из ранних вариантов «Государя». Из письма мы узнаем, что Макиавелли полагал посвятить его Джулиано Медичи и советуется с Веттори, дарить ли рукопись Джулиано, и если дарить, то посылать или отвезти лично. «...Против подарка говорит мое подозрение, что Джулиано ее читать не станет, и за счет этого моего последнего усилия выигрывает Ардингелли (один из секретарей папы. — Ф. Б.). На то, чтобы подарить, дают мои нужды. Я истошаюсь и долго не вынесу этого... Страстно желаю, чтобы синьоры Медичи начали меня использовать на своей службе, даже если бы они для начала заставили меня катать камни; ибо если я тогда не склоню их в свою пользу, мне останется винить только себя».

Вот как Никколо оценивает сам свою рукопись: «Что касается этой моей вещи, то, прочтя ее, можно увидеть, что те 15 лет, которые я истратил на изучение управления государственным делами, я не спал и не проводил время праздно; всякий должен был бы высоко ценить возможность использовать человека, который приобрел так много опыта за счет других. И не может быть сомнения в моей честности, ибо, будучи всегда честным, я едва ли перестану им быть. Тот, кто, как я, был честным и добросовестным в течение 40 лет, вряд ли сможет переделать свою природу, а моя бедность свидетельствует о моей добросовестности и честности».

Ссылаясь далее на свое стремление поскорее закон-

чить рукопись, он отказывается от приглашения приехать в Рим, которое ему сделал Веттори. Кроме того, его удерживает соображение о возможной встрече с Пьеро Содерини, который находился в Риме. Это, несомненно, ухудшило бы и без того плохие отношения Никколо с Медичи.

Три момента останавливают наше внимание при чтении этого письма. Первое — горькие сетования на свое опальное положение; второе — радостное приобщение к творческой жизни, «для которой я рожден», третье — мотивы написания «Государя». На этом, последнем, надо остановиться особо, поскольку здесь, быть может, кроется один из ключей для решения загадки Макиавелли.

Отметим прежде всего следующее важное обстоятельство. Удалившись в Сан-Андреа для творческой деятельности, Макиавелли начинает работу не над «Государем», а над «Рассуждениями на первую декаду Тита Ливия». Он приступает к этому труду, по-видимому, летом 1513 года и завершает его в 1519 году. Трактат о республиках, а в этом смысл «Рассуждений», — вот что волнует Макиавелли в первую очередь. «Государя» он пишет в течение нескольких месяцев — в конце 1513 года, в период своей работы над «Рассуждениями». По мнению Ридольфи, реальная действительность Италии, где господствовала тирания, побудила Макиавелли вопреки сердцу создать «Государя». Это правда, но не вся правда.

То, что в стране в ту пору господствовали по преимуществу тиранические режимы, Макиавелли знал и до того, как сел за «Государя». Тем не менее он начал с «Рассуждений», с трактата о республиках. Стало быть, дело не только в этом соображении. Главное состоит в том, что «Государь» был написан со специальной целью, и, как бы мы ни старались оправдать Макиавелли, эта цель была весьма житейского свойства — попытаться улучшить свои отношения с Медичи и тем самым свое общественное положение. Таков был — а для нас это несомненно — непосредственный повод и мотив написания работы, которая вызвала столь сильное брожение в умах современников и потомков.

В пользу этого соображения говорят многие факты. Первый мы уже назвали: отложив работу над «Рассуж-

дениями», Никколо срочно садится за «Государя» и очень быстро завершает его. Второе — его личное свидетельство в письмах Веттори. Уже в приведенном выше декабрьском (1513 г.) письме он обсуждает с ним свой замысел посвятить рукопись Медичи, с тем чтобы они вернули его на службу. Веттори в письме от 24 декабря отвечает ему вскользь по поводу «Государя», что не видит никаких подходящих для Макиавелли возможностей в Риме. Он более серьезно подумает, когда получит его рукопись. А в письме от 18 января 1514 года он пишет, что ему очень понравилась та часть рукописи, которую он получил, но он не может связать себя обязательствами в отношении хлопот перед дворцом, пока не увидит работу целиком.

Обрадованный Макиавелли срочно выезжает в январе 1514 года во Флоренцию вместе с семьей. Он везет с собой рукопись, чтобы познакомить с ней своих друзей и обсудить с ними вопрос о его замысле преподнести ее Джулиано Медичи. Обстановка, по-видимому, была неблагоприятной, и Макиавелли так и не послал «Государя» Джулиано Медичи. Когда последний умер и на его место пришел Лоренцо, Макиавелли посвящает рукопись ему, проявляя поразительную настойчивость и последовательность. Это было сделано не ранее сентября 1515 года и не позднее сентября 1516 года, то есть спустя полтора-два года после окончания работы над «Государем».

Посвящение рукописи Лоренцо Медичи Великолепному было выдержано в лучших традициях дворцового этикета.

«Лица, желающие заслужить к себе благоволение Государей, — читаем мы здесь, — обыкновенно выражают это поднесением им в дар таких предметов, обладанием которых они особенно дорожат или по заключающейся в них ценности, или по тому удовольствию, которое они приносят. Желая таким образом представить Вашему Великолепию какое-либо доказательство моей глубокой к Вам преданности, я не нашел ничего, между самыми ценными предметами, какими я обладаю, чем бы я так дорожил и высоко ценил, как мое познание действий людей высокопоставленных. Знание это я добыл долгим изучением современных событий и глубоким исследованием древней истории.

...Самый ценный дар, каким я мог располагать, состоял в возможности доставить Вам средство в кратчайшее время узнать то, на изучение чего я употребил многие годы... Если с высоты своего величия Ваше Великолепие удостоит взглянуть на то, что находится внизу, то Вы увидите, насколько незаслуженно приходится мне в жизни страдать и быть жертвою суровой и несправедливой судьбы» (Г., 1—3).

Увы, Лоренцо Медичи игнорировал рукопись и не оценил раболепие ее автора. Быть может, ему не понравился тон поучений, да еще по такому предмету, как управление государством, да еще со стороны представителя низшего сословия, смеющего утверждать право народа на суждение о государях? Быть может, еще не остыла в его душе ненависть к своему предшественнику Пьеро Содерини и его близкому человеку Никколо Макиавелли? Об этом можно только догадываться. Остается фактом, что Лоренцо был неумолим и вплоть до своей смерти (умер он 4 мая 1518 года в возрасте 27 лет) так и не соблаговолит обратить внимание на человека, предлагавшего ему свои советы и свою службу. Такова была первая неудача автора «Государя» с государями.

Проследим, однако, дальше за перепиской с Веттори по поводу рукописи «Государя». В январе 1514 года Веттори направил письмо Макиавелли, в котором сообщал, что ему очень понравилась первая глава рукописи. В этот период Макиавелли вместе с семьей находился во Флоренции: была зима, и жить в деревенских условиях Сан-Андреа стало трудно. Здесь он познакомил со своей рукописью друзей. Они его чрезвычайно ободрили. Он снова обращается к Веттори. Однако последний уклоняется от ответа и снова втягивает Макиавелли в переписку легкого, фривольного содержания.

Главное, что характеризует его настроение в этот период, — чувство глубокой подавленности из-за несостоявшихся планов обрести расположение Медичи в результате посвящения ему «Государя». Он отмечает — несколько месяцев спустя — в письме Веттори, что, если бог не будет к нему более благосклонен, он будет вынужден «оставить дом на этих днях и согласиться на работу коннетабльского счетовода или секретаря... или похоронить себя в качестве учителя в каком-нибудь захолуст-

ном местечке и оставить семью здесь — им все равно от меня столько же пользы, как от мертвого...». И дальше добавляет, что пишет это «не для того, чтобы вынудить вас что-то делать для меня, но просто для того, чтобы высказаться и не было бы больше необходимости возвращаться к этой одиозной теме».

В середине года от его надежд вернуться на службу почти ничего не остается. Он пишет в письме к Веттори: «Отказался от мысли о великих и важных вещах... Меня больше не очаровывают ни тени из древнего мира, ни разговоры о современности... Если вы хотите что-либо написать о вашей любви — пишите, а другие дела обсуждайте с теми, кто ценит их больше, понимает их лучше, потому что мне они не приносят ничего, кроме потерь».

Тем не менее Веттори снова подогревает эти надежды. В письме от 3 декабря 1514 года он втягивает Макиавелли в обсуждение вопроса о том, как лучше укрепить доминион папы Льва X. Он спрашивает его, как быть папе — помогать Франции или ее противникам или быть нейтральным, и обещает показать письмо Макиавелли папе, а заодно и главы «Государя». Он выражает надежду, что Макиавелли сумеет дать четкий ответ: «...Хотя вы уже два года вдали от своих канцелярий, я не думаю, что вы забыли это искусство».

Характерно, что Макиавелли живо откликается на это предложение. Еще до получения письма Веттори он направляет ему письмо, помеченное 4 декабря, в котором сетует на свое «мрачное и бесславное существование». «А меня больше всего удручает и раздражает то, — отмечает Макиавелли, — что я вижу, как среди удач, которые сыплются на блестящее семейство Медичи и на наш город, на мою долю остаются только развалины Пергама».

Понятно поэтому, как радостно Макиавелли снова ухватился за соломинку, протянутую ему Веттори. Сразу после получения письма по поводу международной политики папы Льва X он направляет Веттори пространный ответ. Мы отмечаем в письме от 10 декабря повторение мысли, которую он развил раньше о том, что государь, желающий знать, кто из соперников выиграет, должен оценить их ресурсы и моральные качества. На этом основании Макиавелли советует Льву X поддерживать Францию. Через десять дней он отправляет Веттори

следующее письмо, которое представляет собой своеобразное эссе об опасностях нейтралитета. В этот же день он пишет еще одно письмо в ответ на письмо Веттори от 15 декабря, в котором просит его конкретно поставить вопрос о своем возврате к практической работе.

Однако и на этот раз надежды экс-канцлера оказываются тщетными. В письме от 30 декабря Веттори сообщает ему, что он показал письмо папе и кардиналам Бибьено и Медичи (будущий папа Климент VII), что те оценили эти письма очень высоко, однако конкретных предложений сделано не было. Веттори замечает по поводу Медичи, что тот «не из тех людей, которые знают, как помогать своим друзьям». Надо думать, что Макиавелли должно было прийти в голову то же самое соображение по поводу самого Веттори.

И после этого Макиавелли не оставляет своих надежд. В письме от 31 января 1515 года он снова возвращается к обсуждению политических дел. Другая часть этого письма состоит из тем легкого содержания. Макиавелли отмечает эту двойственность в себе как пример разносторонности человеческой натуры.

В письме дается оценка существующего в ту пору проекта сделать Джулиано Медичи главой нового государства, в состав которого войдут Парма, Пьяченца, Модена и Реджо. Макиавелли замечает в этой связи, что очень трудно управлять новым государством, состоящим из провинций, которые не имеют естественных связей. Тем не менее это возможно. Для доказательства он приводит деятельность герцога Валентино, который успешно управлял Романьей через посредство своего заместителя Рамиро де Орко. Макиавелли полагает, что Джулиано Медичи мог бы управлять этим новым государством, если бы выбрал в качестве своего заместителя Паоло Веттори, брата Франческо. Он не может удержаться, чтобы не дать тут же ряд советов, как управлять новым государством. По-видимому, он надеялся при покровительстве Паоло Веттори получить наконец вожделенное назначение.

Однако и эти поползновения были отвергнуты со всей решительностью. Кардинал Медичи, до которого дошли слухи о контактах Паоло Веттори и Макиавелли, сообщил Джулиано Медичи через своего секретаря Ордингелли, что он не имеет ничего общего с Макиавелли.

Это было прямым запрещением прибегать к услугам Макиавелли в какой бы то ни было форме.

Так потерпели полное банкротство надежды и искаательства Макиавелли при дворе Медичи. А вместе с этим на двенадцать лет прекратилась его переписка с Веттори. Для биографа должно быть очевидно, что причиной этого стало крушение надежд Макиавелли использовать этот канал связи для возвращения к активной политической жизни. «Государь» не только не сблизил его с домом Медичи, а, напротив, по-видимому, сыграл отрицательную роль. Это стало первым симптомом отношения сильных мира сего к произведению, написанному как будто бы с исключительной целью оказать им научными средствами помощь в эффективном управлении народами и государствами. Главная карта была бита. Макиавелли понял это, почти смирился и на многие годы сосредоточился на литературной деятельности.

В 1515—1516 годах Макиавелли начинает посещать сады Руччеллаи, названные так по имени владельца поместья, где собирались ученые, поэты, художники. Здесь он впервые читает своим новым друзьям «Рассуждения». Чтобы яснее представить себе его умонастроения этого периода, приведем беглое сравнение его нового труда и «Государя». Первое, что обращает на себя внимание, — различные целевые установки этих произведений.

Мы уже говорили выше, что мотивы написания «Государя» отнюдь не были исключительно творческими. Они были замутнены простыми житейскими и по-своему понятными страстями человека, отрешенного от активной жизни и выброшенного на мель, подобно Робинзону, и после бурного плавания по волнам политического моря оказавшегося на острове — вне общества и вне цивилизации.

В то время как «Государь» в полном соответствии с замыслом посвящен Лоренцо Великолепному, «Рассуждения» посвящаются близким друзьям Макиавелли — Дзаноби Буондельмонти и Козимо Руччеллаи. Если в «Государе» автор недвусмысленно формулирует цель обратить на себя внимание как на человека, могущего быть полезным новой власти, то цели, прокламируемые в посвящении «Рассуждений», прямо противоположны. «Посылаю вам дар, — пишет здесь Макиавелли своим друзьям, — не соответствующий, конечно, всему, чем я вам обязан; но Николай Макиавелли, без сомнения,

не мог принести вам в дар ничего, более для него ценного. В нем я высказал все, что знаю и чему научился долгой практикой и постоянным изучением мирских дел. ...Я отступил от общего обычая писателей, непременно посвящающих свои труды какому-нибудь государю; ослепленные честолюбием и корыстью, они восхваляют его, приписывая ему всевозможные добродетели, тогда как должны бы были порицать его за гнусные пороки» (Р., 117—118).

Не правда ли, впечатление такое, как будто бы автор посвящения «Рассуждений» неприкрыто полемизирует с автором посвящения «Государя»? Он поносит здесь то, чему поклонялся там, и поклоняется здесь тому, что он там отвергает. Он, видите ли, отступает от обычая посвящать труды сильным мира сего. Людей, поступающих таким образом, он полагает ослепленными честолюбием и корыстью. Он, видите ли, возмущен теми, кто восхваляет добродетели государей, вместо того чтобы разоблачать их пороки. Он, видите ли, не ищет должностей, почестей и богатства у властей предержавших, а ищет подлинных ценностей среди равных себе, среди друзей и единомышленников. Не правда ли, какое поразительное перевоплощение? Даже не верится, что то и другое написано одним и тем же человеком. Полное изменение ценностных ориентаций, как сказали бы современные социологи.

Но к чему такая горячность, такой полемический задор? Уж не рассчитывается ли автор с самим собой, со своей совестью, со своим прошлым? Не об этом ли свидетельствуют то озорство и тот вызов, которые содержатся в посвящении «Рассуждений»? Ведь сильные мира сего по-прежнему сильны, так же как сильна затаенная и загнанная вглубь жажда деятельности этого неумного характера... Еще сильнее его бурный темперамент снова толкает его в крайность, на этот раз другого рода. Если в первом случае он неумеренно выставляет напоказ свою жажду поладить с новыми властями, то во втором так же неумеренно отвергает даже самую возможность компромисса с ними.

Все дело в том, что «Государь» не только был отвергнут представителями дома Медичи, папой и другими властителями того времени. Он вызвал самую худую реакцию и в общественном мнении Флоренции, Рима, других княжеств и республик тогдашней Италии.

Биографы Макиавелли обнаружили любопытную деталь. Незадачливый автор «Государя» через несколько лет после написания и распространения этой рукописи лихорадочно ищет ее экземпляры среди читателей, у своих друзей и недругов с целью полного изъятия из обращения, а возможно, и уничтожения. К счастью для потомков, автор не преуспел в этом намерении. До нас дошел «Государь» — произведение исключительное, стоящее особняком среди великих творений эпохи Возрождения не только по своему содержанию, но и по тону, откровенно игнорирующему соображения морали и нравственности, беззастенчиво излагающему одну лишь обнаженную суть дела — как лучше поработителям управлять этими жалкими народами...

В этот период Макиавелли часто видят во Флоренции в обществе известной актрисы Барберы, исполнительницы жанровых песен. Это увлечение создает ему немало хлопот в семье.

Впрочем, читатель может убедиться в этом сам. Приподнимите-ка снова Завесу времени! Повыше, повыше! Вот так...





КАРНАВАЛ

Площадь в Риме подле Ватикана. На авансцене появляется карнавальное шествие. Начинается карнавал. На правой стороне площади кабачок. На огне (это хорошее болгарское слово, которое обозначает «костер») жарится какая-то рогатая снедь. В центре кабачка — столик. Шум карнавала время от времени врывается в разговоры героев, и тогда им приходится повышать голос. Песни, пляски, гульба, питье, стычки, кокетство, любовь и, главное, веселье, веселье, веселье. Все беззаботны, приятны, радостны. Шутовские наряды. Маски. Тащат человека, который случился по дороге, он отбивается. Но его наряжают в мантию короля. Надевают на голову шутовскую шапочку с бубенчиками. Обряд посвящения. Пляска. У многих в руках свечи. Мальчики гасят свечи, восклицая: «Смерть тебе!» Часть толпы уходит.

Голоса из толпы. Барбера!
— Барбера!

Появляется Барбера.

Крики. Барбера!
— Барбера!
— Спой еще раз!
— Ты знаешь какую!

Барбера берет гитару и поет веселую, задорную песню, припев которой подхватывают все участники:

Юность, юность,
ты чудесна,
хоть проходишь
быстро путь.
Счастья хочешь —
счастлив будь,
нынче, завтра —
неизвестно.

После окончания песни и пляски идет к столикам, где уже сидит жена. Та жестом приглашает ее за стол. Барбера садится.

Жена. Я ждала тебя. *(Снимает маску.)* Сними эту заслонку. *(Показывает на маску.)*
Барбера *(снимает маску)*.

Пауза. Тишина.

Нужна ли эта встреча?

Жена. Я долго колебалась... Слишком много накопилось в моей душе...

Барбера *(мягко)*. Не надо... Этим не поможешь себе, ему... Все слишком глубоко и непросто...

Жена. Непросто... Уж куда сложнее... Много лет приходится делить его с тобой и ждать, все время ждать, когда вернется все, как было.

Барбера *(мягко)*. Боюсь, что это невозможно.

Жена. Из-за тебя, мерзавка!

Барбера. Успокойся. Не из-за меня.

Жена. Тогда из-за кого? Уж не из-за меня ли?

Барбера. Возможно... из-за тебя...

Жена. Ты врешь! Многие годы у нас было так хорошо. Потом пришла ты, и все сломалось.

Барбера. Не лги себе. Никогда не было вполне хорошо.

Жена. Чем же я так нехороша?

Барбера. Нет. Почему же нехороша? Ты очень хороша по-своему. Цельная, значительная, верная.

Жена. Так в чем же причина?

Барбера. Как бы тебе сказать?.. Он говорил мне... теперь я понимаю... ты... ты... напряженная.

Жена. Это жизнь сделала меня такой. Она далась мне нелегко. Я не порхаю, подобно тебе!

Барбера. Нет, не жизнь, а природа. Ты родилась такой. (*Неожиданно.*) Ведь ты родилась ночью? Признаться? Верно?

Жена (*после паузы*). Да, я родилась ночью.

Барбера. А я на рассвете.

Жена. Ночь — это жизнь, и, быть может, более важная, чем день. Ночь — это мирно спящие дети. Ночью я чувствовала, как некто живой, радостный, активный стучится в мой огромный, как гора, живот. Ночь — это мои думы о прожитом дне, о заботах на завтра. Ночь — это Никколо, который тяжело ворочается рядом со мной и ищет моей теплой ладони. Да! Я была счастлива только ночью! (*Пауза.*)

Барбера. Я не люблю ночь. После спектакля я сплю плохо, тревожно. Много раз просыпаюсь. И все жду, жду рассвета. День — вот для меня жизнь! Это свет, это воздух, напоенный благоуханиями и красками, это нарядная толпа. Это ласковые и жадные взгляды мужчин. Это скачка на лошади в поле, в лес, на простор, это море — синее-синее, нежное, родное...

Жена. Ты могла видеть день! Я же днем кругом в заботах. А ночью — ночью я любила его, и он любил меня. Он сбрасывал с себя вместе с одеждами свои сомнения и печали и весь был мой, мой, мой!..

Подбегает мальчик и гасит свечу, которую Барбера поставила раньше на стол, с криком: «Смерть тебе!» — убегает.

Карнавал. Блики огнища.

Барбера (*примирительно*). Быть может... мы обе ему нужны?.. Как день и ночь?..

Жена. Нет! Ты ему не нужна! Ты ему мешаешь! Ты ничего не можешь ему дать! Из-за тебя он перестал быть тем, кем хотел быть всю жизнь. Из-за общения с тобой. На тебя он променял свое будущее политического деятеля. Ты раздрызгала его душу! Разрушила

его сознание! Внушила ему, что он великий поэт, мыслитель, что здесь его призвание. И он бросил все и остался ни с чем. Побитый, несчастный неудачник...

Барбера. Так-то ты ему помогаешь...

Жена. Да, я помогаю ему, хотя он не видит этого, не дорожит моей постоянной готовностью сострадать ему. Даже детям я не жаждала так помочь, как его смятенной душе.

Барбера. Да разве это помощь? Пойми ты, на что ему твое сострадание? Женщина должна давать мужчине другое: жизненные силы, веру в себя, легкость, ощущение счастья, успеха. Больше всего успеха.

Жена (*насмешливо*). И это все дала ему ты?..

Барбера. Тебе трудно это понять. Но я открыла ему дорогу в широкий мир творчества.

Жена. Творчество? Это я дала ему свободу для творчества и сносила все его художества. Посмотрела бы я на тебя, если бы ты была его женой. Ну скажи, ты позволяла бы ему все это?..

Барбера (*весело*). Пожалуй, нет. Потому-то ты — жена. А я — Барбера... (*Пауза.*) Не казись... этим ничего не исправишь.

Жена. Да, в этом ты права. Не исправишь... Понимание далось мне нелегко... Но если бы ты знала, как было мучительно вначале, как я готова была биться головой о стену, рвать зубами простыни, на которых мы спали, кусать подушку, его кромсать на части... Ты не знаешь, как близка я была к убийству... Мне мнилось по ночам, когда я ждала... вот он приходит в спальню, оглядывается, потом ложится ко мне, пропахший вином, взъерошенный, усталый или виноватый, с потерянной, как у дворняги, мордой после встречи с тобой. А я лежу, сцепив зубы, крепко смежив веки, и только напряжение рук может выдать меня... Вот он гасит свечу, прислушивается к моему дыханию и наконец засыпает, довольный, что я не проснулась... Тогда я тихонько поворачиваюсь на левый бок, достаю из-под подушки припрятанный нож, бужу его и, глядя ему в глаза, одним движением вонзаю металл в его грудь по самую рукоятку!

Блики огня. Мальчик гасит свечу подле жены.

Барбера. О ужас!

Жена (*передразнивая*). О ужас!

Вторгаются карнавальные шумы и пляски. Барбера берет в руки гитару, перебирает струны и сидя напевает грустную песню.

Барбера. Но скажи мне... Если бы тебя спросили, что ты предпочтешь: чтобы он тебя оставил, ушел к другой или... умер?

Жена. Пусть лучше умрет, чем навлекать такой позор на себя, на всех нас!

Барбера. Я знала, что ты так ответишь! И потому мне тебя не жалко. Ты борешься за себя, только за себя. За то, чтобы он служил тебе, поправил свою душу. Несчастливая, ты даже не знаешь, с каким величием ты живешь рядом.

Жена. Величие? Величие — это нравственная чистота.

Барбера. Ты все еще мечтаешь, чтобы он растворился в тебе, в твоих детях, в маленьком быте, в маленькой карьере.

Жена. А ты, ты все ему даешь... Тебе ничего не жалко, ты любому готова дать... все. Сколько семей ты разрушила... Добро бы воспользовалась, вышла замуж. А то ведь так, надкусываешь яблоко и бросаешь. Ты вздорная. Порча ты, парша, моровая язва. Все порядочные женщины во Флоренции ненавидят тебя.

Барбера. Глупая, чем вздумала меня корить. Тем, что я не выхожу замуж. Как подумаю, что с этим одним мужчиной мне пить и есть каждый день вместе, слышать его храп в постели, просыпаться рядом, сносить его петушиную похвальбу — о, я бегу, бегу без оглядки. А связи?.. Да много ли их у меня было. Игра... Игра жизни...

Жена. Хороша игра. А ты думаешь о тех, кто в проигрыше, кого ты, не спросясь, вовлекла в игру и за кого ты тасуешь карты?

Барбера. Прощай, однако же, пора на карнавал.

Жена. Прощай. Постой! Вот еще хотела у тебя спросить... Когда он приходит от тебя... он требует от меня любви. И бывает таким... каким я знала его в молодости. Что за притча? Вначале я негодовала. Но он своей настойчивостью и нетерпением всегда добивается своего... Ты же знаешь... Но не возьму я в толк, в чем здесь дело?..

Барбера (*встает*). Прощай!
Жена. Прощай, моя красавица, прощай...

Уходит. Карнавальные танцы. Музыка.

Зала в богатом доме в Риме. Обстановка свидетельствует о вкусе хозяина, а также изнеженности его. В ней есть одновременно что-то женское и прочное. За низким столом сидят: хозяин дома Франческо Веттори, Франческо Гвиччардини, Микеланджело, кардинал Медичи (будущий папа Климент VII). На столиках вино, фрукты.

Гвиччардини. Наглость варваров, которые грабят наши города и попирают наши обычаи, становится невыносимой. Я полагаю, что Ватикан мог бы стать центром, объединяющим все итальянские государства в их борьбе с иноземцами.

Кардинал Медичи. Смею вас заверить, что папа с большим вниманием относится к проектам подобного рода.

Микеланджело. Один из проектов был представлен не так давно опальным Никколо Макиавелли. Он состоял в том, чтобы создать национальную милицию, вооружить народ различных провинций, прежде всего Романьи.

Гвиччардини. Я полагаю, что эта идея в принципе приемлема. Она оригинальна и необычна, как все, что порождает этот незаурядный ум. Но Романья, пожалуй, менее других пригодна для подобного эксперимента. Народ в Романье невежественный и ненадежный.

Медичи. Разумеется, вам как губернатору этой провинции легче судить о подлинном положении, чем Никколо из его деревенской глуши.

Веттори. Господа! Не кажется ли вам, что наше застолье приобрело слишком деловой характер, чем должно дружеской трапезе? Позвольте мне отвлечь вас на минутку от раздумий о государственных делах. Вот уже несколько лет мы находимся в переписке с Никколо, главные темы которой — политика и любовь. Я описал ему некий пикантный случай, прося совета — он ведь большой охотник давать советы, — как следует поступить. И вот что пишет Никколо в конце письма. (*Читает.*) «Мне нечего ответить на ваше последнее письмо, кроме пожелания — следуйте любви без удержу — удовольствие, которое вы получите сегодня, вы не отыщете завтра. А если дела у вас таковы, как вы опи-

сываете, то я завидую вам больше, чем королю Англии. Прошу вас, следуйте своей звезде и не забудьте о делах этого мира, потому что я всегда считал, считаю и буду считать справедливыми слова Боккаччо: «Лучше делать и каяться, чем не делать и каяться».

Все смеются.

Медичи. Очень мило. Хотя за его вольное обращение с религиозными текстами неплохо было бы наложить на него епитимью.

Микеланджело. Не будем столь строгими.

Медичи. Вы ведь читали «Мандрагору»? Его шутки более чем непристойны. А что стоят его нападки на святую церковь! Он утверждает, будто именно она сопротивляется объединению Италии! Но ведь церковь — основа нашего духовного единства. Помяните меня, он добьется того, что придется запретить его нечестивые произведения.

Микеланджело. Быть может, Никколо нередко хватает через край в своих суждениях о церкви, но известно, однако, что, когда его попросили написать проповедь на тему о покаянии, которую должны были произнести на собрании религиозного братства, он сделал это легко и без насмешки.

Гвиччардини. Его труды свидетельствуют о его большом таланте.

Медичи. Мне кажется, таланты его преувеличивают. Иначе он вряд ли томился бы в глуши и безвестности.

Гвиччардини. О, судьба человеческая причудлива! вспомните о днях изгнания Данте.

Медичи. И вы рискнете поставить рядом эти два имени?

Микеланджело. Кто может найти мерилу для сравнения свойств ума и таланта? Талант! Великий дар богов, умноженный опытом. Он дан человеку, чтобы жизнь не застывала, как застывает глина в кирпиче, чтобы пенилась она, подобно хорошему вину, которое заботливый хозяин хранит в доброй, любовно оплетенной бутылке. Кто прячет свой талант, подобен скряге, который зарывает лучшее вино в землю.

Медичи. Вы говорите об искусстве?

Микеланджело. Да, в первую очередь об искусстве. Оно более всего соприкасается обнаженные души

творца и зрителя, возбуждает чувства с помощью средств, обращенных на душу человека.

Медичи. Чувств? Когда убийца заносит над тобой кинжал, ты тоже испытываешь большое возбуждение чувств из-за страха смерти. Но этот страх не есть же искусство.

Микеланджело. Искусство есть возбуждение чувств, достигаемых путем имитации природы, подражания тому, что создано природой, — изображением на холсте, на камне, на бумаге, на дереве, созданием игровых ситуаций на сцене или за столом.

Гвиччардини. Политический трактат — тоже искусство, если он отражает природу. «Государь» Макиавелли — это правда о государстве, о нашем времени. Потому это так сильно и так страшно. Он как бы говорит словами Петрарки: нет выше свободы, чем свобода суждения, и, признавая ее за другими, я требую ее и для себя!

Веттори. «Государь» — произведение искусства? Так ли? Тогда чем ты отличишь искусство от опытного знания?

Гвиччардини. Ну, быть может, лишь формой, стилем, манерой письма. Но не результатом — не характером вызываемых эмоций. Есть же смешанные формы — ораторское искусство, политическое искусство, религиозное. Иные проповеди превосходят силой воздействия стихи поэтов. Талант во всем велик. Нужно ценить этот дар, которым природа награждает лишь своих избранных.

Веттори. А что ты скажешь о тех, кто не отмечен им?

Медичи. Тем хуже для них.

Микеланджело. Я полагаю, что все или почти все люди могут довести до совершенства, до предела какую-то одну свою способность — заколачивать гвозди или ходить по канату. Но взамен надо отдать всю жизнь, без самого малого остатка.

Никто желанной воли не найдет
До той поры, пока не подойдет
К пределам жизни и искусства*.

* Стихи Микеланджело.

Веттори. Это скорее навык, опыт, а не искусство.

Гвиччардини. Талант и опыт — что выше? Свойство врожденное или приобретенное? Но наш друг Никколо совмещает в себе и то и другое. Не могу понять, отчего бы Медичи не использовать человека таких редких дарований?

Медичи. Уж очень он склонен всех наставлять, советовать. Он думал вертеть Медичи так же, как вертел Содерини. Ему импонирует роль черного кардинала, который определяет политику, оставаясь в тени. Но он про считался.

Гвиччардини. Он предложил программу деятельности новой власти на пользу Флоренции.

Медичи. Новая власть сама знает, что ей делать, и нуждается только в исполнителях. Однако, синьоры, уже поздно. Пора дать хозяину покой, да и нам всем отдохнуть. Прощайте! (*Уходит.*)

Гвиччардини (*после паузы*). Нельзя сказать, что мы сослужили большую службу нашему другу Никколо.

Веттори. А чего бы ты желал?

Гвиччардини. Да, пожалуй, более активного заступничества за него. Медичи близок к папе, да и к нынешнему правителю Флоренции и мог бы похлопотать перед ним о возвращении Никколо к активной деятельности.

Веттори. Это невозможно. Его слишком не любят.

Гвиччардини. За что же, как ты полагаешь?

Веттори. Да за все! Сторонники Пьеро Содерини — за его насмешки над сбежавшим гонфалоньером. Последователи Савонаролы — за его нападки на церковь. Медичи — за наглые поучения. Друзья — за невоздержанный язык. Женщины — за непостоянство...

Гвиччардини. Ты-то сам как к нему относишься?

Веттори. Откровенно? Он часто раздражает меня, хотя я вполне отдаю себе отчет, что это человек незаурядный и как личность, может быть, даже выше меня.

Микеланджело. Возможно, это и есть причина?

Веттори. Не думаю. Я ему не завидую. Да и чему завидовать? Подумай сам. Он находится в самом жалком положении.

Микеланджело. Можно завидовать не положению, а превосходству духа...

Веттори. Нет, не в этом дело. Есть что-то плейбейское в его активности, в его невоздержанности,

в стремлении выставить напоказ самого себя со всеми своими потрохами. И даже не это. В конце концов, таланту можно простить многое. Меня раздражает в нем другое. Это его извечное стремление есть из всех кормушек сразу. Он, видишь ли, и государственный муж, и мыслитель, и поэт, и незаурядный любовник, и невесть что еще такое!

Гвиччардини. Но ты же сам знаешь, что он действительно разнообразно одаренная натура.

Веттори. Разнообразная, но поверхностная. Его ум отличает способность быстро схватывать проблему, остро ставить ее. Но когда он начинает отвечать, то тут постоянно впадает в противоречие.

Гвиччардини. Ответы? Кто знает ответы? Нам дано лишь приближаться к истине и видеть отдельные фрагменты здания вселенной, которое возведено не нами и которое нам не дано ни познать, ни даже охватить взглядом!

Микеланджело. Обманчивые надежды и тщеславные желания мешают нам узреть истину. И сам я, увя, бреду не зная куда. И мне страшно. И если я не ошибаюсь — о, дай бог, чтоб я ошибался, — вижу, ясно вижу, что мне уготована вечная кара, ожидающая тех, кто совершил зло, зная, в чем добро.

Веттори. Ты говоришь о себе, ты вправе так говорить, ты велик, ты художник. А он — он даже не очень-то образован. В отличие от нас он не знает греческого, и, хотя он несколько раз был во Франции, он знает всего несколько слов по-французски.

Гвиччардини. О, если бы все определялось этим! Знание и талант — это вода и огонь. Вода может быть широкой и даже могучей, но она никогда не дает пламени, а при встрече с ним гасит его.

Веттори. Ну, уж от тебя я не ожидал услышать такие речи. Ты же наш эрудит, обширными знаниями которого может гордиться вся культурная Италия.

Гвиччардини. Потому я и могу судить об этом предмете со знанием дела.

Веттори. Но если он так одарен, наш Никколо, то почему он не преуспел?

Микеланджело. По натуре это реформатор, новатор, жаждущий творчества, воплощения своих идей. Вот эта жажда и губила его как слугителя.

Есть истины в реченьях старины,
И вот одна: кто может, тот не хочет*.

Гвиччардини. Ему присуща величайшая сила — это память о чести. А кто помнит о ней, не боится опасностей и никогда не сделает подлости. Признаемся хотя бы самим себе: будь мы в положении Никколо, он отнесся бы к нам с несравненно большим вниманием. В своих дружеских чувствах он был так же широк и искренен, как и в политике и в любви.

Веттори. Так ли? Ох, сомневаюсь. Что ты скажешь о его отношении к Содерини — его покровителю и другу? Ты слышал эпиграмму, которую написал Никколо на смерть Содерини?

Пьер Содерини умер, в гущу ада
Его душа попала в ту же ночь,
Но тут Плутон вмешался: «Дура, прочь!
Тебе не в ад, в его преддверье надо!»

Гвиччардини. Да, это легкомысленно и непристойно.

Микеланджело. Нельзя судить его так строго. Все эти правители для него не более чем фигуры на шахматной доске. Он служит высшим целям — независимости Флоренции, объединению Италии, восстановлению величия, которое было присуще нам в древности. А политические фигуры — лишь средства для него.

Веттори. Но идеи живут не сами по себе. Они живут в людях и в отношениях между людьми. Ну а что вы скажете об этом стремлении постоянно выставлять себя напоказ со всеми своими тайными страстями и заблуждениями, как будто это кто-нибудь оценит? Ты, Гвиччардини, не кричишь же на всех перекрестках о своих республиканских убеждениях, находясь на службе у папы, а я не сообщаю на заседаниях капитула о своем пристрастии к мальчикам.

Входит Барбера.

Веттори. О, Барбера! Мы очень рады твоему приходу.

Гвиччардини и Микеланджело кланяются.

* Стихи Микеланджело.

Барбера. Здравствуйте, господа. Я приехала в Рим по поводу постановки «Мандрагоры», а нынче уезжаю обратно во Флоренцию. Я пришла справиться, нет ли у вас каких-либо новостей для нашего друга.

Веттори. Увы, ничего существенного. Правда, мне удалось исходатайствовать разрешение на постановку «Мандрагоры».

Барбера. Я знаю об этом. Я виделась с кардиналом Медичи, который обещал мне помочь в этом деле.

Веттори. Я хотел бы сообщить тебе о некоторых пикантных подробностях моих переговоров с Римом о постановке. Они требуют исключить ряд мест, где затронута церковь... Остайся на время с нами.

Гвиччардини. Ну мне пора... Прощайте, Барбера! И ты прощай, Веттори!

Микеланджело. Прощайте, синьорита!

Уходят.

Барбера. Надо еще что-то предпринять — не знаю что.

Веттори. Ну, подождем до завтра. Я надеюсь, Гвиччардини и Микеланджело сумеют повлиять на папу. Да и я со своими скромными силами попробую.

Барбера (встает). Мне пора...

Веттори (со значением). Надеюсь, ты останешься...

Барбера. Что-о?

Веттори. Я говорю — останься со мной...

Барбера. Ты шутишь.

Веттори. Шучу? О нет! Ты всегда мне нравилась, а сегодня тебе так идет возбуждение...

Барбера. И мне это предлагаешь ты? Ты, друг Никколо?

Веттори. Завтра я сделаю, что смогу. Я обещал тебе. А сейчас ночь. И мы с тобой здесь вдвоем, Барбера...

Барбера. О! О!

Веттори. Я полагаю, ты не ханжа и не станешь делать из этого события...

Барбера. Да, я не ханжа. Но я готова переспать скорее с бродяжкой на сеновале, чем с тобой — другом Николло! Так предать его!

Веттори. Предать? Какие странные слова ты произносишь. Где здесь предательство? Разве я пося-

гаю на твою любовь к Никколо? Любовь — это область души. А я ищу совсем другого... *(Пытается обнять ее.)*

Барбера. Беспутный! *(Увертывается.)*

Веттори. Беспутный? Опомнись! Взгляни на себя, как ты хороша! А я? Чем я плох? Зачем же нам маяться сегодня в одиноких постелях, когда можно доставить друг другу тихую радость без особых хлопот... *(Еще раз пытается обнять ее.)*

Барбера. О негодяй! *(Дает ему пощечину.)* Теперь прощай, медуза! *(Уходит.)*

Веттори *(держась за щеку)*. У... подстилка театральная!.. Но почему, собственно, медуза?.. *(Уходит.)*





РАССУЖДЕНИЯ



Арузья Макиавелли — Гвиччардини, Микеланджело и Веттори (он тоже может быть причислен к числу друзей — в обыденном смысле этого слова) — уже начали разговор о творчестве и политической позиции нашего героя. Продолжим этот разговор. Предметом главного нашего внимания будут «Государь», «Рассуждения», а отчасти и «История Флоренции». Что касается остальных работ флорентийца, то мы коснемся их позже. Начнем прежде всего с политических Максим Ма-

киавелли, которые так потрясли воображение его современников и потомков.

В «Государе» Макиавелли рисует модель абсолютного монарха, который с помощью всех средств — жестокости и обмана, демагогии и справедливости, хитрости и прямоты — обеспечивает сохранение, укрепление и расширение своей власти. Эта работа, будучи напечатана и распространена в ограниченном, правда, количестве экземпляров, вызвала негодование у правящих лиц Флоренции. Одни обвинили автора в неслыханном цинизме, с которым даются советы государю, другие — в скрытом стремлении разоблачить характер установившегося режима.

Вот они, эти **Максимы, правила поведения государственных людей, которые так взволновали современников и еще сильнее потомков:**

«Государь не должен бояться осуждения за те пороки, без которых невозможно сохранение за собой верховной власти, так как, изучив подробно разные обстоятельства, легко понять, что существуют добродетели, обладание которыми ведет только к гибели лицо, обладающее ими, и есть пороки, усвоив которые Государь могут только достигнуть безопасности и благополучия» (Г., 66).

...«Государь не должен быть великодушно щедрым в такой степени, чтобы эта щедрость приносила ему ущерб» (Г., 67).

«Следовательно, Государь, когда дело идет о верности и единстве их подданных, не должны бояться прослыть жестокими. Прибегая в отдельных случаях к жестокостям, Государь поступают милосерднее, нежели тогда, когда от избытка снисходительности допускают развиваться беспорядкам, ведущим к грабежу и насилию, потому что беспорядки составляют бедствие целого общества, а казни поражают только отдельных лиц» (Г., 69).

«...Что для Государя лучше — внушать ли страх или любовь? Что для него полезнее, чтобы его любили, или чтобы его боялись?»

Я нахожу, что желательно было бы, чтобы Государь достигали одновременно и того и другого, но так как осуществить это трудно и Государям обыкновенно приходится выбирать, то ввиду личной их выгоды замечу, что полезнее держать подданных в страхе...

Заставляя бояться себя, Государя должны, однако, стараться не возбудить против себя ненависти. Внушать страх, не возбуждая ненависти, для них очень выгодно; достигнуть же этого весьма нетрудно, если только Государь не будет нарушать имущественных и личных прав своих подданных и не будет посягать на их честь и на честь их жен и дочерей. Если Государям бывает необходимо казнить кого-либо из подданных смертью, они должны решаться на это только в случае значительной важности и очевидности преступления, так чтобы казнь оправдывалась неизбежною необходимостью. Еще важнее для них не посягать на имущественные права подданных, потому что люди обыкновенно скорее прощают и забывают даже смерть своих родителей, нежели потерю состояния» (Г., 70—71).

«Предусмотрительный Государь не должен, следовательно, исполнять своих обещаний и обязательств, если такое исполнение будет для него вредно и все мотивы, вынудившие его обещание, устранены. Конечно, если бы все люди были честны, — подобный совет можно было бы счесть за безнравственный, но так как люди обыкновенно не отличаются честностью и подданные относительно Государей не особенно заботятся о выполнении своих обещаний, то и Государям относительно их не для чего быть особенно щепетильными» (Г., 74).

«Презирают только тех Государей, которые выказываются нерешительными, непоследовательными, малодушными и легкомысленными» (Г., 77).

«...Заслужить ненависть за добрые действия так же легко, как и за дурные, и что из этого следует, как я уже говорил выше, что Государям, желающим удержать за собою власть, весьма часто необходимо быть порочными» (Г., 82).

«Вообще, должно заметить, что при управлении людьми их необходимо или ласкать, или угнетать; мстят люди обыкновенно только за легкие обиды и оскорбления, сильный же гнет лишает их возможности мести: поэтому если уж приходится подданных угнетать, то делать это следует таким образом, чтобы отнимать от них всякую возможность отомщения» (Г., 10—11).

«Все необходимые жестокости должны быть произведены зараз, для того чтобы они были перенесены с меньшим раздражением; благодеяния же должно де-

лать мало-помалу, для того чтобы подданные имели больше времени для их благодарной оценки» (Г., 40).

«Существуют два способа действия для достижения целей: путь закона и путь насилия; первый способ — способ человеческий, второй — способ диких животных; но так как первый способ не всегда удается, то люди прибегают иногда и ко второму. Государи должны уметь пользоваться обоими способами. Эта мысль выражена аллегорически у многих древних писателей: Ахиллес и многие другие Правители и герои древности воспитывались, по их словам, у центавра Хирона, наблюдавшего за их действиями. Мысль этого мифа ясна: учитель — получеловек и полуживотное показывает, что Государи должны развивать в себе как человеческую, так и животную сторону, без чего власть их не может быть прочна» (Г., 73).

И мало кто обратил внимание на заключительную главу «Государя», представляющую собой «Воззвание о необходимости освобождения Италии от варваров». Между тем в политической литературе всех времен трудно найти более страстный, более взволнованный и яркий призыв к национальному единству, чем этот. Мы не можем отказать себе в удовольствии привести значительный отрывок из этого Воззвания.

«...Если... для проявления доблести Моисея необходимо было народу Израильскому томиться в египетском рабстве, если для проявления величия души Кира было нужно, чтобы Персы были угнетены Мидянами, если, наконец, для блеска достоинства Тезея нужны были междоусобия между Афинянами, — то точно так же и в наше время, для того, чтобы среди нас появился мощный Освободитель, было необходимо, чтобы Италия дошла до такого жалкого состояния, в котором мы ее теперь видим, чтобы она была... более порабощенною, чем Персы под игом Мидян, более разделенной междоусобиями, чем земли Афинян, без вождей, без всяких прав, измученною, разрозненною, наводненною варварами и отягощенною всякого рода бедствиями.

...Без отдыха, без остановки, Италия молит небо, чтобы оно послало ей, наконец, этого Освободителя, который избавил бы ее от жестокостей и наглости варваров. Она готова встать и идти под всякое знамя, которое развернут во имя ее свободы.

Но на кого может она положиться с большей уверенностью, как не на Ваш знаменитый род, который по своим наследственным добродетелям, по своему счастью, по благодати, полученной от Бога и Церкви, вполне обладает возможностью предпринять и достигнуть чуда ее освобождения?.. На это дело Вас зовет голос целого народа, а при таком единодушии — успех не заставит себя ждать; надобно только, чтобы Вы последовали примеру тех героев, которые я изобразил Вам как достойных образцов для подражания...

Не станем же упускать представляющегося нам в настоящее время случая. Пусть Италия после столь продолжительного ожидания увидит, наконец, своего Освободителя! Нет силы изобразить, с какою любовью, с какою жаждой мщения, с какою несокрушимою верностью, с каким почетом и радостными слезами будет он принят каждою из провинций, столько выстрадавших от нашествия иноплемённых. Чьи двери не отворятся перед ним? В какой местности население откажется ему повиноваться? Чье честолюбие станет противодействовать его успехам? Какой Итальянец не окружит его всевозможным почтением? Найдется ли хоть один Итальянец, сердце которого не трепетало бы при одной мысли о господстве варваров над Италией?» (Г., 109—113).

Макиавелли завершает всю книгу прекрасными словами Петрарки: «Добродетель восстанет против злобы и быстро ее победит, потому что древняя доблесть еще не умерла в итальянском сердце» (Г., 113).

Некоторые биографы Макиавелли высказывают предположение, что эта глава была написана им после завершения книги о государе. Не будем вдаваться в детали, которые говорят в пользу или против этого предположения. Заметим только, что с точки зрения содержательного анализа книги такое завершение является абсолютно логичным. Этот аккорд придает звучание всей симфонии, которая в противном случае выглядела бы чудовищным диссонансом не только во всей политической литературе Возрождения, но и во всем творчестве и практической деятельности самого Макиавелли.

Его жестокие Максимы, адресованные государю, могут быть понятны, объяснены только при свете мощного прожектора этого патриотического Воззвания. Если

исключить величественную цель, то перед нами просто ловкий политический пройдоха, который стремится втереться в доверие власти Медичи, завоевать ее расположение и служить ей любыми средствами и в любых целях. Это было бы слишком пошло для человека, который отстаивал идеалы республики до последнего момента ее существования, который посвятил все свое последующее литературное творчество защите интересов народа.

Нет, только величие идеи национального освобождения могло увлечь темпераментного и страстного мыслителя до такой степени, что он предлагал самые чудовищные средства для достижения этой цели. Человек незаурядной души, он позволял себе мыслить незаурядно, масштабами всего итальянского народа, расколотого на десяток государств и страдающего от раздоров и междоусобиц.

Минуют годы, Макиавелли поймет всю тщетность своих надежд на Медичи, на папу Льва X, на других владетельных особ того времени. И все равно мысль о возможности достижения единства всей Италии с помощью великого Освободителя не покинет его до конца дней. Он будет возвращаться к ней снова и снова, рассматривая с разных сторон, разочаровываясь и снова увлекаясь ею, отвергая и снова принимая ее...

Уже современники Никколо были шокированы и даже скандализованы фактом странным и чудовищным: «Государь» и «Рассуждения» писались, в сущности, в одну и ту же пору, оба труда принадлежат перу одного и того же мыслителя, и тем не менее они имеют прямо противоположную направленность. Читая «Государя», вы приходите к выводу, что автор отстаивает монархический принцип в его самом худшем издании — тиранию. Читая «Рассуждения», вы с такой же определенностью убеждаетесь, что их автор безусловно и бескомпромиссно стоит на почве республики в ее самой демократической форме.

Но так ли это? Не поступим ли мы опрометчиво, если ограничимся констатацией этого факта?

Да, конечно, идеалы, декларируемые в «Государе» и его «Рассуждениях», различны, в чем-то даже противоположны. Но следует ли отсюда автоматически, что различны и противоположны основные политические ценности, выдвигаемые в этих работах? Следует ли от-

сюда расхождение методологических предпосылок, лежащих в их основе? Иными словами, следует ли отсюда противостояние содержания, хода размышлений и основных идей «Государя» и «Рассуждений» — вот в чем вопрос.

Первое, что приходит в голову, — это что в одном из двух случаев Макиавелли сознательно отступил от своих взглядов.

Можно предположить, что создание «Государя» есть поступок, и поступок неблаговидный. Иными словами, исходить из того, что Макиавелли, будучи в душе республиканцем, совершил исполненный лицемерия шаг и прославил тираническую власть, имея в виду личные выгоды. Такое подозрение высказывалось многими современниками Никколо и сильно скомпрометировало его в глазах общественности во Флоренции и при римском дворе. Вот оно где, обоснование его двоеручия, а если уж говорить без снисхождения — двоедушия, — не к этому ли сводится недосказанная мысль его близкого друга Франческо Веттори?

Но давайте-ка поглубже проникнем в интересующий нас сюжет. Научный посев, как и любой, впрочем, другой, не может дать обильных всходов на почве, которая едва взрыхлена. Давайте сравним содержание «Государя» и «Рассуждений», с тем чтобы попытаться яснее представить себе подлинные взгляды флорентийского секретаря, а также объяснить те многочисленные, разнообразные и противоречивые толкования, которые они получили уже при его жизни, но в особенности после его кончины.

Рассмотрим труды флорентийца в единой системе, установим их связь между собой, а также с личностью и всем творчеством Макиавелли и, наконец, с эпохой, в которой он жил и творил. Расчленим его труды по таким параметрам: методология исследования; идеалы и политические ценности; общество и государство; природа человека; модель лидерства и др. Тогда нам будет яснее — остается ли Макиавелли верен самому себе. Представляют ли его воззрения некое единство или они начинены противоречиями и распадаются на отдельные куски, подобно островкам в русле реки?

Итак, мы оставляем на время в стороне исполненное драматизма противопоставление ценностных ориента-

ций автора «Государя» и «Рассуждений». Мы говорим «исполненное драматизма» потому, что речь идет не об эволюции взглядов человека, который на протяжении какого-то периода времени пересматривает свои прежние идеаль, а о взглядах, выказанных, в сущности, в одно и то же время.

Для начала давайте сопоставим методологический подход «Государя» и «Рассуждений». Мы очень легко убеждаемся, что он один и тот же. Макиавелли рассматривает опыт, или, как он это называет, «случаи», рассуждает по этому поводу, всесторонне взвешивает на весах целесообразность, эффективность тех или иных действий и выводит некое поучение (правило).

Он описывает почерпнутые из истории примеры, сопоставляет их с собственными наблюдениями над своей эпохой, на этой основе выводит некие законы политической жизни и дает практические советы властвующим лицам. Этот прием оказался чрезвычайно удачным с точки зрения замысла автора — протянуть прямую ниточку от практического опыта к теории и от теории снова к политической практике своего времени. Благодаря такому подходу политическая сфера, включавшая в себя самые актуальные события, едва ли не впервые так откровенно и обнаженно становилась полем научного анализа. Благодаря этому подходу политические отношения становились самостоятельным объектом исследования, выделенным из религиозно-схоластических, нравственных, социально-экономических и иных сфер жизни.

Макиавелли прекрасно чувствовал необходимость и рискованность такого способа рассмотрения политических проблем. Совсем не случайно, что во вводной части к «Государю» Макиавелли оправдывает свой методологический принцип, не гнушаясь открытой лестью и явным искажением истины. «Быть может, Вы сочтете за дерзость, что человек такого низкого звания рискнул рассуждать о предметах столь возвышенных... так я должен Вам сказать, что для того, чтобы хорошо понять и оценить народ, надобно быть государем, а чтобы знать государей, надобно принадлежать к народу».

Этим же продиктованы и его слова во введении к «Рассуждениям» о том, как трудно бывает открывателям великих истин. То был, несомненно, опасный ход мыслей, но и чрезвычайно плодотворный, который при-

открыл завесу над тщательно скрываемой областью жизни общества. Если мы называем революцией в искусстве то, что Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и Тициан восстановили традиции изображения красоты обнаженного человеческого тела, то не меньшей революцией было Макиавеллиево обнажение девственных, а нередко весьма порочных тайн политической власти.

Взгляните, пожалуйста, только на заголовки глав в «Государе» и «Рассуждениях» — они однотипны. В «Государе» — «Сколько видов бывает верховная власть и каким образом она водворяется»; «О новых монархиях, приобретаемых с чужой помощью и вследствие счастья»; «О жестокости и милосердии, или что лучше — пользоваться любовью или возбуждать страх»; в «Рассуждениях» — «Какие бывают республики и какого рода была республика римская»; «Кому надежнее поручить охранение свободы — народу или аристократии»; «Чтобы сохранить восстановленную свободу, необходимо убивать сыновей Брута» и т. п.

В чем смысл такого подхода, в чем замысел автора? Главная задача, которую он ставил, или, как сказал бы Станиславский, сверхзадача, — сформулировать нормы политического поведения на основе опыта своей эпохи, а также древнего времени. Мы подчеркиваем — именно сформулировать, а не создать эти нормы. Хотя он постоянно склонен всех поучать — государей, пап, правителей республик, кондотьеров, военачальников, — но делает он это не от себя, а ссылаясь на имеющийся опыт, на примеры, на знакомые образцы, эталоны поведения. Многократно, нарочито, иногда с раздражением, иногда с иронией он повторяет, что пишет не как должно быть, а как есть, что он чужд мечтаниям своих предшественников и следует лишь одной действительности, что он описывает не нравственные каноны, а живую жизнь.

Этот принцип, впрочем, не был личным изобретением Макиавелли. Напомним прекрасные строки, написанные по этому поводу его великим предшественником и современником Леонардо да Винчи: «Хотя бы я и умел хорошо, как они, ссылаться на авторов, гораздо более великая и достойная вещь — при чтении авторов ссылаться на опыт — наставника их наставников. Они расхаживают, чванные и напыщенные, разряженные и раз-

украшенные не своими, а чужими трудами, не изобретатели, а трубачи и пересказчики чужих произведений».

«Многие писатели изображали государства и республики такими, какими им никогда не удавалось встречать их в действительности. К чему же служили такие изображения? Между тем, как живут люди, и тем, как должны они жить, — расстояние необъятное; кто для изучения того, что должно бы быть, пренебрежет изучением того, что есть в действительности, тем самым вместо сохранения себя приведет себя к гибели: человек, желающий в наши дни быть во всех отношениях честным и чистым, неизбежно должен погибнуть в среде громадного бесчестного большинства» (Г., 64—65).

Итак, первый вывод, который мы делаем, сопоставляя «Государя» и «Рассуждения», можно было сформулировать так: несмотря на отмеченную противоположность ценностных ориентаций, авторская роль и функция в них, по существу, одна и та же.

Другая особенность его подхода, целиком вытекающая, впрочем, из названной выше, заключалась в том, что он рассматривал опыт как нечто живое и конкретное. Политическая жизнь для него — это прежде всего люди, группы людей, народы, правители и их взаимоотношения по поводу власти. Он поставил в центр своего внимания политического человека, открытого, впрочем, еще Аристотелем. Этот человек, на каких ступенях иерархической лестницы он ни стоял бы, наделен страстями, разумом, волей, интересами, потребностями. Он живой, деятельный, он подвержен влияниям и сам старается влиять. Он играет роль на этой весьма своеобразной сцене, где выигрыши и проигрыши нередко измеряются чьими-то жизнями.

Если бы Макиавелли остановился только на этой мысли, едва ли его относили бы к числу оригинальнейших мыслителей эпохи Возрождения.

Уже древние историки и философы рассматривали политический процесс под углом зрения живой человеческой деятельности и столкновения страстей. Отец истории Геродот 25 столетий назад дал образец труда, где войны и политические конфликты рассматриваются как столкновения живых участников политического действия, главным образом царей, вождей, военачальников и других выдающихся личностей. Эта традиция прочно

вошла в методологию истории у Плутарха, Тита Ливия и других историков древнего мира. Но Макиавелли не просто позаимствовал такой взгляд, он значительно продвинулся вперед в социологическом анализе политических отношений.

Это относится главным образом к пониманию самого человека. Макиавелли дает не только психологическую, но и социально-политическую характеристику личности как участника политического процесса. Человек в политике для него это совсем не одно и то же, что человек в семье или в ремесленном цеху, в купеческой конторе или на поле боя. Он вовлечен в другую игру, с другими правилами. Он вынужден действовать по этим правилам и вести себя в соответствии с ними. Отсюда следуют и иные нормы поведения, и иные требования к личности. Ее нельзя судить по законам религиозной или житейской морали, которые попросту не действуют в этой сфере отношений.

В соответствии с традицией мыслителей и историков древнего мира Макиавелли особенно интересуется личностью политического вождя — государя, правителя. Но в отличие от своих древних учителей он не сводит все дело к их деятельности. Его внимание привлекал политический человек на всех ступенях общественной лестницы, как активный и пассивный участник политического процесса, как субъект и объект воздействия. Глубокое своеобразие мысли Макиавелли состояло в поисках изначальной природы человека во все времена у всех народов, независимо от того места, которое он занимает в обществе.

Герой или представитель толпы, великий военачальник или простой солдат, папа римский или кондотьер, Цезарь Борджа, казненный Рамиро де Орко — все они прежде всего люди, наделенные сходными человеческими страстями. Мысль эта кажется простой, как вода. Но как трудно пробираться через нагромождения иллюзий и предрассудков, сортирующих личность по множеству критериев: богатого или бедняка, аристократа или простолюдина, царя или нищего, эллина или варвара, флорентийца или неаполитанца, француза или испанца.

Макиавелли был поистине велик в своем наивном прозрении, когда он заявил: любой человек во все времена наделен одними и теми же страстями, желаниями,

потребностями, волей. Давайте начнем с этой базальной мысли. Будем считать ее аксиомой, а затем начнем углублять свое представление о разности в обществе, о человеческой массе, о группах, о народе и, наконец, о всем обществе. Эта аксиома стала исходным пунктом для всей его философской истории. Только человек, полагал он, представляет собой константу, что позволяет выводить общие законы политической жизни, характерные для всех времен и народов. Все другие элементы политического процесса чрезвычайно подвижны у Макиавелли, как мы это увидим дальше.

Вот одно из самых замечательных рассуждений Макиавелли на этот счет: изучая события наших дней и прошедших времен, мы находим, что во всех государствах и у всех народов существуют одни и те же стремления и страсти... Однако во все времена повторяются те же бедствия и смуты, потому что историческими соображениями пренебрегают. Читающие историю не умеют делать из нее выводов, или выводы эти остаются неизвестными правителям...

Здесь выражена главная мысль политической философии Макиавелли, которая проходит в неизменном виде через все его работы: «Государь», «Рассуждения», «История Флоренции» и даже чисто литературные произведения, такие, как «Мандрагора» и др. «Умные люди не случайно и не без основания имеют привычку говорить, что, чтобы знать, что должно случиться, достаточно проследить, что было, потому что все происшествя мира имеют всегда соответствующие отношения с теми, которые уже прошли. Это происходит оттого, что все человеческие дела делаются людьми, которые имели и всегда будут иметь одни и те же страсти, и поэтому они неизбежно должны давать одинаковые результаты» (Р., 492—493).

Так выглядит этот важнейший постулат, сформулированный в «Рассуждениях». Но ту же идею мы находим и в «Государе», где на протяжении ряда глав идет описание страстей человека, скорее дурных, чем хороших, которыми должен уметь пользоваться умный правитель, играя на них как музыкант, в полной мере владеющий своим инструментом.

«Люди, говоря вообще, неблагодарны, непостоянны, лживы, боязливы и алчны... Любовь обыкновенно держится на весьма тонкой основе благодарности, и люди,

вообще злые, пользуются первым предложением, чтобы в видах личного интереса изменить ей...» (Г., 70—71). Так говорится в «Государе».

А вот что говорится в «Рассуждениях»: «...как доказывают все, рассуждавшие о гражданском быте, и как свидетельствуют примеры всей истории, утвердителю и законодателю республики необходимо предполагать всех людей злыми и всегда склонными обнаруживать свою испорченность, как скоро к тому представится удобный случай» (Р., 131). «Людьми управляют два могущественных двигателя: любовь или страх, и тот, кого боятся, может управлять так же легко, как и тот, кто любим» (Р., 436).

Эти примеры легко можно было бы умножить.

Итак, природа человека, которая проявляется в его страстях, неизменна. Отсюда следуют и общие законы политической истории, и общие законы властвования и управления людьми. Конечно, от этой мысли очень далеко до понимания роли различных социальных групп в политической жизни. Кроме того, остается неясным почему, собственно, люди дурны и порочны?

Впрочем, Макиавелли мог бы сослаться на время, в которое жил и которое оставляло мало места для иных суждений о человеческой природе. Он мог бы призвать в поддержку своего пессимизма горестные слова Петрарки, исторгнутые из самой глубины души:

«...Время, в которое я жил, было мне всегда так не по душе, что, если бы не препятствовала тому моя привязанность к любимым мною, я всегда желал бы быть рожденным в любой другой век и, чтобы забыть этот, постоянно старался жить душою в иных веках».

Но, верный своей методике, Макиавелли не слишком интересуется этим вопросом, хотя и касается его. Он больше склонен констатировать факты, и этого с него довольно. Макиавелли еще неведома обостренная чувствительность к этой проблеме, которая была обнаружена в произведениях французских просветителей Вольтера, Дидро и в особенности Руссо. По мнению Руссо, именно общественная система делает человека порочным, и в особенности дурные законы и тираническая власть. Отсюда следовал революционный вывод о том, что следует коренным образом изменить политическое и социальное устройство, и тогда человек станет добродетельным, обнаружив свои лучшие свойства.

Этот вывод, как, впрочем, и многие другие относительные истины эпохи буржуазной революционности, был опровергнут впоследствии практическим опытом, когда на смену абсолютизму пришла буржуазная республика. Жажда господства, собственности, алчность, зависть и другие низменные человеческие страсти, с таким мастерством обнаруженные Макиавелли, отнюдь не исчезли, поскольку не исчезла частная собственность и эксплуатация человека. Странно сказать, но прозорливый флорентиец оказался трезвее женеvского мудреца, по крайней мере, в своих пессимистических концептах природы человека.

Макиавелли, как, впрочем, и Руссо, наблюдал общество, в котором невозможно было вырваться за предел порочного круга политических отношений, где у честного человека не было достойного выбора: либо ты угнетатель, либо ты угнетенный, третьего не дано; либо ты захватываешь чужие территории, поработышаешь чужие народы, рушишь другие государства, либо это делают с тобой, с твоим государством, с твоим народом. Понадобилась целая историческая эпоха, а точнее, не одна, а несколько эпох, чтобы политическая деятельность и политическая власть перестали быть синонимами безнравственности и обрели высокое общественное предназначение.

Претендуя на открытие неких вечных законов политической жизни, Макиавелли, однако, не игнорирует целиком исследование причин дурных человеческих склонностей и поступков. Связанная с этим мысль его течет в двух направлениях. Дурные человеческие страсти, с одной стороны, объясняются биологической природой этого существа, едва вышедшего из животного состояния. Другая причина относится уже к человеку как общественному животному и объясняется свойствами государства. Тираническая власть, по Макиавелли, стимулирует худшие из человеческих страстей: жажду господства, взаимную ненависть правителей и угнетенных, неизменную зависть мелких тиранов к более крупным, склонность к заговорам, смутам, беспорядкам, интригам и другим подобным действиям.

Здесь мы подошли к следующему пункту политической философии Макиавелли. Начав с рассуждений о природе человека, он делает шаг вперед в направлении анализа природы целых социальных групп и политиче-

ских структур. Он рассматривает их наподобие живых организмов, в свою очередь, наделенных свойствами, страстями и волей. Поэтому-то он склонен давать социально-политические характеристики не только человеку, будь то правитель или подданный, но и таким социальным группам, как аристократы, дворяне, плебеи, народ, и даже таким структурам, как государство, общество. Было бы неверно утверждать, что он переносит биологические законы жизни человека на характеристику всей общественной жизни в целом. Но несомненно, что ему не чуждо приписывать живые черты социально-политическим организациям.

«...Обыкновенно в каждом государстве существуют два разнообразных направления: народ стремится к тому, чтобы не быть теснимым знатными гражданами и уменьшить их власть, аристократия же стремится захватить ее как можно крепче и усилить угнетение народа; результатом двух этих различных стремлений обыкновенно бывает то, что в государстве преобладает или верховная власть, или свобода, или анархия» (Г., 41). «В каждой республике всегда бывает два противоположных направления, одно к пользе народа, другое к выгодам высших классов...» (Р., 132). «...Рассматривая в этом отношении дворянство и престолярное, мы убеждаемся, что первые одержимы желанием господствовать, тогда как вторые хотят только не быть угнетенными...» (Р., 134).

Упоминание класса не должно вводить нас в заблуждение. Макиавелли было, конечно, чуждо не только современное представление о классах, но даже то, которое было заявлено в трудах французских историков периода буржуазной революции. Социальные слои и группы он делит главным образом по признаку богатства и участия в политической власти.

Правитель, дворянство, народ — эти три основных компонента политической власти располагают различными правами и играют в зависимости от этого различную роль на политической арене. Все они активны (хотя и неодинаково), как участники процесса политической жизни, и каждый из них обнаруживает свои страсти, стремления, волю, направленные в первую очередь на расширение своей доли участия во власти или на высвобождение от господства. Государи жаждут усиления своей власти над подданными, расширения своих за-

воеваний; аристократы стремятся усилить свое господство над народом и, если возможно, укрепиться и за счет государя; народ хочет главным образом высвобождения от чрезмерных уз власти.

Сейчас мы подошли еще к одному чрезвычайно существенному пункту политической философии Макиавелли, к которому мы хотели бы особо привлечь внимание читателя. Признавая неизменность природы человека, Макиавелли в то же время отмечает изменчивость природы больших социальных общностей. Масса, толпа, народ, аристократия, общество отнюдь не константы. Напротив, они меняются под влиянием исторических обстоятельств, и прежде всего под влиянием политической жизни. Раз изменившись, они сами создают условия своего политического существования; образуется некая цепь зависимости и взаимодействия между обществом и формами политической власти.

Отдавая предпочтение народному образу правления в «Рассуждениях», Макиавелли в то же время, как ни один другой политический писатель, далек от каких-нибудь сусальных иллюзий по поводу народа. Он рассматривает его так же конкретно и нелюбезно, как любого другого участника процесса политической жизни. Прежде всего Макиавелли различает народ и толпу, массу. Социально-психологические свойства толпы и массы вызывают у него отрицательные характеристики. «Нет ничего страшнее взволнованной массы без вождя; но нет также ничего слабее ее, хотя бы она была вооружена» (Р., 252).

Но и народ для Макиавелли не есть категория с постоянным набором присущих ему качеств. Народ в процессе своего развития так же подвержен влиянию исторических обстоятельств, условий общественной и политической жизни, как и аристократия и государь. Нет, пожалуй, это не совсем точно. Он подвержен действию этих обстоятельств в меньшей степени, чем государь или аристократия. В этом его преимущество. Однако он все же подвержен порче. В этой связи Макиавелли выдвигает одну из интересных своих характеристик: «развращенный народ» и «развращенное общество».

Он утверждает, что народ, который долго и смиренно терпел господство тиранической власти или иностранное иго, — это развращенный народ, это народ, утратив-

ший драгоценный дар богов — свободолюбие, независимость, смелость, самоотверженность; патриотизм, честность. В его среде выросли такие качества, как покорность, лицемерие, холуйство, страсть к подкупам, готовность служить любым господам, малодушие. Это приговор тому типу власти, который был построен на эксплуатации и угнетении; но развращенность распространяется не только на тех, кто правит, но и на тех, кем правят. Не с этим ли связано извечное противоречие между прогрессивной мыслью и отстающим массовым сознанием? Не будем гадать. Просто признаем, что Макиавелли было присуще своеобразное видение процесса политической жизни, основанное на историческом и даже в зачаточной форме социологическом подходе.

Итак, для Макиавелли народ не был абстрактным символом веры. Народ для него такой же живой организм, который так же подвержен страстям, хорошим и дурным, подвержен социальным болезням, так же способен на подъем, расцвет и падение, как и живой человек. Он любит народ и ставит его выше и государя, и тем более аристократии. Но он отнюдь не рассматривает его как вместилище одних только достоинств.

Макиавелли пишет о свободном народе и развращенном народе, о свободном обществе и развращенном обществе. Его советы всегда конкретны, и, прежде чем их дать, он нелицеприятно исследует характер, потребности всех составных частей политического процесса, не делая исключений ни для кого, в том числе и для народа.

«Множество примеров, представляемых древними историками, доказывает, как трудно народу, привыкшему жить под монархической властью, сохранять потом свободу, если он даже и приобрел ее по какому-нибудь случаю, как приобрел ее Рим по изгнании Тарквиниев. Трудность эта понятна, ибо подобный народ не что иное, как грубое животное, которое хотя свирепо и дико, но вскормлено в тюрьме и в рабстве. Если его вдруг выпускают на свободу в поле, то оно, не умея найти ни пастбища, ни пристанища, становится добычей первого, кто вздумает снова овладеть им... Окончательно развращенный народ не только не может просуществовать сколько-нибудь времени свободно, но не может даже и освободиться...» (Р., 167).

Какой же выход видит Макиавелли из этого безнадежного состояния? Выход он видит в революционных преобразованиях, которые осуществляются великим решительным человеком, дающим новые законы, содействующие исправлению нравов народа. Однако надежда на это не так уж велика, ибо «редко найдется честный человек, который захотел бы овладеть властью бесчестными средствами, хотя бы и с благою целью; еще реже, чтобы негодяй, достигнув верховной власти, захотел поступить хорошо и чтобы ему вздумалось добродетельно употребить власть, гнусно приобретенную» (Р., 176).

Отсюда Макиавелли делает пессимистический вывод о том, как трудно, почти невозможно сохранить и учредить свободу в развращенном обществе. В таком обществе, хочешь или не хочешь, но целесообразнее установить монархию, которая по крайней мере способна обуздывать необузданность развращенных людей.

Диалектический ход размышлений Макиавелли поистине достигает здесь своих вершин, не правда ли? Он окидывает взглядом различные элементы, участвующие в политическом процессе, — народ и аристократию, правительство и общество, обычаи и законы, революционные действия и реакционные традиции. Пожалуй, единственный элемент, который ему чужд в этих, как, впрочем, и во многих других, его рассуждениях, — это культура, просветительство, улучшение нравов посредством распространения новых ценностей и норм жизни, новых образцов поведения, человека и целых социальных групп и классов.

Конечно, мы могли бы много критического сказать по адресу этих рассуждений.

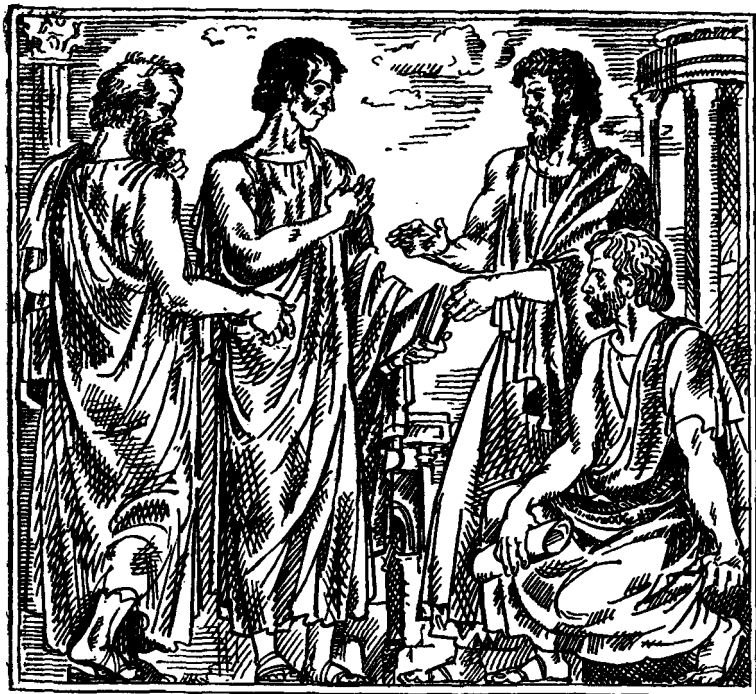
Мысль Макиавелли очень далека от конкретного анализа составных элементов народа, входящих в него социальных групп с их несовпадающими интересами, политическими и нравственными идеалами. Он фактически проходит мимо основной проблемы — проблемы социального неравенства, частной собственности как источника всех несправедливых и порочных форм власти. Ему чуждо и понимание того, что человеком человека делает справедливая, подлинно человеческая общественная система.

Но не будем забывать, что Макиавелли жил и писал почти половину тысячелетия тому назад — за два столетия до первой буржуазной революции... И более

400 лет отделяло его от социалистической революции, от того времени, когда политика из инструмента борьбы за личную власть, за господство своекорыстной элиты превратилась в орудие борьбы за высокие общественные цели — социальное равенство людей, национальную свободу, освобождение каждого человека от гнета и эксплуатации, мирные, дружественные отношения между народами и государствами.

Но не будем забегать вперед. Мы еще не закончили своего повествования о Макиавеллиевых рассуждениях и страстях.





РАССУЖДЕНИЯ...

Иерархия политических ценностей как основных критериев для суждения о государстве — вот ключ к пониманию политической доктрины флорентийца. В работах Макиавелли можно обнаружить большой спектр тех ценностей, которым он так или иначе придавал значение. Он пишет о выгодах граждан, об интересах государства, правителя, каждого в отдельности гражданина, народа, общества, аристократии; о единстве общества, государства, нации; о безопасности

государства, общества и подданных; о свободе и законности; о наиболее целесообразных формах правления в условиях республики и монархии; об устойчивости государства и эффективности его деятельности и т. п.

На первое место флорентиец поставил понятие выгоды или интереса. При этом он разграничивал более или менее четко выгоды и интересы общества, личности и, наконец, что особенно важно для понимания его взглядов, выделил государственный интерес. Фашиствующая идеология (в частности, Муссолини) считала главной заслугой Макиавелли абсолютизацию государственного интереса, подчиняющего целиком интересы личности и общества.

Однако тщательный анализ работ Макиавелли показывает ложность такого толкования. Макиавелли действительно принадлежит заслуга выделения самостоятельной категории выгоды и интересов власти как таковой, независимо от выгоды и интересов общества, но вовсе не в том смысле, как это впоследствии пытались изобразить фашисты: у него нет и речи о полном поглощении интересов общества интересами государства, о тотальном, слепом подчинении всех граждан политической власти.

Само же по себе разграничение интересов государства и общества имело прогрессивный смысл. Оно давало инструмент подлинно научного анализа целей, задач и функций государства в том или ином его виде. Одновременно оно давало орудие критики такого режима власти, который ориентируется исключительно на собственный интерес и игнорирует какие бы то ни было цели, лежащие за пределами интересов укрепления самой власти. Сам Макиавелли постоянно пользуется этим инструментом для анализа политических структур и политической деятельности современных ему государств, а также государств древнего мира.

В то же время нельзя не заметить значительного расхождения подходов к этой проблеме в «Государе» и «Рассуждениях». Давая советы государю, Макиавелли, естественно, апеллирует прежде всего к его собственным интересам. Он пишет о том, что «каждый Государь для своего блага должен стараться прослыть милосердным, а не жестоким»; «О верности и единстве подданных государю» (Г., 69); «О необходимости укрепления учреждений, обуславливающих независимость и без-

опасность короля» (Г., 79); «О хорошо направленной жестокости... для укрепления своей власти» (Г., 39); «О личной славе правителя» и т. д.

Но даже в этой своей работе вопреки утверждению Муссолини великий флорентиец не сводит все к государственному интересу. Напротив, он постоянно указывает на то, что умный правитель должен оберегать интересы и права своих подданных.

В «Государе» мы находим интересное рассуждение о том, что правители должны покровительствовать доблести и талантам своих подданных, поощрять искусство, побуждать подданных к мирному производству всего полезного для страны как в торговле, так и в земледелии; награждать всякое полезное изобретение и усовершенствование всех тех, кто каким-либо образом содействует увеличению богатств и величия страны; должны учитывать интересы всяких групп и корпораций, «показываться порою на их сходках и проявлять на них черты великодушия и гуманности» (Г., 98).

В знаменитом «Воззвании о необходимости освобождения Италии от варваров» Макиавелли выражает страстную надежду на то, что в Италии созрело время для того, чтобы храбрый и мудрый правитель нашел способ и средства для обновления страны «в пользу личной своей славы и счастья всего ее народонаселения» (Г., 109), ставя в один ряд, как мы видим, интересы государства и народа. Даже формулируя свои Максимы, Макиавелли подчеркивает, что государь сможет избежать ненависти, если «не будет нарушать имущественных и личных прав своих подданных и не будет посягать на их честь и на честь их жен и дочерей» (Г., 71).

Но если народный интерес звучал лишь как один из мотивов в «Государе», то в «Рассуждениях» мы слышим целую симфонию в защиту безусловного превосходства интересов народа и общества над интересами государства в любой его форме — монархической и республиканской. Более того, выгода и интересы народа становятся главной целью благоустроенного государства, главным критерием для оценки его устойчивости, демократизма, целесообразности.

«Величие государств основывается не на частной выгоде, а на общем благосостоянии. Между тем общая польза без сомнения соблюдается только в республиках...» (Р., 271). «В благоустроенном государстве обще-

ство должно быть богато, но отдельные граждане бедны...» (Р., 210). «Люди больше дорожат богатством, чем почетом. Римская аристократия всегда без особенного сопротивления уступала народу почести; но когда дело коснулось имущества, она стала защищать его так упорно, что народу для удовлетворения своего желания пришлось прибегать к чрезвычайным мерам» (Р., 212). «Государственный порядок хорош только тогда, когда предоставлен попечению большинства и когда охранение его вверено большинству» (Р., 149).

В «Рассуждениях» Макиавелли подвергает самой острой критике тираническую власть прежде всего за то, что она противостоит общественным интересам: «...Иное дело монархия, где обыкновенно все, что государь делает в свою пользу, оскорбляет интересы общества, а что делает для общества, то невыгодно ему лично. Таким образом, когда вместо свободы водворяется тирания, самое малое зло, которое государство терпит от этого, состоит в том, что оно не может больше идти вперед, усиливаться и обогащаться. Большею частью или, вернее, всегда оно не только не идет вперед, но даже падает» (Р., 271).

Это высказывание, как, впрочем, и целый ряд других в «Рассуждениях», прекрасно обнаруживает тираноборческие настроения Макиавелли, который отвергает даже целесообразность завоеваний и территориальных приобретений этой власти с точки зрения интересов народа. Флорентийский секретарь видит в этих завоеваниях пользу только для самих правителей вопреки мнению, которое господствовало в ту пору повсеместно.

Последовательное развитие мысли о превосходстве общественных интересов над государственными приводит Макиавелли к следующему выводу: «Самое худшее рабство налагается гнетом государства: во-первых, оно всего прочнее и всего меньше допускает надежды на избавление; во-вторых, государство всегда старается обессилить и подорвать всякую деятельность общества, чтобы самому возвыситься» (Р., 275).

Одной этой мысли было бы достаточно, чтобы причислить Макиавелли к числу крупных мыслителей эпохи Возрождения. Подобному четкому противопоставлению общества и государства (разумеется, Макиавелли исследует опыт лишь эксплуататорского общества) могут позавидовать многие современные буржуазные уче-

ные, которые не видят глубинных противоречий, разделяющих политическую власть и угнетенные классы в капиталистических странах.

Государство противостоит обществу — и это написал тот самый человек, который прослыл в общественном мнении на многие века апологетом государственной власти в самых ее жестоких формах!

Примечательны мысли Макиавелли и о соотношении интересов различных слоев, составляющих общество. Мы уже говорили, что он не знал и, разумеется, не мог знать понятия классов в современном смысле слова. Но он хорошо представлял себе социальное расслоение современного ему общества по признаку богатства и привилегий. Ему, как выходцу из мелкобуржуазных слоев общества, как убежденному стороннику республиканских учреждений, была свойственна глубокая антипатия к дворянству, нередко переходившая в открытую ненависть. Поэтому, как только возникала проблема выбора между интересами народа и аристократии, голос Макиавелли звучал однозначно в пользу народа.

Даже в «Государе», который трактует исключительно тему монархической власти, мы не найдем ни одного слова, выражающего симпатии к дворянству. В «Рассуждениях» эта тема заявлена с поразительной силой: «Чтобы объяснить, кого я разумею под именем дворян, замечу, что дворянами называются люди, праздно живущие обильными доходами со своих владений, не имея нужды заниматься земледелием или вообще трудиться, чтобы жить. Люди эти вредны во всякой республике и во всякой стране...» И дальше: «...для основания республики в стране, где дворянство многочисленно, необходимо совершенно истребить его», — говорит Макиавелли (Р., 248, 249).

Итак, интересы народа и благо его — вот первая и, пожалуй, наиболее высокая ценность в системе взглядов Макиавелли. Следующая по значению политическая ценность для флорентийского секретаря — единство народа, общества, государства, а затем и общенациональное единство.

В «Государе», который завершается, как мы помним, мощным аккордом в пользу преодоления раздробленности и объединения Италии, национальное единство, пожалуй, выдвигается на место ценности № 1. К тому же и само толкование монархической власти вольно

ия невольно вынуждает автора заботиться в первую очередь о единстве подданных и их правителя.

В отличие от этого в «Рассуждениях» мы видим безусловный приоритет народного блага перед национальным единством. Не случайно призыв к национальному единению Италии звучит здесь куда более приглушенно, это не более чем сетование по поводу разобщенности, а никак не установка на единство любой ценой. Кроме понятного разочарования в своих надеждах на освободительную деятельность государя типа Цезаря Борджа, Макиавелли, трактуя проблему республики, не мог не поставить на первое место свободу и благосостояние человека.

При всем том проблема единства — и Макиавелли это прекрасно понимает и подчеркивает — занимает одно из первостепенных мест в любом государстве. Она важна с точки зрения внутренней устойчивости государства и его защиты от внешних врагов.

Именно с этих позиций Макиавелли критикует роль церкви в Италии. Критика церковной власти и нравов папского двора не была чем-то необычным в то время. Мы помним о гневных филиппиках Савонаролы против римской церкви. Мы слышали уничтожающие строки Петрарки о нравах церковников.

А вот свидетельство одного из самых ярых и непримиримых борцов против средневекового мракобесия, Ульриха фон Гуттена: «Тремя вещами подчиняет себе Рим все: насилием, хитростью и лицемерием... Три вещи изобретены, чтобы выжимать золото из чужих стран: торговля индульгенциями, несуществующая война с турками и власть папских легатов... Три вещи запрещено вывозить из Рима: мощи святых (подлинность которых сомнительна), большие камни (которые трудно увезти) и благочестие (которого там нет совершенно)».

Но у немногих писателей Возрождения критика церкви не достигала такой глубины, как у Макиавелли. Главное обвинение, которое он бросает официальной церкви, носит политический характер. Он возлагает на нее всю полноту ответственности за раздробленность Италии, за распад итальянского государства, в ней он видит основное препятствие на пути к итальянскому единству.

«...Мы, итальянцы, обязаны прежде всего нашей церкви и нашему духовенству тем, что потеряли рели-

гию и развратились; но мы обязаны им еще и худшим — тем, что сделалось причиной нашей гибели. Церковь держала и держит нашу страну в несогласии. Действительно, ни одна страна никогда не бывала согласна и благополучна, если не соединялась вся под властью одной республики или одной монархии, как Франция или Испания. Причиной же, почему Италия не достигла того же, не имеет общей республиканской или монархической власти, должна считаться только церковь. ...Церковь не имела силы овладеть Италией и в то же время не позволяла этого другим, — что и было причиной, почему Италия не могла соединиться под одной властью, а всегда разделялась между множеством князей и владетелей, вследствие чего и подвергалась таким раздорам и была так обессилена, что готова была сделаться добычей не только могущественных варваров, но первого нападающего. Всем этим мы, итальянцы, обязаны никому другому, как церкви» (Р., 159—160).

К этим мыслям Макиавелли возвращался неоднократно. В отличие от Лютера и Кальвина, выступивших за реформацию римско-католической церкви, Макиавелли позволил себе посягнуть на самые основы церковной власти и религии. В христианской религии его интересуют главным образом политические и социальные ценности. Макиавелли отдает предпочтение языческой религии, воспитывавшей смелость, доблесть, решительность, независимость, которые являются условием укрепления мощи и процветания общества.

Проблема единства поставлена им во главу угла и тогда, когда он обсуждает различные формы политического устройства. Он осуждает правителей, которые ради укрепления своей власти насаждают раздоры в обществе, противопоставляют одни социальные группировки другим. «Вообще система введения в государстве раздора показывает слабость Государей; еще в мирное время она годна, облегчая управление страной, но зато, едва возникнет война, и подобная система приводит Государей к гибели» (Г., 90).

При первом столкновении с внешним неприятелем государство, в котором господствует раздор, погибает. Причину этого Макиавелли видит в том, что партия, которая находилась в оппозиции, обыкновенно предается врагам и с их помощью добивается победы над партией, находящейся у власти.

Вообще говоря, проблема политических ценностей для Макиавелли не была абстрактной, моральной или идеологической проблемой. Она целиком вытекала из природы данного общества и данной власти. Каждый политический строй, по его мнению, имеет свое предназначение, а стало быть, свою систему ценностей.

Единство внутри государства его интересовало в особенности в связи с проблемой безопасности перед лицом внешних врагов. Для Флоренции и других итальянских республик, небольших по своей территории и составу населения, постоянно конкурировавших друг с другом, это, конечно, была одна из самых острых проблем. Естественно, что Макиавелли относил безопасность к числу первостепенных политических ценностей.

В «Государе» и «Рассуждениях» он не раз советует, когда государство стоит перед выбором — национальная безопасность или сохранение республиканской власти, жертвовать последней и предпочитать первое.

Свобода, несомненно, стоит у Макиавелли в ряду основных ценностей социально-политической жизни. И как раз на этом оселке в особенности наглядно просматривается то, что мы называли бы функциональным отношением его к основным политическим ценностям. Он рассматривает понятие «свобода» чрезвычайно конкретно: чья свобода, в чем свобода, как используется свобода?

Свобода — благо, это несомненно, это элементарно, но сказать так — значит в общем-то сказать банальность. Макиавелли же препарирует все общественные отношения, исследует психологию всех общественных групп, и властителей и подвластных, интересуется, для чего нужна им свобода, как они распоряжаются ею, к каким это приводит результатам.

Свобода государя угнетать народ — это тоже свобода. Но хороша ли она для него, выгодна ли она для государства, укрепляет ли она власть, безопасность, отвечает ли она интересам общества? Свобода государя в отношении аристократии, с одной стороны, и народа, с другой, — это тоже свобода. Но кому она полезна? Самой аристократии, государю, государству, обществу? Свобода плебеев в Риме — это тоже свобода. Но как они готовы были ею распорядиться? Для разрушения мощи государственной власти, для произвола? Для разграбления государственного имущества? Для унижения

людей доблестных, заслуживающих любви и восхищения? Или для сохранения силы государства, народного благосостояния, устойчивости общества?

В такой конкретной постановке проблемы можно видеть предтечу классового анализа категории свободы: свобода от чего? Свобода для кого? Естественно, что верный себе Макиавелли приходит к выводу, что в условиях монархии свобода народа должна быть максимально ограничена, а в условиях республики ограничена минимально. Представление об абсолютной свободе ему и в голову не могло прийти: слишком прочно он стоял на почве политической реальности, слишком глубоко запали в его сознание представления о свободе произвола ожесточенной массы при Савонароле, обманутого народа при Содерини, своекорыстной аристократии в Тоскане, Ломбардии и других княжествах. Наконец, для бесчисленного множества государей, князей и римских пап свобода означала возможность чудовищных злоупотреблений властью.

В «Государе» Макиавелли в особенности интересуют две проблемы: до каких пределов можно доводить ограничение свободы, не ставя под угрозу самосохранение власти? И вторая, неразрывно связанная с первой, — как далеко может позволить себе заходить тиран в отношении народа и общества, иными словами, где граница его собственной свободы?

Посвятив целую главу тому, как государи должны избегать ненависти и презрения (Г., гл. XIX), Макиавелли устанавливает границы их произвола следующим образом: «...Государь должен избегать всего, что может на него навлечь ненависть и презрение. Если ему последнее удастся, он может спокойно действовать как хочет, нисколько не заботясь о том, что о нем думают и говорят. А так как ненависть заслуживают преимущественно те Государи, которые, как я уже сказал, прибегают к грабительству и нарушают имущественные права своих подданных или покушаются на честь их жен и дочерей, то Государям, чтобы не заслужить ненависти, надобно воздерживаться только от этого» (Г., 76—77).

Человек может смириться с утратой политической свободы, чести, власти, но он никогда не смиряется с утратой имущества. Эту мысль Макиавелли повторяет многократно. Народ молчит, когда казнят врагов мо-

нархии. Народ молчит, когда государь расправляется со своими сановниками. Народ молчит и тогда, когда отнимают жизнь у отдельных его представителей. Но народ восстает, когда посягают на его имущество. С этим нужно считаться любой власти, какой бы мощью она ни располагала. Напомним, что речь идет о народе в средневековой республике (ророю) — это по преимуществу торгово-ремесленные слои общества.

Ну а каков предел возможной свободы действий общества и народа в отношении монархической власти? Или он совсем бесправен и безгласен и служит только объектом угнетения? Тупым, покорным, послушным? Нет. Это не так. Проницательнейший Макиавелли не преминул зафиксировать свое мнение и по этому поводу. Во-первых, как бы ни был безгласен и жалок по своему положению народ, именно он — судья государя. Правителю безразлично мнение народа и при жизни его, и после смерти. Правитель жаждет не только власти, но и славы. А слава его в руках народа.

Посмотрите только, на что нацелены его Максимы? Разве только на укрепление власти государя? Нет, на власть и добрую славу. Он пишет главу за главой как раз об этом предмете: «О тех качествах, за которые людей, а особенно государей, хвалят или порицают» (гл. XV); «О щедрости и скупости» (гл. XVI); «О жестокости и милосердии, или что лучше — пользоваться любовью или возбуждать страх» (гл. XVII); «Каким образом Государь должен исполнять свое слово» (гл. XVIII); «О том, что государи должны избегать ненависти и презрения» (гл. XIX) и т. д. и т. п.

Именно в этом смысле государь и находится в руках своих подданных — современников и потомков. И Макиавелли, ум которого не смущался никакими условностями, учит, как обманом, хитростью, ловкостью, смелостью, храбростью, жестокостью, мягкостью, умом не только добиваться власти, укреплять и сохранять ее, но и обеспечить себе добрую славу в народе. Добрую не в смысле доброты. Ее проявлять как раз скорее вредно, чем полезно. Добрую в смысле признания величия власти. Цезарь в этом смысле имел большую славу, чем Брут.

Такова социально-психологическая граница власти народа над государем. Но есть и другая — политическая граница. Она состоит в том, что народ располага-

ет большей мощью, чем самый могущественный государь. Народ, жаждущий свободы, достаточно смелый и достаточно храбрый, чтобы бороться за нее, народ, способный объединить свои силы, такой народ в состоянии свергнуть любую тираническую власть. Это надобно знать государям, и с этим они должны считаться. Дальше, каждый из них в зависимости от своего характера и обстоятельств делает то, что он полагает наиболее целесообразным: подкупает народ, обманывает, развращает, разъединяет. Но при всех делах он не должен доводить его до крайности, ибо есть предел его терпению, а сила в конечном счете в его руках. Иными словами, произвол государя имеет свои пределы, и их не перейдешь, — наставляет Макиавелли.

Вернемся, однако, к той настойчивости, с какой Макиавелли выпячивает право собственности. То было знамение времени. В период феодальной раздробленности народы устали от вакханалии всех этих постоянно сменявших друг друга вооруженных грабителей. Приходили ли чужие войска или свои войска, крестьяне и горожане едва ли не одинаково страдали от грабежей и насилий. Но имелись социальные слои, которые стояли на более высоких ступенях лестницы, не чувствуя всей ее шаткости. Взаимная борьба и беспорядок создавали психологическую предпосылку для перехода к абсолютной власти и тирании как к единственному спасению от безудержного и не контролируемого ничем произвола мелких тиранов и властителей.

Но государство не просто должно воздержаться от посягательств в отношении имущества своих подданных. Оно берет обязательство охранять это имущество и свободу и от других посягательств. Размышляя над этой проблемой, Макиавелли ставит ее и как социолог, и как политический мыслитель. Как политического мыслителя его интересует вопрос, где лучше гарантирована свобода — в условиях монархии или республики. Как социолог он остро формулирует вопрос о том, какая социальная группа — народ, аристократия или сам монарх — лучше способна защитить свободу и распорядиться ею.

Обратимся к социальному анализу, который прodeлывает Макиавелли. Одна из глав в «Рассуждениях» специально посвящена вопросу, кому надежнее поручить хранение свободы — народу или аристократии

(гл. V). В этой связи мы сталкиваемся с одним из наиболее замечательных рассуждений великого флорентийца. Для обыденного сознания было бы вполне достаточно, если бы он ответил: конечно, народу, поскольку это вполне отвечало не только его личным ориентациям, но позволяло снискать расположение масс. Но для великого ума этого мало. Он добросовестно и скрупулезно анализирует достоинства и недостатки народа, аристократии, государей, условия, в которых происходит дело, и только после этого позволяет себе сделать вывод.

«В каждой республике есть знать и простонародье, и многие сомневались, кто из них сумеет лучше охранить свободу. В древности лакедемоняне, а в наше время венецианцы вручили ее дворянству; но римляне верили ее простому народу» (Р., 134). Дальше Макиавелли рассуждает о том, которая из республик сделала лучший выбор. На первый взгляд приходится отдать предпочтение дворянству, потому что в Венеции свобода была долговечнее, чем в Риме. Но опыт Рима наталкивает на мысль, что лучше доверить охрану свободы тому, кто менее алчен и менее помышляет о ее захвате. Сопоставляя дворянство и простонародье, он видит, что первое одержимо желанием господствовать, тогда как вторые готовы довольствоваться только тем, чтобы не быть угнетенными. И дальше он подробно разбирает положительные результаты аристократической республики и ее слабости, а также демократической республики, как мы сказали бы сейчас.

«Надо сознаться, что, разбирая все эти доводы, мы остаемся в недоумении, кому лучше вручить охранение свободы, не зная, кто вреднее для республики, те ли, кто желает приобрести то, чего не имеет, или те, кто хочет удержать за собой уже приобретенные преимущества» (Р., 135).

Стремление к научной добросовестности Макиавелли здесь особенно заметно. Вспомним его неистовую ненависть к дворянству и аристократии, которую он выражал во многих других местах своей книги. Но, разбирая вопрос под углом зрения свободы, он как бы отрешается от этих своих чувств и считается только с фактами, которые ему подсказывают не теория и не ценностные ориентации, а его практический опыт.

С характерной для него широтой мышления он приходит в этом случае к такому заключению: «...Дело из-

меняется, смотря по тому, идет ли речь о республике, желающей достичь владычества, подобно Риму, или имеющей в виду только свое собственное сохранение. В первом случае необходимо подражать во всем Риму; во втором — можно следовать примеру Венеции и Спарты...» (Р., 135). Республика, желающая вести завоевательные войны, не может строиться по последовательно демократическому принципу, поскольку степень ее единства будет меньше, чем в аристократической республике. Она не сможет в случае необходимости прибегнуть к диктаторскому режиму для концентрации всей своей силы в целях завоевания. Она не будет действовать наиболее одаренной, смелой и активной элите, из среды которой выходят выдающиеся военачальники и политики, способные возглавить войска и государство в чрезвычайных условиях войны.

Теперь, когда мы познакомились с основными политическими ценностями, которыми дорожил флорентийский секретарь, мы подошли к тому вопросу, который, как мы увидим дальше, так взволновал многих исследователей Макиавелли: кем он был — сторонником монархии или республики? И почему с такой беззастенчивой решимостью он давал тирану советы, как лучше угнетать народ (в «Государе»), и с не меньшей решимостью давал народу советы, как изгонять тиранов и уничтожать аристократию (в «Рассуждениях»)?

Конечно, можно и должно в условиях существования двух противостоящих друг другу партий спрашивать у любого человека: ты за кого? За Людовика XVI или за революционный Конвент? За федерацию свободных американских штатов или за сохранение унии с Англией? И т. д.

Но ведь Макиавелли вовсе не стоял перед этим выбором. Перед его глазами проходила вереница постоянно сменяющихся политических режимов во Флоренции и других итальянских княжествах и республиках. Его знакомство с политическими системами Франции, Германии, которые он мог наблюдать непосредственно, а также Испании, постоянно тревожившей итальянские государства своими претензиями и домогательствами, неизбежно наводило на мысль о первостепенной важности проблемы национально-государственного единства. Именно эта проблема выдвигалась повсеместно на первый план, заслоняя собой вопросы о форме правле-

ния, о государственном устройстве, о методах осуществления власти. Конечно, все эти проблемы вызывали самое пристальное его внимание, но как только возникал более общий вопрос — о судьбах всей Италии, — флорентийский сепаратизм уступал место итальянскому патриотизму.

Да и независимо от этого вопрос о формах правления не являлся главным для Макиавелли, претендовавшего на открытие общих законов власти, действующих в монархических и республиканских государствах. Целесообразность тех или иных форм Макиавелли связывал с назревшими социальными и политическими задачами общества и целями, которые себе ставят великие преобразователи в области политической жизни. Для мыслителя, целиком ориентирующегося на анализ практического опыта и насмехающегося над пустыми идиллическими мечтаниями, не имеющими опоры в жизни, было нелепо ставить перед собой цель создать некую идеальную модель государства, пригодную при любых исторических обстоятельствах.

Напротив, его гибкая и хитроумная мудрость была направлена на то, чтобы установить зависимости между характером общества, условиями его функционирования внутри себя и отношениями с внешней средой, его целями и задачами, с формами политической власти и управления.

Поэтому вопрос должен быть поставлен иначе: какие формы государства Макиавелли считал предпочтительными в конкретных условиях современной ему Флоренции и Италии? Именно так: Флоренции и Италии. Причем для него это была совершенно различная постановка проблемы.

Одно дело город Флоренция, с его аристократией богатства, с его двухсотлетними республиканскими традициями, особым положением дома Медичи и ряда других аристократических семейств, с его проблемой Пизы и перманентным конфликтом с Венецией, Римом и другими княжествами и республиками Италии, с его постоянными страхами перед экспансией французов и испанцев, с его вакханалией внутрипартийной борьбы, с религиозностью и нонконформизмом его населения, с его свободомыслием и высоким уровнем умственной и художественной жизни.

Совсем другое дело вся Италия — это лоскутное одеяло, разодранные на части куски некогда великой империи — Италия, способная стать жертвой любого иноземного нашествия, с ее городами и провинциями, одновременно жаждущими сохранения автономии и избавления от неудобств междоусобной борьбы, Италия с ее былым величием, с ее религиозной властью над западным миром и с ее жалкой политической ролью в Европе.

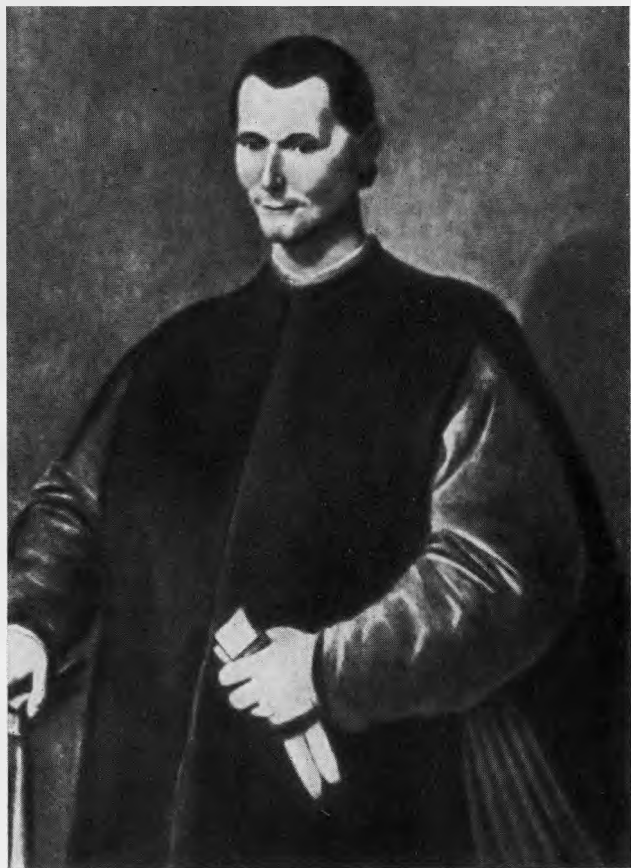
Никто, как Макиавелли, не ощущал всей противоречивости, всего пестрого многообразия современной ему жизни и всей невероятной сложности решений, способных двинуть вперед его родную Флоренцию и так болезненно любимую Италию.

Никто, как Макиавелли, в его эпоху не понимал относительной ценности любого решения, любого учреждения, любой формы правления. Гибкий ум флорентийца позволял ему видеть в самых хороших формах и учреждениях зародыши дурных, а в самых дурных — находить какие-то положительные стороны.

«Если взглядеться получше, — рассуждает Макиавелли, — то так бывает во всех человеческих делах: никогда нельзя устранить одно неудобство, чтобы из этого не возникло другое. Так, если хочешь сделать народ многочисленным, сильным и способным достигнуть великой власти, то придется придать ему такие свойства, что потом нельзя будет управлять им по желанию. С другой стороны, если оставить его малочисленным и бессильным, чтобы иметь возможность управлять им, то он никогда не сохранит приобретенного владычества и делается столь ничтожным, что станет добычей первого врага. Поэтому во всех наших решениях надо искать, на какой стороне меньше неудобств, и выбирать ту, где их меньше, потому что совершенно безупречной, не подлежащей никакому сомнению, не найдешь никогда» (Р., 139).

Абсолютного идеала нет, есть лишь относительная ценность и предпочтительные варианты, как сказали бы мы сейчас.

Применительно к родной ему Флоренции он, конечно же, полагал лучшей формой правления демократическую республику. Да и вообще его страстный республиканизм не вызывает сомнений. И все же политическая жизнь во Флоренции, даже в лучшее время существо-



Никколо Макиавелли. Художник Санти ди Тито (XVI в.). Флоренция, Палаццо Веккьо.



Панорама Флоренции. Гравюра XVII в.

Понте Веккьо и Палаццо Веккьо.



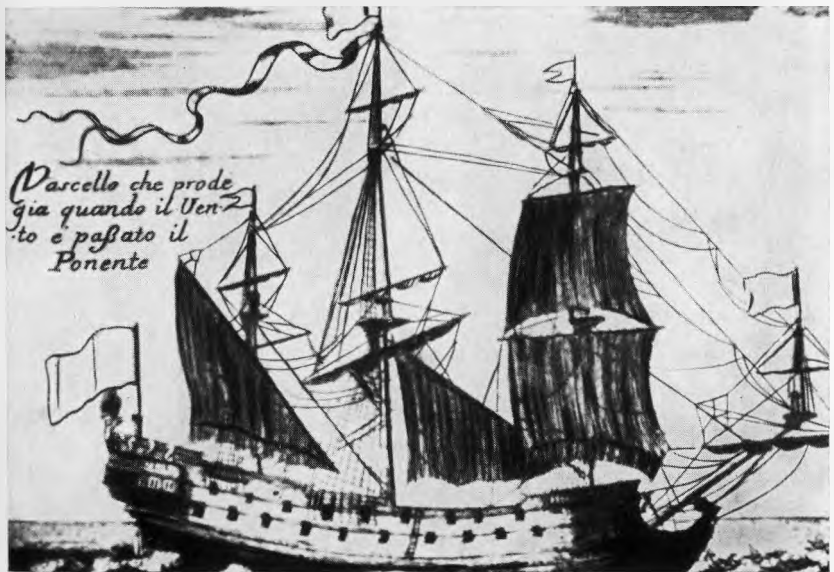


Банкиры. Немецкая гравюра XVI в.



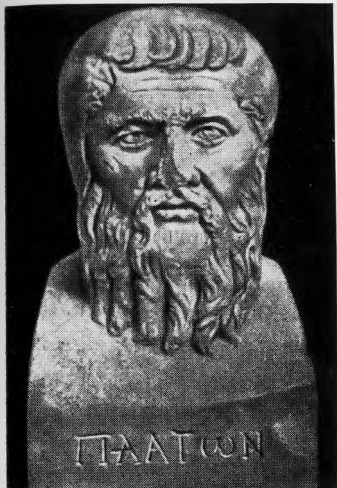
Сукнодельная мастерская. Фреска Мирабелло Кавалори. XVI в. Палаццо Веккьо. Флоренция.

Торговый корабль. Гравюра XVI в.





Тинторетто. Битва при Заре.
Фрагмент.



Платон.



Петрарка.



Данте.



Неизвестный мастер. Сожжение Савонаролы. 1500 Флоренция. Музей Сан Марко.



Памятник фра Джироламо Савонароле. XV в. Феррара.



Лев X. Акварель. Вена.



Лоренцо Медичи. С портрета Вазари.

Юлий II. Современный рисунок. Рим. Палаццо Кифри.



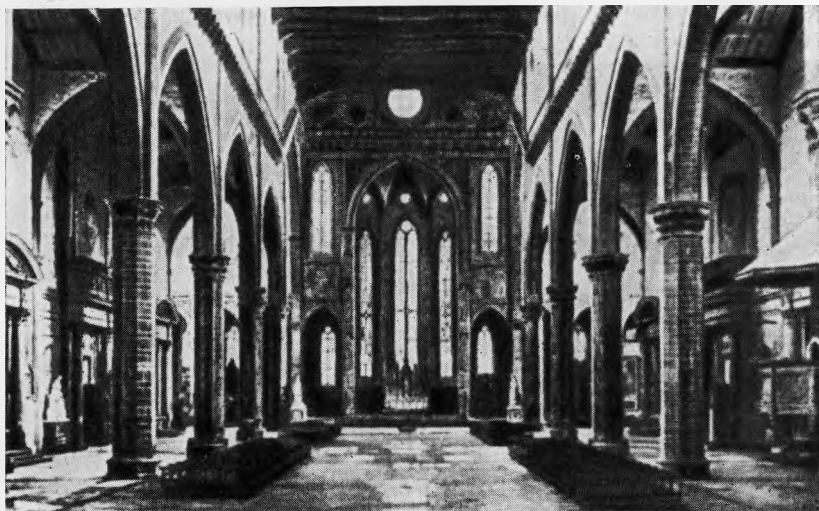
Джулиано Медичи. Бергамо. Академия Каррара.





Цезарь Борджа. Современная гравюра.

Санта Кроче. Внутренний вид.





Леонардо да Винчи.



Гвиччардини. Современная гравюра.

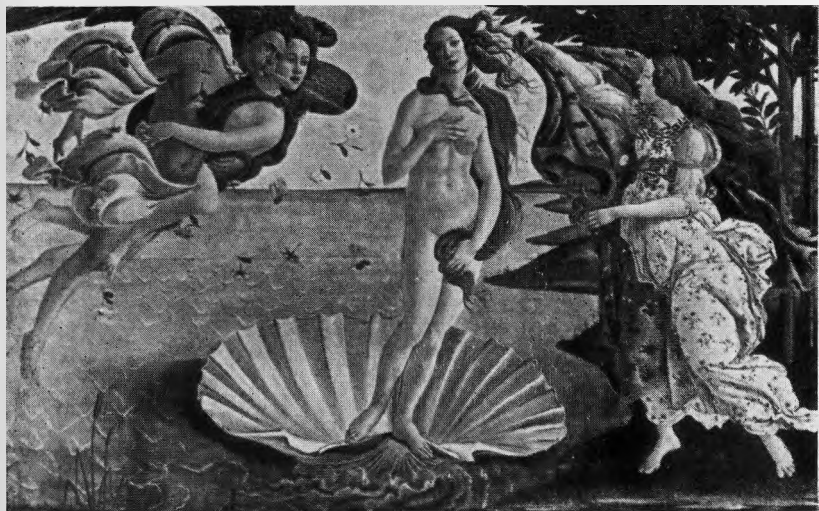


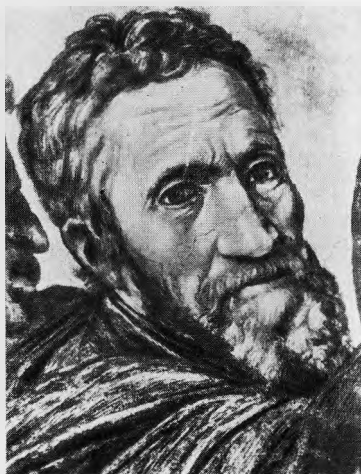
Автопортрет Боттичелли (фрагмент картины «Поклонение волхвов»). Около 1477. Флоренция, Уффици.

Рождение Венеры.
Фрагмент.



Боттичелли. Рождение Венеры.
Около 1485. Флоренция, Уф-
фици.





Джорджо Вазари. Портрет Микеланджело на фреске во дворце Канчеллерио. Рим.



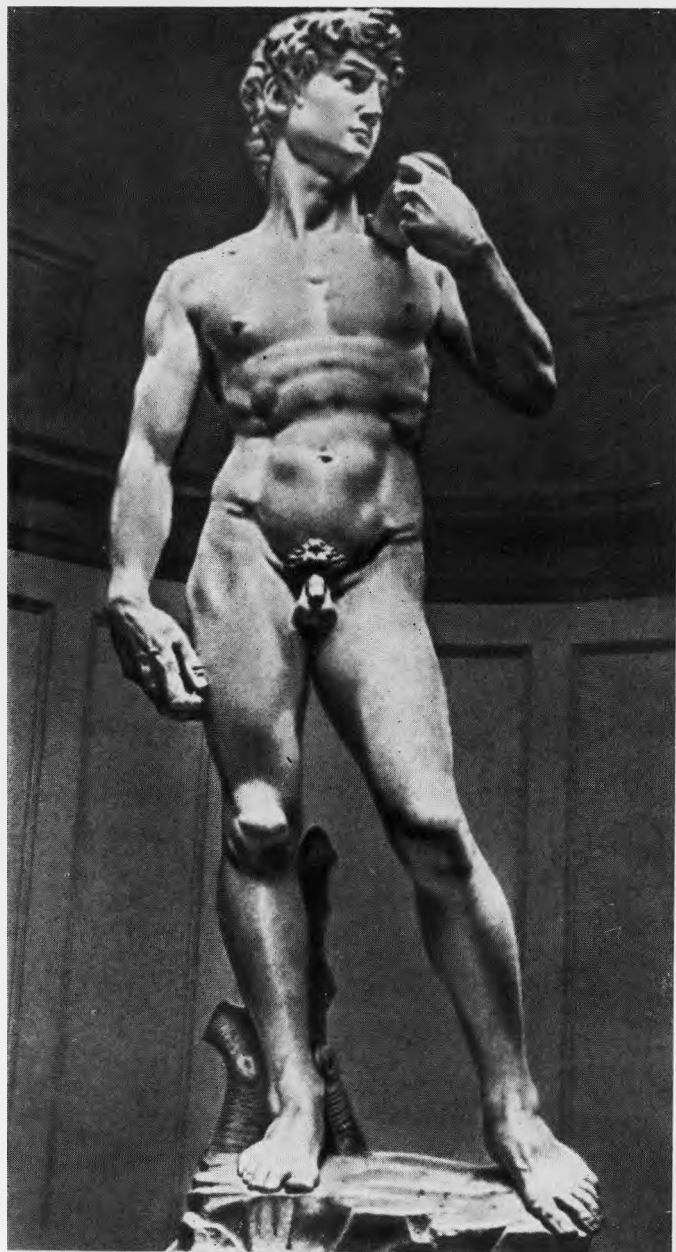
Пьета. Деталь.

Микеланджело. Пьета. Рим. Собор св. Петра.





Микеланджело. Моисей. Рим.
Сан Пьетро ин Винколи.



Микеланджело. Давид 1501—
1504. Флоренция. Академия
изящных искусств.



Микеланджело. Капелла Медичи. День. Деталь.

Микеланджело. Сикстинский плафон. Дельфийская сивилла. Фрагмент.

Микеланджело. Брут, 1539. Деталь. Флоренция. Национальный музей.





Никколо Макиавелли. Бюст работы неизвестного мастера XVI века.

Флоренция. Санта Кроче.



вания республики Содерини, не вызывала восхищения у Макиавелли. Он видел ее основной недостаток в слабости власти внутри города и в ее неспособности твердо отстаивать интересы народа во внешних отношениях. Он прямо называл Флоренцию «слабым государством», которое даже во времена своего величайшего процветания платило дань решительно всем, даже самым мелким владетелям. «Будь этот город силен духом и оружием, отношения эти были бы совершенно иные, и все платили бы ему, лишь бы приобрести его покровительство, вместо того чтобы продавать ему свою дружбу» (Р., 357).

Флорентийское государство не было достаточно сильным и во внутренних отношениях с различными слоями общества. Макиавелли полагал, что Флоренцию разъедает дух групповой межпартийной борьбы, которая делает власть неустойчивой, а порядок ненадежным. Этому посвящена, как мы увидим, вся его «История Флоренции». Вот почему Макиавелли не рекомендовал рассматривать Флорентийскую республику в качестве образца для подражания.

Такие образцы он искал совсем в другом месте. «Я полагаю, что для основания прочной республики лучше всего дать ей внутреннее устройство по образцу Спарты или Венеции», — писал он (Р., 140).

Наиболее целесообразной формой республиканского правления Макиавелли считал государство типа Спарты. Такое государство привлекало его тем, что в нем не было чрезмерного накопления богатств. Спарта привлекала его и стабильностью законов, норм и обычаев. Она привлекала его и достаточно гибкой формой государственного устройства, позволявшего наделять чрезвычайной властью вождей в чрезвычайных условиях, в особенности в условиях войны. Наконец, она привлекала его силой национального духа, независимостью, способностью к жертвам во имя сохранения свободы. Макиавелли всегда был сторонником не слабой, а сильной республиканской власти, демократической в своей основе, способной защитить себя и не претендующей на завоевания.

Итак, для небольшого народа или города типа Флоренции лучшей формой правления является республика спартанского типа. Совсем иное дело, когда речь идет о политическом устройстве объединенной Италии.

В этом случае возникают совершенно иные задачи и проблемы как внутри государства, так и вне его, что требует, естественно, совершенно иных решений. Образец Спарты для этих целей не подходит. Он рассчитан на малый народ, который хочет лишь сохранить свою свободу, свои законы и обычаи в нетронutom виде.

А что же подходит? Размышления Макиавелли на эту тему не лишены противоречий. Что касается самого периода объединения итальянских государств в единое целое — на этот счет не может быть сомнения и в «Государе», и в «Рассуждениях», — он утверждает необходимость и неизбежность единоличной власти. Нужен Великий преобразователь, наделенный широкими полномочиями для коренных реформ. Ну а потом? Что будет после создания единого итальянского государства? Какая политическая власть окажется достаточно прочной, чтобы противостоять сепаратистским центростремительным тенденциям к новому распаду и бороться против крупных европейских государств — Испании, Франции, Германии, выступающих против существования сильной Италии? Здесь мысль Макиавелли невольно как бы раздваивается. Его чувства на стороне республики, а ум — на стороне абсолютизма, монархии типа Франции того времени.

Мы уже имели случай познакомиться с прекрасными по своей глубине, хотя и первоначально наивными рассуждениями Макиавелли о Великом преобразователе, который, сделавшись господином в государстве и не гнушаясь никакими средствами, достигнет объединения разрозненных итальянских провинций и у которого хватит ума отказаться от установления наследственной монархии и обеспечить переход в дальнейшем к демократическим, республиканским формам.

Многие западные исследователи осуждают отношение Макиавелли к Цезарю Борджа. Они осуждают его дважды — за неумеренные восторги вначале и за полное пренебрежение в конце. Но так судить — значит пользоваться как раз тем критерием анализа живой политической деятельности, который с таким блеском отверг Макиавелли.

Он судил о Цезаре Борджа с позиции политики, а не морали. Он вовсе не сочувствовал жестокости его методов, а тем более не склонялся сам к аналогичным действиям. Нет, он судил о деятельности герцога исклю-

чительно под углом зрения политической целесообразности.

Его мысль была проста: вы можете не выдвигать ту или иную политическую цель либо из-за ее недостижимости, либо из-за непомерной цены — цены человеческой крови, либо интересов, которыми нужно пожертвовать для ее достижения. Но, взявшись за дело, сообразуйте средства, которых потребует достижение цели. Воссоединение раздробленной Италии, раздираемой мелкими хищниками, не может не потребовать огромных жертв и жестокой борьбы. Макиавелли видел, как происходил аналогичный процесс в соседней Франции, где сопротивление феодалов королевской власти тоже преодолевалось в жестоких схватках.

Когда герцог показывал образцы военной доблести и политической хитрости в борьбе против мелких тиранов в целях создания мощного итальянского государства, это вызывало поддержку или даже восхищение Макиавелли. Но реалист Макиавелли не мог так же продолжать считаться с герцогом после того, как тот проиграл большую игру по созданию в центре Италии единого государства и лишь цеплялся за остатки личной власти и влияния. А тем более когда герцог вообще перестал быть политической фигурой. Отношение Макиавелли к Цезарю Борджа во время его падения лучше всего свидетельствует, что он не питал к герцогу никаких личных симпатий или антипатий. Он оценивал его исключительно как политика, и все тут.

Вся история отношений между Никколо Макиавелли и Цезарем Борджа показывает, что дело было вовсе не в личных чувствах Никколо к этому смелому и безжалостному человеку. Для него это был наглядный политический пример создания нового государства и обращения властелина с подданными, что впоследствии и было так вдохновенно разобрано в «Государе».

Но вот что по-настоящему странно — проицательный флорентиец явно переоценивал силу характера и особенно патриотические чувства герцога. У него сложилось убеждение, что именно Цезарь Борджа со своим необузданным честолюбием, смелостью и ловкостью в состоянии покончить с мелкими тиранами, положить начало воссоединению Италии. Сам Цезарь и его отец постоянно эксплуатировали эту идею — это не вызывает сомнения. Однако не может не вызывать удивле-

ния, как мог дипломатический представитель Флоренции до такой степени заблуждаться насчет подлинных мотивов деятельности этого властолюбивого человека.

Как понять это?

Первое предположение пришло в голову еще Барбере: Макиавелли просто поддался обаянию личности незаурядного политика. Его привело в восхищение непревзойденное мастерство Борджа. Раз все люди, вступающие на политическое поприще, в большей или меньшей степени разбойники, то надо ценить тех из них, кто отличается наибольшим искусством разбоя. Ценим же мы, в конце концов, дуэлянта, который ловчей других протыкает шпагой своих противников, тореро, с первого удара убивающего быка на арене, охотника, который точнее других лишает жизни беззащитную газель. Если есть убийство, то должно быть и мастерство убийства. И наибольший мастер заслуживает, по-видимому, наибольшей славы и признания. Тот факт, что сам Макиавелли на протяжении всей своей карьеры никогда не участвовал ни прямо, ни косвенно ни в каких убийствах, казнях и засадах, как раз мог бы свидетельствовать в пользу его инфантильного восхищения более смелыми, предприимчивыми и безжалостными политиками.

Но это предположение «слишком женское», если можно так сказать. Цезарь Борджа отнюдь не был самым выдающимся мастером в деле обмана, коварства, грабежа и насилия. Его отец Александр VI, так же, впрочем, как и многие другие папы до и после него, мог дать много очков вперед Цезарю, отличавшемуся известной прямолинейностью и необузданностью. Ведь ни один из других жестоких и злобных правителей того времени не вызывал таких восторженных похвал со стороны флорентийского секретаря. Кроме того, Цезарь в конечном счете не преуспел, тогда как упоминавшийся уже Франческо Сфорца надолго сохранил за собой захваченное им Миланское герцогство. Нет, дело, по-видимому, не в политическом мастерстве Борджа, и, во всяком случае, не только в нем. Тогда в чем же?

Взвесим другое предположение. Цезарю Борджа удалось все же внушить увлеченному флорентийскому дипломату, что все его жестокости направлены к одной цели — преодолению раздробленности Италии и национальному воссоединению страны. Герцог не раз пригла-

шал к себе Никколо Макиавелли для бесед, видя в нем не только представителя Флорентийской республики, поддержкой которого нужно заручиться, но и выдающегося человека, способного в полной мере оценить масштаб его замыслов и величие его целей.

Герцог рисовал своему слушателю яркие картины уничтожения мелких тиранов и кондотьеров, безжалостно грабивших страну, картины создания сильного государства в сердце Италии. Именно это больше всего и привлекало Никколо Макиавелли, который все сильнее проникался идеями итальянского патриотизма, надеждами на то, что сильный государь может кровью и железом, обманом и хитростью добиться воссоединения страны и восстановления ее былого величия.

Итак, пламенный патриот Макиавелли, мечтающий о восстановлении древнего величия итальянского духа, встречает наконец на своем пути человека, воодушевленного, по его мнению, такими же идеалами и к тому же располагающего силой и способностями претворить их в жизнь. Это ли не предмет для восторга и преклонения! Это ли не случай, которого так жаждет мыслитель и художник, желающий вдохнуть в другого свои идеи и замыслы! Здесь мы, вероятно, близки к истине. И все же это не вся истина.

Был ли Цезарь Борджа человеком, способным действительно возглавить воссоединение Италии? Нет ни одного свидетельства в пользу такого предположения. Был ли он человеком, действительно воодушевленным патриотическими идеями? Безусловно, нет. Все, что нам известно о его характере и о его деятельности, говорит против этого. Эгоистичный, своекорыстный, совершенно лишенный принципов Борджа думал исключительно о личной власти и личной выгоде. Ни один из его современников не был обманут дымовой завесой патриотических слов, которыми он пользовался, действуя заодно со своим отцом Александром VI. Можно ли предположить, что Макиавелли оказался самым легковверным из всех деятелей и мыслителей того времени? Откуда же тогда его восторги?

Быть может, он радовался тому, что эта крупная гидра пожирает мелких змей и уничтожает ненавистных флорентийцам и опасных кондотьеров и тиранов, постоянно тревоживших город своими разбоями и грабежами? Нет, и это едва ли мы можем принять за доста-

точное объяснение. Макиавелли так много и так восторженно отзывался о Цезаре Борджа не только в своих донесениях, но и в «Государе», и даже в «Рассуждениях», написанных много лет спустя, на покое, что трудно поверить в столь ничтожный повод для его восторгов. Тогда что же?

Остается предположить, что причина кроется не столько в действиях Цезаря Борджа, в его планах и замыслах, сколько в душе самого Макиавелли. Здесь мы сталкиваемся с одной из наиболее существенных черт его характера. Макиавелли был удивительно увлекающимся человеком. И потому он часто принимал свое воображение, свое желание за истину. Отсюда и парадоксальность его суждений, амплитуда которых нередко достигала крайних точек.

Как социолог Макиавелли рассматривает политическую власть в динамике взаимоотношений различных сил, участвующих в процессе политической жизни: народа, аристократии, монарха, и выискивает те формы, которые с наибольшей полнотой обеспечивают равновесие и устойчивость государства. Это абсолютная власть короля, использующая парламент как средство ограничения аристократии и одновременно как форму, через которую народ получает выход к монарху, минуя аристократию.

Итак, республика для Флоренции или любого другого малого народа либо города, охраняющего свою свободу, и абсолютная монархия для всей объединенной Италии — таковы политические ценности, которым Макиавелли отдавал предпочтение, размышляя о перспективах развития своей страны.

Все единство и все несходство «Государя» и «Рассуждений» может быть понято, если мы будем исходить из понимания единства и противостояния флорентийского и всеитальянского патриотизма. Как великий итальянский патриот, Макиавелли одержим поиском Великого освободителя — будь то Борджа, Медичи или иной деятель. В этом ключ к его советам правителям.

В «Государе» размышления Макиавелли по поводу нового государства и Великого объединителя еще окрашены в мажорные тона.

Перечитывая древних и обобщая свеженакопленный опыт наблюдений за деятельностью абсолютных монархий, добившихся национального воссоединения во Фран-

ции, Испании и других странах, он открывает для себя истины и верит, что это открытие само по себе способно вдохновить на патриотический подвиг Великого правителя и народ. Эта нота звучит не только в восторженном призыве к освобождению Италии от варваров в книге «Государь», но и во многих других работах.

Великий политический ум оказался во власти великой политической иллюзии. Он полагал назревшей или, по крайней мере, не исключенной задачу единения Италии под одной властью. Опыт Франции, Испании, Германии и даже султанской Турции был для него живым свидетельством в пользу такой возможности. Только этим и можно объяснить его взволнованный, густо окрашенный эмоционально интерес к любому политическому движению внутри Италии, способному вывести ее из состояния распада, раздробленности и междоусобиц. Только этим и можно объяснить его неослабевающий интерес к примерам основания новых государств в древнем мире, а также в современную ему эпоху, когда абсолютизм все более пробивал себе дорогу, подчиняя мечом и кровью, хитростью и подкупом феодальные княжества и республики на всем Европейском континенте.

Различие между «Государем» и «Рассуждениями» в этом смысле — это различие в степени зрелости самого Макиавелли как политического реалиста. Это различие в уровне убежденности в том, насколько возможна, насколько назрела, насколько осуществима идея всеитальянского единства.

К концу жизни Макиавелли с растущей горечью наблюдал усиление центробежных, а не центростремительных тенденций на итальянском полуострове. Вакханалия междоусобиц усиливалась, политика пап становилась все более антинациональной, испанская реакция все сильнее накладывала свое ярмо на шею итальянского народа, всюду хозяйничали тираны, иноземные войска и кондотьеры. Тут уж было не до мечтаний об итальянском величии: хорошо бы, по крайней мере, отстоять независимость родной Флоренции. И все же неистощимый патриотизм флорентийца не оставляет его до последней минуты жизни. Поэтому-то в «Рассуждениях» он вновь и вновь возвращается к излюбленной теме создания нового государства.

Вот одно из самых интересных рассуждений Макиавелли по этому поводу. «Надо принять за об-

щее правило, что никогда или почти никогда ни одна республика и ни одно царство не было хорошо устроено или преобразовано вновь на прежних своих основаниях, от которых отклонилось, если основателями его не было одно лицо; необходимо, чтобы воля одного давала государству его порядок и чтобы единичный ум распорядился всеми его учреждениями...

С другой стороны, если один человек может устроить государство, оно будет недолговечно, если порядок, учрежденный в нем, таков, что всегда требует одного правителя; государственный порядок хорош только тогда, когда предоставлен попечению большинства и когда охранение его вверено большинству» (Р., 148—149).

Это место, пожалуй, с наибольшей полнотой передает главную мысль Макиавелли и одновременно дает ключ к пониманию сокровенного замысла и всей направленности «Государя».

Дело было вовсе не в сиюминутных побуждениях, которые, вероятно, оказали некоторое влияние на разработку тех или иных разделов «Государя». В целом тема «Государя», несомненно, вынашивалась Макиавелли как органическая часть более общей теории государства и политики. И в «Рассуждениях» он снова возвращается к проблеме единоличной власти как к условию осуществления того, что мы бы сейчас назвали национальной революцией. Но личная власть рассматривается здесь уже не как цель, а лишь как средство достижения социальных целей. Больше того, она выступает лишь как временное средство, которое должно быть использовано только для учреждения нового государства и новых законов.

Дальнейшее рассуждение Макиавелли не оставляет уже никаких сомнений относительно той переоценки ценностей, которую он произвел за годы, последовавшие после написания «Государя». Он решительно осуждает тех деятелей, которые, имея личную славу в основании государства или республики, вместо этого делают тиранами. Макиавелли пишет, что для счастья государства или республики недостаточно иметь государя, который при жизни управлял бы им мудро. Нужен такой, который бы устроил так, чтобы после его смерти они могли продолжать свое существование.

Итак, в «Рассуждениях» в отличие от «Государя» не только уточнены и четко определены цели воссоеди-

нения Италии под властью одного государства, но и указано средство — борьба народа под руководством Великого преобразователя, который не становится тираном, а, напротив, обеспечивает условия перехода к демократической власти.

Но и на этом неугомонная мысль Макиавелли не успокаивается. Возможно ли в принципе появление Великого преобразователя в конкретных условиях того периода, в условиях разложившихся обществ разъединенной Италии? Вот в чем вопрос. Верный принятому им методу, он снова обращается к анализу психологии человека. Преобразование государства предполагает человека добродетельного; между тем сделаться посредством насилия властелином в государстве добродетельный человек не может.

Так замыкается круг. Так подвергается эрозии мечта всей жизни Макиавелли о Великом преобразователе, способном воссоединить Италию. Эта мечта, как всякая мечта, тем и отличается от реального плана, что невозможно ее осуществить и от нее нельзя отказаться. Она живет в сердце и выплескивается каждый раз, когда ослабляется контроль холодного разума. И Макиавелли продолжает обсуждать различные аспекты все той же проблемы — как учредить новую власть в государстве.

Следует целая цепь рекомендаций и советов. Необходимо сохранить, по крайней мере, тень древних учреждений, чтоб народ не подозревал о перемене порядка, даже если в действительности новые учреждения не имеют ничего общего с прежними; ведь большинство людей гораздо больше боится внешности, чем сущности. Там, где дворянство многочисленно в республике, надо истребить его, а для основания новой монархии нужно создать дворянство или приблизить к себе прежде существовавшее. Для обновления государства, подвергающегося разложению или упадку, нужно вернуться к их коренному началу — идет ли речь о религии, или о республиканском строе, или о монархии.

Можно было бы назвать и другие советы, которые не устают давать беспредельно гибкий и многообразный ум политического мифотворца. Он жаждет обновления, жаждет революционных преобразований, и никакие доводы рассудка не заставят его отказаться от поисков...



КАРУСЕЛЬ

В последний период жизни Никколо Макиавелли (1519—1527) занимается напряженной литературной работой, которая перемежалась выполнением отдельных поручений медичейских правителей Флоренции. В эти годы он завершает семь книг: «О военном искусстве» (между 1519 и 1520 годами), «Жизнь Каструччо Кастракани», «Рассуждения или диалог о нашем языке», комедию «Мандрагора» (1519 год), затем другие литературно-художественные произведения — «Золотой Осел», «Бельфа-

гор» и, наконец, свой основной политико-исторический труд «Историю Флоренции».

Как видим, творчество, чрезвычайно многообразное по диапазону — от небольших новелл и стихотворных комедий до монументальных исторических и военных исследований, — составляло главное содержание жизни и деятельности Макиавелли на последнем этапе его жизни. И все же его не оставляла жажда политической активности.

Тем временем колесо фортуны стало, хотя и медленно, со скрипом, поворачиваться в сторону опального секретаря Флорентийской республики. 4 мая 1519 года в возрасте двадцати семи лет умер Лоренцо Медичи. Власть в городе перешла к Джулио Медичи, племяннику Лоренцо Великолепного. Джулио, незаконнорожденный побег медичейского дерева, долгое время жил в тени и, придя к власти, не склонен был полагаться на предначертания своего предшественника. Он не испытывал острой враждебности к бывшим сотрудникам Содерини и отнесся без особого предубеждения к Макиавелли.

Благодаря хлопотам друзей Макиавелли был принят в марте 1520 года Джулио Медичи, который обещал ему поддержку.

Но к этому моменту, по-видимому, за Макиавелли прочно закрепилась репутация скорее литератора и ученого, чем политического деятеля. Поэтому он вскоре (в ноябре 1520 года) получает предложение поработать над историей Флоренции. То было почетное предложение, поскольку такие поручения по традиции давались первому канцлеру республики, а Макиавелли, как мы помним, был во времена Содерини всего лишь вторым канцлером.

«История Флоренции» представляет собой последний крупный труд Никколо Макиавелли. Толчком для написания этого блистательного произведения, как это нередко бывает, послужил самый банальный факт. Благодаря хлопотам друзей Макиавелли Флорентийский университет, возглавляемый Джулио Медичи, 8 ноября 1520 года поручил ему на условиях выплаты ста флоринов годового жалованья написать этот труд. Жалованье небольшое, но оно явилось спасением для отстраненного от службы и не имевшего никаких средств к существованию Макиавелли, на содержании которого

находилась большая семья. Быть может, именно из-за хронического безденежья «хитроумнейшего политикана» мы располагаем сейчас трудом, который занимает достойное место рядом с «Историей» Геродота, жизнеописаниями Плутарха, с историческими трудами Тита Ливия.

Вновь назначенный историограф с наслаждением погружается в изучение хроник и анналов Флоренции. Незадолго до своего назначения, а быть может, в ожидании его он «единым махом» написал «Жизнь Каструччо Кастракани», которую он посвятил своим друзьям Дзаноби Буондельмонте и Луиджи Аламанни — членам кружка садов Руччеллаи. Макиавелли рассматривал это небольшое произведение как «модель писания истории» и получил одобрение своих друзей.

Он получал все большее признание как политический мыслитель и историк. Его «Военным искусством» и «Жизнью Каструччо...» интересовались в Риме, а «История Флоренции» с нетерпением ожидалась кардиналом Медичи. К работе над ней проявлял интерес и Ватикан.

Для умонастроений бывшего канцлера, не оставлявшего надежд на возобновление политической карьеры, характерен следующий эпизод. Пьеро Содерини, который сохранил определенное влияние на итальянские дела, предлагал ему пост секретаря у кондотьера Проспера Колонны с жалованьем в 200 золотых дукатов, что было в пять раз больше, чем все вознаграждение за «Историю Флоренции». Зная о тяжелом безденежье Макиавелли, Содерини советовал ему незамедлительно садиться на лошадь и скакать к Колонне. Но, к его удивлению, Макиавелли отверг это соблазнительное предложение, как и другие почетные и выгодные поручения, не связанные со служением Флоренции. Его преданность родному городу была выше жажды деятельности и личного успеха. Это подтверждает и другой пример.

В мае 1521 года Макиавелли охотно принял небольшое поручение флорентийских властей и отправился на генеральный капитул братьев францисканцев на Капри, чтобы хлопотать об отделении флорентийских владений францисканцев от других тосканских монастырей. Это поручение было особенно забавным для Макиавелли, если принять во внимание его антиклерикальные взгляды, выраженные с такой остротой и страст-

ностью в «Государе», «Мандрагоре» и других произведениях.

Впрочем, путешествие на Капри имело для Макиавелли и приятную сторону. По пути он встретился с Франческо Гвиччардини, который был в то время папским губернатором в Модене. Пока Макиавелли находился в опале, Гвиччардини получил хорошо оплачиваемый пост. Они раньше были знакомы, но, как замечает Рикардо Ридольфи: «Не было между этими двумя созвучности, ни настоящей дружбы до тех пор, пока бури Италии не свели их в одну лодку». Аристократ, холодный эгоист, важный, благонравный — один; второй — простолюдин, страстный, щедрый, легкий, свободных нравов. При жизни дистанция между преуспеванием одного и неудачами второго была настолько большой, что никакого соперничества не возникало. Соперниками они стали после смерти.

Путешествие на Капри положило начало тесному сотрудничеству, которое вскоре переросло в дружбу. Переписка между этими двумя выдающимися умами Возрождения составляет одну из наиболее ярких страниц эпохи.

Письма Макиавелли, как обычно, отличались острой политической суждений, раскованностью, веселой иронией. Отвечая на письмо Гвиччардини, в котором тот предостерегал его против «опасного воздуха Капри», насыщенного атмосферой притворства, Макиавелли шутливо замечает, что ему нечего опасаться, так как, будучи «доктором науки обмана, он уже давно не говорит того, что думает, и не думает того, что говорит, а если иногда ему случается сказать правду, он ее заключает в такое количество лжи, что и обнаружить ее трудно». Не странно ли слышать подобные саморазоблачения от человека, которого впоследствии папский двор объявит проповедником лжи и хулителем морали?

Но подобные незначительные поручения лишь ненадолго отвлекали Макиавелли от его основных занятий. Большую часть времени он по-прежнему проводит в деревне.

Особенно усердно Макиавелли работает над «Историей Флоренции» в 1524—1525 годах, когда сады Руччеллаи закрылись. У него не остается ничего, кроме сада Джакопо Форначчо и певички Барберы. Среди этих ужинов и компаний в 1525 году рождается «Клиция». В это

время Макиавелли окончательно отделяет восемь книг «Истории Флоренции», которую он хочет представить как можно скорее Джулио Медичи.

Работая над историей родного города, Макиавелли, как и в других случаях, пошел непроторенными путями.

Неистребимый дух новаторства сказался прежде всего в том, что он после некоторых колебаний решил вопреки традиции писать свой труд по-итальянски, а не на латыни. Тем самым он еще раз сделал свой выбор между аристократией и народом в пользу простых людей, которые говорили и читали на живом итальянском языке.

Дух новаторства сказался и при определении рамок исторического периода, который был включен Макиавелли в его «Историю». Он предпослал описанию истории самой Флоренции довольно обширный трактат по истории Италии с момента падения Римской империи. Страстный поборник итальянского единства, проповедник античных традиций, он остается верен самому себе, тесно связывая историю своего родного города с судьбами всей Италии.

Своеобразие этого труда заключено и в его жанре. Политический мыслитель здесь постоянно берет верх над историком, а художник-новеллист — над бесстрастным исследователем фактов.

По способу изложения и манере «История Флоренции» стоит ближе к античной традиции, которая усматривала в истории не только и не столько памятник событий, сколько материал для размышления, урок, который должны извлечь нынешние и грядущие поколения из опыта прошлого.

В своем труде Макиавелли выступает одновременно в роли политика, историка и новеллиста. Здесь все его разнообразные таланты обнаруживаются в полной мере. Изложение событий перемежается с размышлениями об их подлинной природе, о причинах деятельности тех или иных общественных и политических групп, о мотивах поведения людей. Не испытывая и доли смущения, он вкладывает в уста своих героев — представителей власти или бунтарей против нее — развернутые и красочные монологи с темпераментным изложением их политической философии, их требований, их замыслов и целей. Поэтому за историческими событиями восьми

книг «Истории Флоренции» более всего видна фигура самого Макиавелли — активной и деятельной личности, глубокого и разностороннего мыслителя, страстно обуреваемого флорентийскими и общетальянскими патристическими чувствами.

Над этой работой Макиавелли трудился без малого семь лет. Заметим, что в предыдущие семь лет им были созданы: «Государь», «Рассуждения», «Военное искусство» и др. Надо думать, что «История Флоренции» потребовала от него столько сил и внимания из-за обилия исторических источников и масштабности замысла — охватить, пусть кратко, историю Флоренции, проследив ее с самих истоков становления итальянской государственности.

Но фортуна еще не исчерпала всех своих шуток над бывшим политическим деятелем Флоренции.

Он снова едва не попал под ее колесо, на этот раз не по своей вине. Первый укол он почувствовал, когда Содерини, претендовавший вместе с Медичи на вакантный пост папы в связи со смертью Льва X (декабрь 1521 года), проиграл свою игру. Все сторонники Содерини, а в их числе все еще значился Макиавелли, почувствовали после этого большое беспокойство.

Но особая опасность его подстерегала впереди. Уже упоминавшиеся близкие друзья Макиавелли Дзаноби Буондельмонте и поэт Луиджи Аламани составили заговор с целью убийства кардинала Джулио Медичи, намеченного в день праздника Тела Господня (19 июня 1522 года). Заговор был раскрыт, его организаторы бежали, но другие участники были арестованы. Один из них назвал имя Макиавелли, однако, к счастью для него, во время процесса вопрос о его ответственности не возникал. Два заговорщика были казнены. Макиавелли, как и в момент падения республики, снова оказался жертвой своих личных привязанностей и известных всем республиканских симпатий. Врагам это дало новый повод для наветов, а друзьям для подозрений в связи с тем, что он вторично выскользнул из-под пресса, который раздавил его единомышленников. Стремление реабилитировать себя в глазах властей и спасти хотя бы крохи того благополучия, которое было обретено с таким трудом, быть может, и продиктовало Макиавелли ту насмешливую эпиграмму, которую он сочинил в связи со смертью Пьеро Содерини (последовавшей 13 июня 1522 года).

Напомним эти строки, о которых уже говорил Веттори в одной из предыдущих новелл:

Пьер Содерини умер, в гущу ада
Его душа попала в ту же ночь,
Но тут Плутон вмешался: «Дура, прочь!
Тебе не в ад, в его преддверье, надо!»

Даже друзья Макиавелли были шокированы таким отношением к человеку, который всегда ему покровительствовал. Этот нравственный сбой, вероятно, навеян разочарованием поведением Содерини в момент кризиса республики. Кроме того, в памяти Макиавелли были еще слишком свежи воспоминания о тюрьме и пытках, которые он пережил в момент медичейского переворота, пережил незаслуженно, поскольку всегда отвергал метод заговоров и политических убийств. Сам он с горечью замечал, что последние годы его жизни прошли между двумя заговорами. Блистательный кружок, объединенный в садах Руччеллаи, распался, и Макиавелли замкнулся в своей деревне. Его имя тем временем становится все более одиозным в глазах флорентийского общества, чему содействовала также циничная подделка «Государя», осуществленная неким Агостино Нифо.

В то время, когда Макиавелли работал над восьмой частью «Истории Флоренции», скончался папа Адриан VI (14 сентября 1523 года). После упорной борьбы новым папой был избран Джулио Медичи, принявший имя Климента VII. Это событие оказалось весьма благоприятным флорентийскому историографу, поскольку часть восьмая «Истории Флоренции» повествовала о Лоренцо Великолепном, дяде нового папы. Быстро закончив ее, Макиавелли решил преподнести рукопись папе Клименту VII. Боясь сделать ложный шаг, Макиавелли запрашивает у Веттори, находившегося в Риме, «какой ветер там дует»; после довольно длительных хлопот он был принят папой в Риме и преподнес ему «Историю Флоренции», за что получил из личных сумм папы сто двадцать дукатов.

Во время беседы Макиавелли предложил папе свою излюбленную идею создания национальной милиции. Климент VII был вовлечен в то время в хитроумную игру с французами и испанцами, воевавшими в Ломбардии. Он остро нуждался в войсках, и его заинтересовала идея вооружить подданных Романьи, президен-

том которой был Гвиччардини. К нему-то и был направлен Макиавелли с папским посланием, в котором говорилось, что идея создания национальной милиции есть «дело великое и от него зависит спасение государства Церкви, а также Италии и всего христианства».

Гвиччардини прекрасно принял своего друга и в принципе высоко оценил его идею. Все же он постарался похоронить этот проект, утверждая, что народ Романье не подготовлен к тому, чтобы его можно было вооружить. Гвиччардини направил несколько писем Клименту VII, но Макиавелли продолжал настаивать на своем, ожидая в Романье указания папы, который так и не решился осуществить его проект. Разочарованный реформатор в конце июля вернулся во Флоренцию, так и не дождавшись решения папского двора.

Работа над «Историей Флоренции» и хлопоты, связанные с ее изданием, не могли целиком захватить разностороннюю натуру Макиавелли. Он посещает новый салон у Джакомо Форначчо, где встречается с философами, поэтами и актерами. Как раз сюда он частенько приезжает ужинать с Барберой. По-видимому, здесь и зарождается у него замысел новой пьесы — «Клиция». Это была веселая комедия, написанная специально к празднику в январе 1525 года по мотивам Плавта. Пьеса была вскоре с успехом поставлена во Флоренции на празднике, где присутствовал молодой Ипполитто Медичи.

Любопытно заметить, что Макиавелли в обеих, написанных им пьесах — «Мандрагора» и «Клиция», — выбирает жанр комедии. Это он-то, автор «Государя», «Военного искусства», «Истории Флоренции», заполненных до отказа историями войн, политических убийств, распрями, казнями, отравлениями. При этом обе названные комедии близки по стилю, сюжету, интонации к новеллам Боккаччо: они веселы, изящны, немного скабрены, и, пожалуй, их отличает лишь некоторая язвительность тона, большая меткость политических оценок. Характерно, что среди литературных произведений Макиавелли не было ни одной трагедии. Вот еще одно опровержение односторонних представлений об «исполненном горечи» или «скорбном» Макиавелли.

Из литературных произведений Макиавелли наибольшее признание получила, пожалуй, «Мандрагора». О ней говорили, что она являлась комедией того общества, тра-

гедия которого изображена в «Государе». Это одна из немногих итальянских комедий XVI века, которая дожила до нашего времени и сейчас еще ставится на сценах европейских театров. Король этого жанра Карло Гольдони два столетия спустя писал о том влиянии, которое оказала «Мандрагора» на развитие его творчества. И хотя Стендаль иронически заметил, что «Мандрагора» была бы отличной комедией, если бы автор ее был веселым человеком, ее первые постановки, осуществленные еще при жизни Макиавелли, неизменно вызывали шумное и веселое одобрение зала.

Сюжет этой вещи напоминает новеллы Боккаччо. Молодой человек блестящих достоинств Каллимако без памяти влюбляется в Лукрецию — прекрасную и добродетельную супругу доктора Нича. Несмотря на весьма зрелый возраст ученого мужа, супруги были бы вполне счастливы, если бы судьба подарила им потомство. Каллимако по совету обжоры и проходимца Лигурио убеждает простоватого доктора Нича в своей способности помочь им в их беде. Он уговаривает Нича дать Лукреции снадобье, которое обеспечит рождение ребенка. Но снадобье смертельно для того мужчины, который первым сблизится с Лукрецией. И вот сам обманутый супруг при помощи монаха фра Тимотео (действующего, разумеется, за изрядное вознаграждение) уговаривает Лукрецию принять на одну ночь Каллимако. Дело устраивается ко всеобщему удовольствию, и Каллимако с помощью новых ухищрений становится постоянным другом дома и возлюбленным Лукреции.

Мандрагора — это и есть то самое снадобье, которым Каллимако опаивает Лукрецию. Непритязательный, но живой сюжет «Мандрагоры» настолько понравился Лафонтену, что он преобразовал эту пьесу в стихотворную новеллу, так же, впрочем, как и «Бельфагора».

Среди действующих лиц «Мандрагоры» особо выделяется ученый мессер Нича и монах фра Тимотео. Они обрисованы с большой язвительностью и олицетворяют то, против чего Макиавелли без усталости воевал в своих научных трактатах: псевдоученого схоласта и лицемерного служителя церкви. Тупость одного и продажность другого показаны здесь с подлинным мастерством художника и сладострастием ученого, который сводит счеты со своими постоянными оппонентами.

В «Мандрагоре» легко обнаружить немало мимохо-

дом высказанных замечаний, которые перекликаются с выводами «Государя» и «Рассуждений». В прологе автор сетует, что он вынужден:

Пустые мысли сея,
Грустные дни свои тем сделать слаще,
Коль в жизни настоящей
Может лишь суесловить:
Ему запрещено ведь
В других делах себя явить как надо.
Его трудам не суждена награда.

Знакомые мотивы! Мы слышали их и в предисловии к «Государю», и в других работах. Автор горюет и о том, что «наш век отмежевался от доблести, которой древность дышит». Он с иронией замечает, что в браках редко оправдывается поговорка: «Бог создает людей, и они находят себе пару; ибо часто видишь, как человек с положением выбирает себе дуру и, наоборот, рассудительная женщина получает полоумного». Антиклерикальные настроения Макиавелли прорываются наружу почти в каждой фразе.

«Кто уговорит духовника?» — спрашивает Каллимако, рассчитывая с его помощью обмануть Лукрецию. «Ты, я, деньги, наша подлость, их подлость», — отвечает Лигурио. «Эти монахи хитры и пронырливы. С каждого можно сорвать достаточно под разными предлогами», — вторит ему фра Тимотео.

Ум мыслителя не дает покоя комедиографу. И вот мы читаем в пьесе: «Цель — вот что надо иметь в виду при всех обстоятельствах»; или: «Как мало находит человек блага в том, к чему он стремится, по сравнению с тем, что он предполагал найти».

Заключительный аккорд пьесы завершает весь ее немного фривольный и еретический смысл. Тесно сдружившиеся мессер Ница, Лукреция и Каллимако выслушивают следующую ироническую сентенцию фра Тимотео: «Идемте все в церковь и там произнесем молитву, какую полагается. Затем после службы вы во благовремение пойдете обедать. А вы, зрители, не ждите, что мы еще выйдем: служба длинная, и я останусь в церкви, а они через боковую дверь отправятся домой. Прощайте».

Тем же еретическим и ёрническим духом пронизана и «забавнейшая новелла Никколо Макиавелли» — «Бельфагор». В ней рассказывается о том, что архидья-

вол Бельфагор послан Плутоном в мир сей с предписанием жениться. Явившись сюда, он женится, но, не в силах вынести злонравия жены, предпочитает возвратиться в ад, нежели вновь соединиться с нею.

Некоторые усмотрели в этой новелле прозрачный намек на жену Макиавелли Мариетту, но исследователь этой проблемы начисто опровергает подобные наветы. Макиавелли любил жену, нежно относился к детям, что не мешало ему обожать свою Барберу.

Забегая несколько вперед, расскажем об интереснейшей реакции на современную постановку «Мандрагоры».

В конце 1953 года Тольятти опубликовал заметку в журнале ЦК ИКП «Ринашита» на спектакль по комедии Макиавелли «Мандрагора», поставленный некой театральной труппой, выступавшей под именем «Артель зрителей». Это дало Тольятти повод высказаться об авторе «Мандрагоры» не только как о художнике, но и как о мыслителе. «Какое место занимает это произведение в творчестве того, кто был первым серьезным и великим современным мыслителем в Италии? — спрашивает Тольятти. — Ему хотелось развлечься, создавая это произведение, и он открыто говорит об этом. Но, будучи великим художником, он в то же время не сумел помешать появлению на свет силой творческого созидания того видения жизни, морали, нравственности, которое бродило в его уме».

Далее Тольятти с удовольствием пересказывает наиболее интересные и острые сцены «Мандрагоры», особенно подробно трактуя конфликт с монахом, олицетворявшим официальную римскую церковь. Он проводит параллель между глубиной и страстностью языка «Мандрагоры» и трагедиями Расина и подчеркивает, что такую комедию мог написать лишь человек, «в уме которого уже созрела новая свободная концепция личности, морали и жизни».

«То здоровое и сильное, что соответствует природе человека, должно пробить себе дорогу и торжествовать. Каким образом? Делая добро или делая зло? Правдой или обманом? Вопрос так ставиться не может. Обман восхваляется, поскольку он побеждает «камни, яды и чары». Камни, яды и чары в то же время должны быть побеждены. И камни, яды и чары — суть общества того времени, в условиях которого мыслитель, заглядывая

вдаль, окончательно убедился, что общество разложилось и достигло конца...»

Комментируя развязку «Мандрагоры», которую он называет «спокойной и оптимистичной» и «даже остроумно-торжествующей», Тольятти замечает: «Так увенчивается произведение искусства, и комедия занимает надлежащее место, будучи логическим моментом в развитии мысли этого нашего исполина»*.

Тольятти не только воздал должное своему великому соотечественнику. Он противопоставляет его творчество официальному обществу современной Италии и опирается на Макиавелли для революционного отрицания ханжеской морали и лицемерия и буржуазии и церковников.

Заметка в «Ринашите» была подписана псевдонимом, вернее, одним латинским символом «Г». Этот символ также шел от Макиавелли. Такое имя принял дьявол Бельфагор, спустившись на землю, в одноименной новелле флорентийца. Этот штрих еще раз указывает на особый интерес Тольятти к Макиавелли — художнику и великому мистификатору.

Хотя колесо фортуны как будто бы несколько и повернулось в сторону опального канцлера, как мы упоминали выше, тем не менее его успехи связаны почти исключительно с творческой работой. Вслед за постановкой «Клиции» с успехом была поставлена «Мандрагора» во время карнавала в Венеции. Увеличивается плата и за «Историю Флоренции». В письмах Макиавелли в этот период все чаще упоминается имя Барберы, она помогает ему забыть неудачные попытки вернуться на государственную службу, колебания папы относительно его военного проекта и другие огорчения.

Что касается политических дел, то Макиавелли замечает в одном из своих писем к Гвиччардини (в конце 1525 года), что не видит среди итальянских властителей ни одной достаточно уважаемой и сильной личности. Пытаясь отвлечь его от скорбных размышлений по поводу политического положения Италии, раздираемой франко-испанским соперничеством и внутренними дразгами, Гвиччардини приглашает Никколо и Барберу для новой постановки «Мандрагоры».

* См.: «Ринашита», 1953, № 11.

Отвлекаясь время от времени литературной работой, постановкой своих пьес, веселыми компаниями, Макиавелли отводит душу, работая над «Историей Флоренции». Здесь находят место оценки всех драматических событий жизни города и всей Италии, выплескиваются наружу все политические симпатии и антипатии бывшего флорентийского секретаря, по-прежнему отторгнутого от общественной деятельности.

Последние два года жизни Макиавелли дали ему наконец давно ожидаемый случай испробовать на практике идею создания народной милиции, которой суждено было сыграть такую выдающуюся роль через несколько веков, в эпоху буржуазных революций. Конфликт между императором Карлом V и королем Франциском I особенно обострился в начале 1526 года. Император после пленения короля подписал с ним договор. Угроза в отношении Италии усилилась. Макиавелли пишет об этом Гвиччардини, полагая, что война для Италии стала неизбежной и что итальянцы должны вооружаться. В качестве возможного военачальника называется Джованни Медичи, который возглавлял военный отряд во Флоренции. Политические заботы не мешают Макиавелли завершить свое письмо веселым пассажем: он просит Гвиччардини пригласить Барберу, поскольку «с ней не меньше беспокойства, чем с императором».

Папа Климент VII, которому Гвиччардини сообщил проект Макиавелли организовать войско под началом Джованни Медичи, как и раньше, уклонился от решения. Флоренции пришлось самой заботиться о своей обороне. Она направляет для укрепления стен в Ольтарно военного инженера Пьетро Наварра, а вместе с ним Макиавелли.

Весной 1526 года по предложению Макиавелли создается магистрат крепостных стен. Он получает пост инспектора, а помощником становится его сын Бернардо. Изголодавшийся по живому политическому делу Макиавелли с жадностью хватается за представившийся случай послужить родной Флоренции. Он находится в лагере вместе с войсками, возвращается во Флоренцию, отправляется на места, где возводятся укрепления, активно переписывается с Гвиччардини, неоднократно обращается к папе Клименту VII по поводу обороны и дипломатии.

Во время его пребывания в военном отряде, руково-

димом Джованни Медичи, произошел случай, одновременно забавный и показательный. Никколо нередко спорил с Джованни по проблемам военной стратегии, и автор книг «О военном искусстве» неизменно брал верх в этих спорах. Жаждавший реванша Джованни предложил Никколо построить отряд в три тысячи человек и проделать с ним несколько упражнений. Никколо взялся на пари за это предложение, но, промучившись два часа с солдатами, вынужден был признать свое поражение. Так элементарная практика посрамила высокую теорию.

Вопреки настоятельным советам Макиавелли, которые он передавал через Веттори и Гвиччардини, папа Климент VII не только не создал народной милиции, но даже распустил часть имевшихся у него войск. Воспользовавшись этим, испанцы атаковали войска папы, а сам он едва успел бежать в замок Сант-Анджело.

Макиавелли, верный своей манере, изобразил эти события в виде веселой новеллы, сообщенной им Гвиччардини. Он писал: «...это не Ваша ошибка, а вина текущего года, в котором никому не удалось сделать что-либо хорошо и должным образом: император не мог выдержать дольше потому, что он не послал своим никакой помощи, хотя он имел время; испанцы много раз могли устроить нам козни, но они не нашли способа; мы имели возможность одержать победу, но не знали, как этого достигнуть; папа больше доверял свою персону чернилам, использованным для подписания договоров, чем тысяче солдат; только сиенцы знали, как продержаться, и ничего удивительного в том, что в сумасшедшее время именно дураки обнаруживают признаки мудрости».

Тем временем дела защитников Рима, Ломбардии, Флоренции шли все хуже. Единственный крупный военачальник в их войсках Джованни Медичи погиб в бою в ноябре 1526 года. Связанные с ним надежды Макиавелли на сильную личность в очередной раз потерпели крах. Зато он особенно сблизился с Гвиччардини, с которым постоянно встречался на протяжении кампании, длившейся вплоть до последнего месяца весны 1527 года. 15 апреля Никколо написал Веттори, что он «любит мессера Франческо Гвиччардини, любит родину больше, чем себя самого», и в силу опыта, дарованного ему его шестидесятью годами (в это время ему было 57 лет), он

убежден, что никогда еще страна не находилась в таких трудных обстоятельствах, потому что необходим мир, а от войны нельзя отказаться, и что, кроме того, нет такого государя, который мог бы безбоязненно встретить и мир и войну.

Находясь при войсках, Макиавелли, однако, выполнял довольно второстепенные поручения. В сущности, он по-прежнему выступал в роли советника, а не лица, принимающего решения, в роли теоретика, а не практика. Кроме Гвиччардини, он сблизился с кузеном папы кардиналом Болоньи, который демонстрировал свое уважение к нему как автору крупных политических и военных трудов. Письма Макиавелли в этот период наполнены горечью по поводу многострадальной родины, попираемой чужеземцами. Он не забывает и о своей семье и пишет письма детям, проникнутые нежностью и заботой.

Затянувшаяся война закончилась полным поражением и разгромом Рима, который последовал в начале мая 1527 года. Святой город подвергся разграблению испанцами-католиками и лютеранскими ландскнехтами.

Эти события привели к падению медичейского режима во Флоренции. В середине мая 1527 года был восстановлен Большой совет, учрежденный еще Савонаролой, и находившиеся во Флоренции члены семьи Медичи сочли за благо покинуть город. Так в результате внешних потрясений во Флоренции была восстановлена республика.

А что же Макиавелли, этот закоренелый республиканец, которого Медичи держали не у дел почти пятнадцать лет? Этот «хитроумный» теоретик, проповедовавший быструю приспособляемость к обстоятельствам как важнейший принцип политики? Он снова оказался в числе проигравших.

В момент переворота Макиавелли находился в Чивита-Веккиа, куда его направил Гвиччардини. Здесь он узнал о падении Медичи и поспешил во Флоренцию, надеясь, что его, опального канцлера республики, вернут на долгожданную службу в Палаццо Веккьо.

Странно сказать, но новые республиканские правители были так же не расположены к Макиавелли, как и Медичи. За исключением некоторых незаурядных умов, ценивших его выдающееся дарование и разнообразие талантов, во Флоренции все или почти все осуждали Ма-

киавелли. Республиканцы — за «Государя» и связи с домом Медичи в последний период; авторитаристы — за ярый республиканизм, выраженный в «Рассуждениях» и других работах; последователи Савонаролы — за насмешки над церковниками в «Мандрагоре», и все без исключения — за насмешливый нрав, язвительную иронию, не щадившую никого.

Колесо фортуны сделало полный оборот. Политическая карусель вернула Макиавелли к тому самому месту, которое он обрел после падения республики Содерини. Его политическая карьера закончилась, и ему оставалось лишь уйти со сцены — на этот раз навсегда. Крушение надежд на благоволение республики и атмосфера враждебности были последним ударом для Макиавелли. Он заболел и 21 июня 1527 года скончался.

Не понятый друзьями, оболганный врагами, отвергнутый властями, потерявший преданность Мариетты и не посещаемый Барберой, Макиавелли мужественно сносил ужасные боли, сопровождавшие последние часы его жизни. Взяв себе за образец древних римлян, которые полагали, что подлинная сила человеческого характера проявляется в момент смерти, он сохранял величие духа и остроту ума.

Незадолго до кончины, мучаясь от сильных болей (по заключению современных врачей, причиной его смерти, по-видимому, был аппендицит или перитонит), Макиавелли не оставлял своей манеры балагурить. Эта страсть — превращать любое событие в предмет игры ума — сопровождала его всю жизнь. Почему он должен был изменять ей, когда жизнь оказалась на исходе?

Итак, за несколько часов до смерти он рассказал окружающим его друзьям и родственникам следующую новеллу, которую они не преминули передать современникам и потомкам.

— Я видел сон, — говорил Макиавелли. — И во сне — редкое скопление бедных, оборванных, изможденных, умирающих людей. Мне объяснили, что это были души рая. Потом эти души исчезли, и мне явилось множество лиц благородной внешности в королевских одеяниях, которые степенно дискутировали о государстве. Среди них я узнал Платона, Плутарха, Тацита и других знаменитых людей древности. На мой вопрос, кто эти новые пришельцы, мне ответили, что это грешники ада.

Потом исчезли и эти души, и меня спросили, с кем я хотел бы быть. И я ответил, что скорей предпочту пойти в ад, толковать о государстве с благородными душами, чем быть в раю с нищими духом.

Из-за этой последней новеллы Макиавелли окончательно рассорился с церковью. Новелла послужила непосредственным поводом для внесения папой Павлом IV работ Макиавелли в «Индекс запрещенных книг» (это было в 1559 году).

Но Макиавелли не был бы самим собой, если бы его предсмертная воля была выражена столь однозначно. На самом деле последние часы его жизни окутаны загадкой. В эпистолярном наследии флорентийского секретаря имеется письмо, которое приписывается его 13-летнему сыну Пьеро. В этом письме, адресованном какому-то родственнику, Пьеро рассказывает, будто его отец перед смертью призвал к себе некоего монаха Матфея и исповедовался ему. Монах этот якобы находился у постели умирающего до его последнего вздоха.

Это письмо экспонировалось на юбилейной выставке, устроенной во Флоренции по случаю 500-летия со дня рождения Макиавелли, с сопроводительной надписью «фальшивка». Исследователи полагают маловероятным, чтобы человек, который всю жизнь так яростно нападал на церковь, мог прибегнуть к ее посредству перед смертью для улучшения своих отношений с богом. Кроме того, графологический анализ почерка показал, что письмо было написано взрослым человеком. Существует мнение, что это письмо было сфабриковано в XVIII веке заведующим библиотекой во Флоренции Анджело Мария Бандини, который рассчитывал таким («макиавеллическим») способом испросить прощения у церковных властей в отношении опального Макиавелли.

Так родились две противоположные версии о последних часах жизни великого мифотворца. Но это было только начало. Спор продолжился вокруг тела покойного. Макиавелли скончался 21 июня, был захоронен 22 июня 1527 года в церкви Санта Кроче. Теперь это Пантеон великих людей во Флоренции. Здесь похоронены Микеланджело, Галилей, Россини, имеется надгробие Данте, прах которого покоится в Равенне.

Вначале гробница Макиавелли не имела ничего примечательного. Но вот два с половиной столетия спустя, в 1787 году, над ней был воздвигнут памятник с эпита-

фией: «Tauto domini mullum par elegium», что означает: «Имя его выше всяких похвал».

Эта надпись была сделана по указанию Пьера Леопольда I, просвещенного деспота Тосканы, находившегося в состоянии постоянного конфликта с церковью. Реабилитация Макиавелли была для него крупным антиклерикальным жестом. Так еще раз имя Макиавелли стало предметом острой борьбы, а маятник, характеризующий оценку его деятельности, еще раз качнулся в самую крайнюю точку. Человек, который еще недавно не имел имени, удостоился надписи, ставящей едва только приобретенное имя превыше всех других имен.





ИСХОД

Вот мы снова вместе — Историк, Писатель, Социолог. Нам надлежит вынести **СУЖДЕНИЕ** о загадке Никколо Макиавелли. Пока мы излагали его труды, мы были более или менее едины. Но суждение — род приговора — это дело совести, оно требует самостоятельности, независимости, носит неизбежно личный характер. Это не мешает ему быть объективным, разумеется, в той мере, в какой оно отражает природу, сущность, характер, образ интересующего нас человека.

Итак, начнем по порядку. Историк, вы, кажется, хотели быть первым?

Суждение Историка: *Политический советник.*

Я полагаю, что суть вопроса, на который мы пытаемся ответить, суть характера великого флорентийца можно кратко выразить в двух словах: *политический советник.* Я имею в виду его советы не только монархическим властителям, но и представителям республиканских правительств. Макиавелли как профессионал-политик готов был давать советы и тем и другим, преследуя цель улучшить, облагородить управление.

Помнит ли читатель великолепное изображение многоликого Шивы, отлитого из бронзы индийскими мастерами? Если не помнит, то мы возьмем на себя смелость настоятельно рекомендовать читателю отправиться в Музей искусств народов Востока в Москве, отыскать там изображение индийского бога и внимательно взглядеться в него. Оно полно символики и какого-то затаенного смысла. Сколько бы вы ни вглядывались в него, каждый раз это снова для вас откровение. Многоликость природы вещей и в особенности всего живого. Неисчерпаемое разнообразие лица бога, лица человека. Многообразие движений и пластики. Живой мир во всем его динамизме, во всей его неоднозначности, которую невозможно схватить зараз, так нелегко понять, так трудно исчерпать в жестких определениях.

Какой контраст с двуликим Янусом — этим упрощенным символом двоедушия и лицемерия! Шива многообразен, но правдив. Несхож с самим собой и един во всех своих проявлениях, как един и многообразен человек и окружающая его вселенная. В противовес этому двуликий Янус лжив в обеих своих сущностях, которые, собственно, не есть его сущности, а лишь оболочка, взятая напрокат маска, погремушка души, которая скрыла или растоптала себя самое.

Когда мы перелистываем все, что писали и пишут о Макиавелли его бесчисленные толкователи, перед моими глазами возникает образ Шивы, а не Януса. Здесь целая палитра красок бесчисленных оттенков. Они рисуют множество образов, схожих и несхожих между собой. Примитивное истолкование Макиавелли как двули-

кого Януса, лицемерного и коварного политикана, грязного беспринципного деятеля и двусмысленного мыслителя энергично насаждалось господствующей церковной идеологией и правящими классами.

Очень скоро оно было отвергнуто в трудах философов, художников, естествоиспытателей, приобщавшихся к исследованию этой загадочной личности. Но взамен мы получили такое обилие толкований, нередко исключаящих друг друга, такое разнообразие интерпретаций, которого удостаиваются лишь немногие фигуры мировой истории. Подобно Шиве, облик Макиавелли множится, и вот вас обступает уже добрый десяток существ со схожими чертами и таким разным внутренним миром, что вы начинаете сомневаться, об одном ли человеке идет речь.

Скажем прежде всего несколько слов о тех, кто пожелал изобразить Макиавелли создателем макиавеллизма. Это официальная церковь, монархическая власть. Именно они предприняли попытку однозначно истолковать Макиавелли как двуликого Януса с раздвоенным змеиным жалом. Они дружно использовали его имя, чтобы обелить свои бесчисленные преступления перед человечеством, чтобы, отмежевавшись от него, выставить себя в лучшем свете, чтобы снять с себя хотя бы часть ответственности за зло и жестокость созданного ими политического мира. Это не они, а он — учитель жестокости, наставник тиранов, гонитель свободы. Это не они, а он — враг народовластия, сторонник привилегий, проповедник авантюризма. Это не они, а он презирает народ и прославляет избранную касту вождей общества и государства.

Церковные власти еще при жизни Макиавелли с подозрением присматривались к острослову и балагуру, который постоянно высмеивал монахов, рассказывая скабрзные истории о похождениях и нравах капитула, не щадя даже имени самого папы. «Государь» не только укрепил эти подозрения, но внес крайнее напряжение в отношения Никколо Макиавелли с официальным Римом. «История Флоренции», которую Макиавелли возил к папе римскому, несколько поправила дело. А вот «Мандрагора», в которой в самой жалкой роли выведен представитель церкви, отнюдь не улучшала его отношений с римской курией.

Преследования усилились после смерти Макиавелли.

Причину этого нужно искать в социальных движениях, развернувшихся в середине XVI века под антиклерикальными лозунгами. Напомним, что первое издание «Государя», которое появилось в 1532 году, было разрешено папой Климентом VII. Но уже спустя десять лет начались гонения. Несомненно, это была реакция на бурно развивающуюся Реформацию, одним из лозунгов которой была борьба против папства. Между тем «Государь», так же как и «Рассуждения», давал острое оружие сторонникам церковной Реформации.

В 1540 году папа утвердил иезуитский орден, а в 1542 году восстановил в Италии инквизицию. Вскоре была введена церковная цензура печати, и как поветрие распространились преследования и казни представителей церковной оппозиции.

После того как Томас Кромвель (не путать с лордом-протектором Оливером Кромвелем) использовал «Государя» во время своего конфликта с Римом и английским королем в 1547 году, ожесточенные нападки высших чинов римской церкви на работы флорентийца еще более усилились.

В 1559 году против Макиавелли выступил папа Павел IV. В 1563 году Тридентский собор утвердил решение Павла IV о включении работ Макиавелли в «Индекс запрещенных книг». Правда, церковь странным образом сочетала в себе фанатичную нетерпимость с известным почтением к таланту. В 1572 году римская курия разрешила сыновьям Макиавелли (которые, кстати говоря, занимали высшие должности в церковно-бюрократическом аппарате) напечатать некоторые его сочинения, но только под псевдонимом. В течение двух столетий флорентийская академия Делла Крусс писала вместо «Макиавелли» — «флорентийский секретарь». С тех пор звание это прочно ассоциировалось с его именем, как будто не было других людей, занимавших в разное время эту должность.

Человек без имени. Человек известный, труды которого продолжают жить, волновать умы, вызывать горячие споры. Труды есть, а имени нет. Не правда ли, другую такую странную судьбу не скоро сыщешь?

Ну а что же светские власти? Им-то Макиавелли, казалось бы, должен был импонировать. Увы, нет. Злополучный флорентиец не преуспел в этом ни при жизни, ни после смерти. Представители монархической власти,

надо думать, втайне охотно пользовались советами, изложенными в «Государе», но публично — публично они неистово отмежевывались от Макиавелли. У Макиавелли не было более злобных преследователей, чем как раз те люди, которым он как будто протянул дружескую руку помощи.

Несомненно, что с момента опубликования «Государя» Макиавелли находился в состоянии перманентного конфликта со светскими властями не менее, чем с духовными. Парадоксально, но факт.

Наполеону приписывают фразу: «Тацит пишет романы, Гибон (английский историк, просветитель XVIII века. — Ф. Б.) не больше как человек звучных слов, Макиавелли — единственный писатель, которого стоит читать». По свидетельству биографов Наполеона, от этой фразы ему приходилось многократно отречься, как от никогда не произнесенной. В 1816 году были опубликованы «Комментарии Макиавелли Наполеоном Бонапартом». По мнению исследователей, это фальшивка антимакиавеллического и антинаполеоновского характера. Задолго до этого король Фридрих II написал брошюру «Антимакиавелли», в которой противопоставляет нарисованный им портрет государя портрету просвещенного прогрессивного монарха. Известную смелость проявил, кажется, только Мустафа III, который перевел «Государя» на турецкий язык.

Царское самодержавие в России выступило яростным гонителем самого имени Макиавелли. На протяжении длительного времени самодержавие не только запрещало издание работ Макиавелли, но даже их чтение считалось тягчайшим политическим преступлением.

В 1737 году состоялся известный процесс против русского государственного деятеля князя Д. М. Голицына, одного из наиболее просвещенных людей своего времени. Заметим, кстати, что его библиотека состояла из шести тысяч книг, в том числе на французском, английском, голландском, испанском, шведском языках. Одним из основных преступлений Д. М. Голицына суд признал чтение книг Макиавелли. Князь с трудом избежал смертной казни.

Этого, однако, не удалось избежать А. П. Волынскому — крупному государственному деятелю, который по иронии судьбы руководил судом над князем Д. М. Го-

лицыным. Как нередко бывало в России, Волинский сам был сторонником либеральных реформ и являлся автором известного проекта «Отправление государственных дел». Вокруг него собрался кружок прогрессивных людей, где знакомились с новейшей политической литературой Запада и обсуждали политическую жизнь России. В 1740 году А. П. Волинский был обвинен в замысле государственного переворота. Одним из самых тяжких его преступлений было признано чтение книг Макиавелли. Так судья и жертва оба оказались читателями Макиавелли и оба понесли наказание за него. Не странно ли: все, кто прикасался к этому имени, испытывали нечто похожее на политический ожог?..

Можно привести и другие примеры, которые подтверждают состояние глубокого озлобления самодержцев в отношении Макиавелли. Мы легко обнаружим, что первоначальный толчок мифа о макиавеллизме был дан властями. Обратимся, однако, к ученым, писателям, политическим мыслителям. Их оценки, по-видимому, имеют для нас несколько большую ценность.

Здесь мы сразу же сталкиваемся с чрезвычайно любопытным явлением. Все или почти все прогрессивные мыслители или деятели во все времена так или иначе воздают должное незаурядному таланту Макиавелли и ищут способа объяснить и даже оправдать его самые одиозные высказывания*.

Один из современных французских авторов, Жорж Муни, насчитывает по меньшей мере пять интерпретаций взглядов на великого флорентийца. Мы не будем воспроизводить предложенную им схему. Приведем лишь некоторые из наиболее распространенных интерпретаций, разграничивающих Макиавелли и макиавеллизм.

Первое толкование взглядов Макиавелли родилось еще при его жизни. Оно заключается в том, что Макиавелли выступает в роли «макиавеллического писателя», что его книга «Государь» с двойным дном: она нарочно

* Антонио Грамши тонко заметил это парадоксальное противоречие между толкованием властей предрержавших и прогрессивных мыслителей в следующих словах: «Двойная интерпретация Макиавелли со стороны тиранических государственных деятелей, которые стремятся сохранить и усилить свое господство, и со стороны либеральных тенденций, желающих преобразовать форму управления».

написана в манере откровенных советов тиранам, чтобы лучше разоблачить их жестокость и беспринципность в глазах народа. Имеются сведения о том, что уже при жизни Макиавелли многие именно в таком духе воспринимали эту работу, а отвращение к ней со стороны светской и духовной власти только подтверждало этот взгляд. Сам Никколо в одном из писем также намекает на такое истолкование своего замысла.

Именно в этом духе интерпретировали «Государя» французские просветители. Жан-Жак Руссо вслед за Дидро сделал следующий вывод: «Макиавелли был порядочным человеком и добрым гражданином», но, будучи связан с домом Медичи, он был вынужден, когда отечество его угнетало, скрывать свою любовь к свободе. Один только выбор его отвратительного героя (Цезарь Борджа. — Ф. Б.) достаточно обнаруживает его тайные намерения, а сопоставление основных правил его книги о «Государе» с принципами, изложенными в его же «Рассуждениях на первые три книги Тита Ливия», и его «История Флоренции» доказывают, что этот глубокий политик имел до сих пор лишь читателей поверхностных или развращенных. Римская курия наложила на его книгу строжайший запрет. Еще бы. Ведь именно папский двор Макиавелли изображал наиболее прозрачно. Делая вид, что он дает уроки королям, он преподавал великие уроки народам. «Государь» Макиавелли — это книга республиканцев» *.

К этой точке зрения склонялся и Спиноза. Он отвергает попытку объяснить макиавеллизм только как отражение жестокости эпохи Людовика XII, Фердинанда Католика, Цезаря Борджа. Он выдвигает иное объяснение, которое, по его мнению, выражает самую суть произведений Макиавелли, большим поклонником которого он был, и называет его не иначе как «остроумнейшим». Спиноза разграничивает понятие «политика» и понятие «нравственность». И дело вовсе не в том, что Макиавелли отделял политику от нравственности и считал нравственные требования к ней неприложимыми. Дело в том, что он понимал политику исключительно в римском смысле, когда свобода и благо отдельной личности приносятся в жертву общей цели и укреплению государства.

* Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969, с. 204.

Другое, и весьма распространенное, толкование Макиавелли идет через понятие патриотизма. Макиавелли — великий патриот, борец за единство Италии — такова одна из наиболее распространенных точек зрения.

Ряд исследователей возражает против того, чтобы целиком выводить мировоззрение Макиавелли из патриотизма. Ссылаются на тот факт, что Макиавелли в течение 14 лет (1499—1513) участвовал в управлении Флоренцией и что его политика была исключительно флорентийской, а никак не общетальянской. Утверждают, что патриотизм его часто носил местнические черты. Ссылаются, например, на то место в его «Рассуждениях», где он с гордостью подчеркивает, что Данте и Петрарка писали по-флорентийски, а не по-тоскански и не по-итальянски. Основное возражение таких исследователей состоит в следующем: остается неясным, по их мнению, почему патриотизм и борьба за национальное единство должны были привести Макиавелли к откровенной проповеди беспринципности, к апологии тирании.

В XIX веке, когда в политическую философию проникло понятие историзма, весьма распространенной стала трактовка «Государя» и других трудов Макиавелли как исторического зеркала своего времени.

Некоторые современные интерпретаторы Макиавелли довели эту точку зрения до крайности, утверждая, что Макиавелли не более как хроникер, излагающий факты политической жизни Италии XVI века.

Первые публикации в России в защиту Макиавелли исследователи относят к началу XIX века*. Журнал «Русский вестник» опубликовал «Выписки из Макиавелли о войне римлян», сопроводив их следующими словами: «...Известно, что Макиавелли в бедственные времена отечества своего посвящал ему труды, спокойствие и жертвовал ради общей пользы всеми личными своими выгодами. Кто поступает так, тот подает лучший пример человечеству. Вот несомненная защита для Макиавелли».

Интересное толкование политических взглядов Макиавелли дал А. С. Пушкин. С присущей ему тонкой интуицией он увидел в Макиавелли «великого знатока

* См.: Ян Малярчик. Политическое учение Макиавелли в России в русской, дореволюционной, советской историографии. Люблин, 1960, с. 17—18.

природы человеческой». Знаменитый русский историк П. Н. Грановский подметил разнообразие и противоречивость оценок Макиавелли, в особенности мотивов написания им «Государя». Он писал: «Одни говорят, что Макиавелли написал эту книгу («Государь». — Ф. Б.) как низкий льстец, другие видят в ней скрытые намерения обличить этими советами страшную политику большей части князей той эпохи, заклеить их перед целой Италией этой исповедью».

В XX веке в связи с проникновением социологического анализа в философию и историю, а затем и превращением теории власти в самостоятельную науку в буржуазной историографии возникло толкование Макиавелли как основателя политической науки. Западноевропейские и американские политологи и социологи, особенно те из них, которые стоят на позициях позитивизма, с особым удовлетворением отмечают, что Макиавелли был первым, кто рассматривал политику не как теорию, а как практику, что он отделил политику от морали и религии, рассматривая политику как самостоятельный предмет научного анализа, не затуманенный теологией и официальной моралью.

Мы могли бы привести и другие точки зрения, по-своему интерпретирующие наследство флорентийца. Но есть ли в этом нужда? Думается, читатель уже убедился, что каждая эпоха вносила в трактовку этого философского сюжета свое понимание. Оно определялось не только объектом, но и субъектом, тем, кто писал о Макиавелли, когда писал и в каких целях. Читатель мог убедиться и в другом: все эти оценки не решали загадки Макиавелли.

Надо с сожалением отметить, что советская литература о Макиавелли чрезвычайно скудна. У нас нет ни одной книги, ему посвященной. Можно насчитать лишь несколько статей, опубликованных главным образом вместе с сочинениями великого флорентийца.

К этому следует добавить, что нашему читателю неизвестны многие работы Макиавелли. Лишь в 1934 году был опубликован на русском языке первый том его сочинений. В эту книжку небольшого формата, кроме «Государя», переименованного в «Князя», вошла еще «Мандрагора», несколько новелл и некоторые из дипломатических документов, написанных Макиавелли. Только недавно после 40-летнего перерыва в серии «Литера-

турных памятников» была издана «История Флоренции» Макиавелли. Однако советский читатель не был знаком с «Рассуждениями на первые три книги Тита Ливия», «Военным искусством», эпистолярными и другими работами Макиавелли.

Весьма любопытную трактовку Макиавелли дал в 20-е годы историк В. Максимовский*. Основная мысль его работы заключалась в том, что Макиавелли, вынашивая идею республиканского строя, полагал, что на переходный период должна существовать диктатура и сильная власть, которая подготавливает условия для торжества республики. Иными словами, Максимовский переносил схемы тогдашних представлений о диктатуре пролетариата, необходимой на этапе перехода от капитализма к социализму, на свою характеристику взглядов Макиавелли. Такая модернизация лишней раз показывает неисчерпаемость нашего объекта исследования: даже марксистские авторы не избежали соблазна истолковать Макиавелли в духе своих представлений и подогнать его учение под уже готовые, сложившиеся схемы.

Самое значительное из того, что опубликовано советской историографией по поводу Макиавелли, — это, несомненно, вступительная статья А. К. Дживилегова к упоминавшемуся изданию первого тома сочинений флорентийца. Она представляет собой талантливое и эмоциональное произведение человека, глубоко знающего эпоху Возрождения, человека увлеченного, страстного, полемичного. Выполненная в превосходном стиле, она захватывает воображение читателя, одновременно снабжая его многими впечатляющими фактами, рисующими картину эпохи, жизнь и быт Флорентийской республики, положение итальянских государств в мире, культуру Возрождения. Ко всему этому надо добавить, что А. К. Дживилегов впервые более или менее полно использовал марксистские оценки и марксистскую методологию исследования идейного наследства флорентийского секретаря.

Там и здесь в его статье разбросаны впечатляющие находки, которые ставят его работу на порядок выше многих фундаментальных западных исследований.

Но мы были бы не вполне откровенны с читателем,

* См.: «Историк-марксист», 1929, № 13.

если бы не поделились некоторыми сомнениями, которые усиливались тем больше, чем основательнее проникаешь в основной замысел А. К. Дживилегова, в своеобразии интерпретации социальных и политических воззрений Макиавелли. Сделав крупный шаг вперед, он не избежал, однако, противоречий и односторонностей, столь характерных для подавляющего большинства макиавеллистов.

Странно, но А. К. Дживилегов мало внимания уделяет четырнадцатилетнему периоду, когда Макиавелли находился на службе у Флорентийской республики, хотя это главные годы его политической биографии.

Этот факт не имел бы сколько-нибудь существенного значения, если бы не был связан с куда более важной ошибкой А. К. Дживилегова. Он слишком увлекся толкованием «Государя» и не поставил его в ряд с другими, не менее, а быть может, более важными работами Макиавелли. Отсюда родилось его убеждение в том, что Макиавелли всю свою жизнь промечтал о великом диктаторе, который мог бы осуществить патриотическую идею национального объединения Италии. Дживилегов подробно описывает, как флорентиец переходит от одного увлечения к другому, от Цезаря Борджа к Джулиано и Лоренцо Медичи, а затем к Джованни Медичи. В таком изображении Макиавелли выглядит безусловным сторонником тиранической власти, оправдываемой весьма призрачными надеждами на всеитальянское единство. Тогда беспринципные советы, выраженные в «Государе»*, выглядят как выражение сокровенной сущности взглядов флорентийца, а противопоставление политики морали служит доказательством его личной безответственности.

С этой точки зрения нельзя признать удачным, что А. К. Дживилегов поместил в первом томе сочинений Макиавелли вместе с «Государем» более позднюю «Мандрагору» и обошел «Рассуждения». Куда разумнее поступили дореволюционные русские издатели, которые опубликовали «Государя» и «Рассуждения» в одной книге, приглашая тем самым всесторонне рассмотреть мировоззрение автора этих работ.

Теперь, когда я в силу понятных профессиональных пристрастий отвел душу пускай в беглом обзоре литера-

* См.: Н. Макиавелли. Соч., т. 1, 1934, с. 20, 24, 56, 64 и др.

туры о Макиавелли, позвольте мне высказать вытекающее отсюда мое собственное суждение.

Исходную позицию для того, чтобы выбраться без больших потерь из хаоса суждений о великом флорентийце, дает понятие историзма.

Макиавелли, как, впрочем, и любой другой мыслитель, может быть понят только в контексте своей эпохи. Об этом раньше и, может быть, лучше других сказал Гегель.

«В период несчастий, когда Италия вверглась в упадок и была полем ведомых иноземными властителями битв, — писал Гегель, — в то же время, как она поставляла средства для этих войн и была в то же самое время военным трофеем; когда немцы, испанцы, французы, швейцарцы обдирали ее и иностранные правители решали судьбу этой нации, взволнованный глубоким чувством этого всеобщего страдания, этой вражды, этого беспорядка или этой потери один итальянский политик с холодной осмотрительностью замыслил идею освобождения Италии посредством объединения ее в единое государство. Весьма неразумно рассматривать развитие идеи, которая формировалась посредством наблюдений условий Италии так, как будто бы это является беспристрастным обзором моральных и политических принципов, адаптированных ко всем условиям и, таким образом, ни к каким условиям. Необходимо читать «Государя» с учетом предшествовавших Макиавелли столетий и современной ему истории Италии, и тогда эта книга не только оправдана, но раскроется как концепция, обеспеченная истиной весьма щедро, обязанная аутентичному политическому гению самого великого и благородного ума».

С этих позиций мы и можем сделать свой главный упрек большинству тех, кто писал о Макиавелли.

В самом деле, мы видели, что самое распространенное рассмотрение этого вопроса в посвященной ему историографии нередко ограничивалось жесткой антитезой: монархия — республика. Был ли сторонником монархии или республики этот безнравственный или высоконравственный человек — вот что более всего волновало историков да и философов, оценивающих Макиавелли. Но это и есть антиисторический подход.

Одни его шумно осуждали и осуждают за приверженность к тирании, за апологетику худших форм дик-

таторской власти; другие искали способ как-то оправдать его, обнаружить двойной смысл в его максимах, рассчитанных будто бы на то, чтобы изнутри разоблачить жестокость и безнравственность единоличной власти, и подчеркивали всячески республиканизм флорентийского секретаря. Все это, как мне кажется, резко сужало поле исследований идейного наследства флорентийца и, что особенно плохо, мешало обнаружить подлинно новаторский дух впервые выдвинутых им научных принципов.

Сводить все к антитезе — монархия или республика — прежде всего неисторично. Италия была обильно представлена и монархическими и республиканскими режимами, и светской и церковной властью. В самой Флоренции на протяжении жизни Макиавелли формы власти менялись несколько раз. Его юность проходила при Лоренцо — поистине Великолепном, — затем пришла ничтожная власть Пьеро Медичи, затем господство религиозного проповедника Савонаролы, затем республика Пьеро Содерини, затем снова диктатура Медичи, и, наконец, была снова восстановлена республика. На его глазах в других итальянских областях и провинциях создавались, угасали и гибли княжества, герцогства, республики, личные диктатуры. А за пределами Италии почти везде господствовал монархический режим. Республиканский строй удерживался лишь в некоторых городах Европы, которые выглядели как небольшие оазисы в египетских пустынях абсолютизма.

Итак, история в эпоху Возрождения отнюдь не была озабочена проблемой республики. Ее волновали в ту пору совсем другие проблемы.

Первое — объединение государства, как правило, на основе абсолютизма, и второе — высвобождение светской власти от религиозной, точнее церковной, власти. Все бесчисленные внутренние и внешние войны, раздоры, конфликты, смуты на всем Европейском континенте, подобно бесчисленным ручейкам и потокам, в конечном счете направлялись историей в это русло. Параллельно с этими прозаическими целями история поставила на очередь дня высвобождение духа из-под религиозной оболочки, великое Возрождение культуры.

Коперник, Галилей, Лютер, Кальвин, Данте, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Кампанелла, Шекспир и, наконец, Никколо Макиавелли произвели такой залп по

крепостям псевдохристианских ценностей, который, подобно утреннему зареву, осветил небо над головой человечества на многие столетия вперед.

Атака была предпринята со всех сторон, хотя поначалу она и могла показаться хаотичной. Учение о мироздании, Земля, Солнце, звезды, вселенная, природа человека, наука, искусство, гражданское общество, политическая власть, мораль, нравственность, право, вера — ничто не ускользнуло от внимания титанов Возрождения. Все подвергалось пересмотру, все рассматривалось заново, все взвешивалось на вдруг обретенных весах точного знания и человечности.

Макиавелли всей своей душой и талантом целиком, без остатка в этом потоке. У него свой участок, и участок, пожалуй, самый трудный. Власть и политика — это сфера самого острого столкновения противоречий людей, групп, классов, политических систем. Властители тогдашней Италии, все эти князья, герцоги, папы, кондотьеры, вожди враждующих республиканских партий, нередко представляли собой клубок змей, для которых яд и кинжал были обыденными средствами достижения успеха.

Несмотря на свою захваченность междоусобной борьбой, эти люди с наибольшей злобой готовы были ополчиться на того, кто посмел бы сорвать занавес, за которым они играли в свои гнусные игры, — показать их публике без прикрас, без грима, без масок. Святость власти, какой бы она ни была, — это высшая религиозная нравственная норма средневековья — вот где был идеологический гранит, быть может, даже более твердокаменный, чем учение о Земле как центре мироздания. Кто посмел в то время дробить этот гранит, рискуя собственной шкурой не только здесь, в земной юдоли, но и там, в небесной? Посмел Макиавелли.

Мы видели, что мысль Макиавелли означала большой шаг вперед от формально-правового и религиозно-схоластического мифа власти к социологическому мифу власти. Это выразилось прежде всего в обнажении политических ценностей эпохи.

Если подходить с такой точки зрения к вопросу, то станет самоочевидным, что антитеза — монархия или республика — не могла покрыть всю систему политических идеалов и ценностей Макиавелли. Конечно, тысячу раз правы те, кто утверждает, что все симпатии

Макиавелли были на стороне республики. Основной его труд «Рассуждения» целиком посвящен проблеме власти в условиях республики и не оставляет даже тени сомнения относительно предпочтений автора. Но мало, абсолютно недостаточно ограничиваться суждением, высказанным Руссо: Макиавелли был добрый гражданин.

Да, несомненно, это был великий итальянский патриот с огненной душой итальянца, влюбленного в римскую древность — эту колыбель европейской цивилизации. Но сказать так — значит сказать не всю истину. За бортом остается тогда «Государь» с его обнаженными советами, адресованными тиранической власти.

Подобный релятивизм, который подвергает сомнению любые ценности, ставя их в зависимость от обстоятельств места и времени, был связан с представлениями Макиавелли об историческом процессе. Макиавелли не верит в прогресс в том смысле, в каком в него стали верить в XIX и XX веках. Для него развитие человечества и в особенности политическая история — это круговорот, постоянная смена одних и тех же политических форм с неизбежным возвращением на прежние пути и дороги.

Да и как могло быть иначе, если даже самое поверхностное сравнение социального и культурного развития современного ему общества с древностью говорило не в пользу настоящего, а в пользу прошлого? Древний Рим явил в его глазах такие образцы духовного и политического развития, которые надо раскопать из-под пепла, принесенного веками господства клерикализма и засилья варваров. Само понятие Возрождения и родилось из ностальгии, из глубокой неудовлетворенности настоящим.

В своем понимании круговорота политических форм жизни Макиавелли, кроме прочего, следовал древним мыслителям. Начиная от Аристотеля и до разбираемых им книг Тита Ливия, политическая жизнь неизменно рассматривалась как повторяющиеся исторические переходы в рамках одних и тех же политических форм. Аристотель называл три основные политические формы — монархию, аристократию и народное правление и три неосновные, или извращенные: тиранию, олигархию и анархию. У Макиавелли мы находим, по сути дела, ту же самую схему.

«...Я замечу, как все, писавшие о республиках, что есть три рода правительств, а именно — монархия, ари-

стократия и народное правление; из этих трех видов правления должны какое-нибудь выбрать те, кому придется устраивать правление в городе, давая предпочтение правлению, которое покажется для них удобнее. Иные, и притом, по мнению многих, более мудрые, думают, будто видов правления шесть, из коих три дурны во всех отношениях, а три другие сами по себе хороши, но так как их трудно поддерживать, то и они также становятся пагубны. Хороши три, уже названные нами; три другие вытекают из них и дурны; и каждый из них так похож на соответствующий ему хороший, что они легко переходят один в другой: монархия легко обращается в тиранию; аристократия часто переходит в правление небольшого меньшинства (олигархия); народное правление без труда превращается в совершенную распущенность. Таким образом, законодатель, утверждающий в городе одно из этих трех правлений, водворяет его ненадолго, потому что у них нет средства предупредить переход из хорошего в дурное, так как здесь добро и зло слишком близки друг к другу» (Р., 126—127).

Дальше идет описание перехода одной политической формы в другую (главным образом социально-психологическое), которое завершается следующими словами: «Таков круг, в котором вращались и вращаются правления всех республик; однако они редко возвращаются к тому, из чего вышли, потому что в них редко сохраняется столько жизненной силы, чтобы пройти, не погибнув, несколько раз этот круг. Обыкновенно бывает, что среди этих переворотов республика, лишенная силы и руководства, делается добычей соседнего государства, которое управляется лучше, чем она. Но, предположив, что этого не случится, она должна будет вращаться в этом круге бесконечное время» (Р., 128, 129).

Не здесь ли кроются корни многих взлетов и падений его мысли? Процесс смены политических форм представляется ему бесконечным, при этом каждая форма несет сама в себе зародыш своего умирания, отрицания. Ничто не утверждается навечно. И ничто не имеет абсолютной ценности, все повторяется вновь и вновь, возвращаясь к своему началу.

Такой взгляд на вещи должен был порождать ощущение безысходного исторического пессимизма. Трудно смириться с мыслью, что то, вокруг чего хлопчешь не ты один, а целое поколение людей, обречено на умира-

ние, на исчезновение, на перевоплощение в другую форму. Подвиг Брута так же лишен смысла в исторической перспективе, как нелепый поступок Герострата, ибо в конечном счете ни тот, ни другой не оставили ничего, кроме своего имени. Республика, за которую Брут не пожалел поднять руку на Цезаря — человека, перед которым он преклонялся, эта республика все равно не устояла под ударами жизни. Но вместо Цезаря ее оседлали куда менее достойные правители.

Мысль о круговороте форм политической жизни определено была навеяна изучением древних — их опыта и их взглядов на вещи. Быстрая смена форм политической жизни в греческих и итальянских городах, победы и поражения в оборонительных и наступательных войнах, неожиданное возвышение городов-государств и их полное уничтожение другими народами, вся эта пестрота и мозаичность режимов власти, от которых рябило в глазах, должны были рождать ощущение, что все преходящее, что все подвержено зарождению, развитию, разложению и гибели.

Сам по себе этот взгляд не был оригинален. Аристотель в своей «Политике» не только дал описание основных форм политической власти, государственного устройства, но и указал на сменяемость этих форм; на пути перехода от монархии через аристократию к демократии.

Макиавелли и не скрывает, что он позаимствовал этот взгляд у древних. Ему принадлежат здесь, пожалуй, только две мысли. Первая — о закономерности смены форм политической власти, и вторая — бóльший упор на социально-психологические характеристики государей, республиканских лидеров, социальных групп, мотивов, лежащих в основе политических действий.

Описывая монархию в ее первоначально возникшей форме избираемой монархической власти, Макиавелли видит главную причину ее разложения в том, что, сделавшись наследственной, а не избирательной, она сейчас же стала вырождаться, потому что сделалась ненавистна народу, и тогда возникла тираническая власть. Отсюда появились заговоры и планы против монархии со стороны людей сильных и благородных, которые возглавляли борьбу народа против тирании, добивались ее низвержения, устанавливали новую власть. Эта республиканская власть сохраняла себя, пока сохранялись ле-

жащие в основе принципы гражданского равенства. Однако она была подвержена коррозии по причине перерождения людей, возглавляющих демократическое государство. Предавшись алчности и честолюбию, такие люди обращали аристократическое управление в олигархию, попирая права граждан. Затем являлся человек, который при помощи толпы низвергал и это правление и устанавливал монархический режим и т. д. и т. п. В основе опять-таки мы видим страсти человека, как внутренний источник изменений в обществе и государстве.

Исторический пессимизм Макиавелли не приводил его, однако, к политическому пессимизму. Он весьма органично уживался со страстностью политического борца, активно реагирующего на события современности. Но он в то же время устанавливал некие рамки проявления собственных чувств, собственных политических симпатий и антипатий. Понимание сменяемости политических форм, нестабильности каждой из них заставляло Макиавелли рассматривать в одном ряду монархию, республику, аристократию, олигархию и рассуждать о них как об исторически закономерных, неизбежных формах политической жизни человеческого общества. Вероятно, ему и в голову не могла прийти мысль о том, что человеческое общество когда-нибудь придет к полному отрицанию монархической формы власти и навечно создаст гарантии свободы и равенства.

Вот где кроется, на мой взгляд, разгадка Макиавелли. Хорошо сознавая относительность любых форм власти, увлеченный мечтой о всеитальянском воссоединении, он был готов использовать любые средства для решения этой задачи. Его советы властителям — деятелям республики и единоличным государям того времени, вытекали из этого чистого и благородного источника.

Таково мое мнение.

Суждение Писателя: *Политический художник.*

Некоторая горячность, высказанная Историком, объясняется, по-моему, тем, что он все же не вполне проник в своеобразие личности Никколо Макиавелли. Если высказать суждение в краткой формуле (а нашему брату Писателю это дается не так легко!), то можно сказать, что Макиавелли — *политический художник.*

Прежде всего мне хотелось бы сделать два небольших возражения Исторiku. Я заранее прошу извинения за то, что вторгаюсь в его сферу деятельности; испытывая глубочайшее почтение к эрудиции Историка, я все же вынужден в поисках разгадки своеобразия характера и таланта Никколо Макиавелли поразмышлять над историческими обстоятельствами его прижизненной и посмертной судьбы.

Итак, мое первое возражение. Наш Историк совершенно справедливо выводит особенности личности и творчества Макиавелли из особенностей эпохи Возрождения. Но он не задумывается над обратной связью: само своеобразие личности титанов той эпохи и создало то, что получило восторженное наименование Возрождения человеческого духа.

Попытка Историка вывести Макиавелли из эпохи Возрождения бесспорна, более того, элементарна, так же как и его филиппики против антиисторизма. Но откуда вывести эпоху Возрождения — вот в чем вопрос! Сама она олицетворена сравнительно небольшой группой уникальных личностей, титанов, за пределами деятельности которых, собственно, нет никакого Возрождения. Изымите их имена из истории XIV—XVI веков, и у вас останется банальное продолжение средневековья.

Чтобы сделать эту мысль ясней, я сошлюсь на размышления писателя, который одновременно был одним из самых тонких исследователей итальянского Возрождения. Этот писатель и мыслитель — Стендаль, автор «Истории живописи в Италии» и «Итальянских хроник, повестей и новелл». Замечу мимоходом, что лично для меня с ранней молодости моей и до сегодняшнего дня Стендаль служил образцом социального писателя, который искал и находил живую ткань, связующую эпоху, среду и человеческий характер. Пусть этот — я понимаю, очень личный — мотив извинит меня в глазах читателя за приводимые ниже обширные выписки из названных произведений Стендаля.

«В этот-то век страстей, когда души могли открыто отдаваться величайшему неистовству, появилось такое множество великих художников; замечательно, что один человек мог бы знать их всех. Если бы, допустим, он родился в том же году, что Тициан, то есть в 1477-м, он мог бы провести сорок лет своей жизни с Леонардо да Винчи и Рафаэлем, из которых первый умер в 1520-м, а

другой в 1519 году; он мог бы прожить много лет с божественным Корреджо, который умер только в 1534-м, и с Микеланджело, который дожил до 1563 года.

Этому человеку — великому счастливцу, если бы он любил искусство, — было бы тридцать четыре года, когда умер Джорджоне. Он мог бы знать Тинторетто, Бассано, Паоло Веронезе, Гарофало, Джулио Романо, Фрате, умершего в 1517 году, милого Андреа дель Сарто, который дожил до 1530 года, — словом, всех великих художников, кроме болонцев, явившихся на сто лет позже.

Почему же природа, столь плодovitая в этот небольшой промежуток времени, в сорок два года, от 1452 до 1494 года, когда родились все эти великие люди *, стала потом так ужасающе бесплодна? Этого, вероятно, ни вы, ни я никогда не узнаем.

Гвиччардини утверждает, что никогда после блаженных дней императора Августа, осчастливившего сто двадцать миллионов подданных, Италия не была столь счастлива, богата и безмятежна, как около 1490 года...

Таким образом, блестящая эпоха живописи была подготовлена столетием покоя, богатства и страстей, но расцвела она среди битв и государственных переворотов.

Когда окончилось это столетие славы и поражений, Италия, хотя и истощенная, все же могла бы продолжать свое славное шествие вперед, но после того, как великие европейские державы перенесли свою борьбу на территорию других стран, Италия оказалась в когтях унылой монархии, свойство которой — губить все...

В конце XV века, в эпоху благополучия, отмеченного Гвиччардини, Италия в политическом отношении представляет собой картину, сильно отличающуюся от остальной Европы. Всюду мы видим обширные монар-

* Леонардо да Винчи родился возле Флоренции в 1452 году, умер в 1519 году, 67 лет. Тициан родился около Венеции в 1477 году, умер в 1576 году, 99 лет. Джорджоне родился около Венеции в 1477 году, умер в 1511 году, 34 лет. Микеланджело родился во Флоренции в 1474 году, умер в 1563 году, 89 лет. Фрате родился в Прато, около Флоренции, в 1469 году, умер в 1517 году, 48 лет. Рафаэль родился в Урбино в 1483 году, умер в 1520 году, 37 лет. Андреа дель Сарто родился во Флоренции в 1488 году, умер в 1530 году, 42 лет. Джулио Романо родился в Риме в 1492 году, умер в 1546 году, 54 лет. Корреджо родился в Корреджо, в Ломбардии, в 1494 году, умер в 1534 году, 40 лет.

хий, здесь же множество небольших независимых государств. Единственное королевство — Неаполитанское, совершенно отодвинуто на второй план Флоренцией и Венецией...

Флоренция, эта республика без конституции, где тем не менее ужас перед тиранией воспламенял все сердца, обладала бурной свободой, матерью великих характеров. Так как представительный образ правления не был еще изобретен, лучшие из ее граждан не могли достигнуть свободы и уничтожить партии. Беспреданно приходилось прибегать к оружию против дворян; но гений народа убивают не бедствия, а унижения...

Внук Козимо, Лоренцо Великолепный, был одновременно великим государем, счастливым, привлекательным человеком. Он властвовал, в большей мере пользуясь хитростью, нежели принижая чрезмерно достоинство своего народа; как умному человеку, ему были противны пошлые царедворцы, которых в качестве монарха он должен был бы награждать. Купец необычайно богатый, как и его дед, он проводил жизнь в обществе таких выдающихся людей своего века, как Полициано, Халкондил, Марсилио, Ласкарис, и в политике был изобретатель...

Он любил молодого Микеланджело, с которым обходился как с сыном: часто он призывал его к себе, чтобы порадоваться его пылкому восхищению медалями и древностями, которые сам он собирал со страстью... Лоренцо, не будь он величайшим государем своего времени, стал бы одним из первых поэтов; судьба его вознаградила: у него на глазах родились или созрели великие художники, прославившие его страну: Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто, Фра Бартоломео, Даниэле да Вольтерра» *.

К этому блистательному списку имен мы по справедливости относим и Никколо Макиавелли. Собственно, сам Стендаль упоминает о нем мимоходом вместе с Боккаччо. Но поскольку его внимание концентрировалось на истории изобразительного искусства, он почти обошел молчанием писателей, поэтов и мыслителей Возрождения.

И дело не только в эпохе. Мы не стали бы так прямолинейно, как это сделал наш Историк, выводить все

* Стендаль. Собр. соч., т. 6. М., 1959, с. 23—30.

творчество Макиавелли из эпохи. Талант так же своеобразен и неповторим, как отпечатки пальцев. Если бы Рафаэль не написал «Сикстинскую мадонну», то ни один из его современников — ни Микеланджело, ни Тициан — не восполнил бы эту величайшую потерю для мирового искусства. Так же, впрочем, как и Микеланджело никогда не написал бы «Мону Лизу». Если бы Макиавелли погиб в тюрьме, не успев написать ни «Государя», ни «Рассуждений», ни «Истории Флоренции», никто из его современников, включая талантливейшего Гвиччардини, не выполнил бы это за него. Эпоха эпохой, а личность есть личность. Именно поэтому социологический анализ для полноты картины должен быть дополнен художественным проникновением в природу самой души человека.

Не могу еще раз не вспомнить Стендаля. В «Итальянских хрониках» он писал: «Я заметил, что в Англии и в особенности во Франции часто говорят об *итальянской страсти*, необузданной страсти, которую можно было наблюдать в Италии шестнадцатого и семнадцатого веков... Так называемая *итальянская страсть*, то есть страсть, которая стремится к удовлетворению, а не к тому, чтобы вызвать восторженное изумление окружающих, начинается в эпоху возрождения общества, в XII веке, и исчезает — по крайней мере у людей хорошего тона — около 1734 года».

Итальянская страсть — это прямо о Макиавелли!

Теперь второе возражение Историка. В своем кратком, но занимательном обзоре литературы о Макиавелли он, увы, подобно многим своим коллегам, обошел один-два весьма неудобных для толкования сюжета. Сюжет первый — отношение фашизма к наследию флорентийца; сюжет второй — отношение к нему же левого революционаризма. Я понимаю, что, рассуждая об этих предметах, я вторгаюсь уже не только во владения Историка, но и в тщательно охраняемый заповедник Социолога. Но такова уж природа нашего брата писателя: мы пытаемся судить обо всем и схватить интуитивно то, что составляет предмет длительных исследований и раздумий профессионалов — историков, психологов, социологов, антропологов и др.

А в данном случае я могу лишь воскликнуть вслед за великим писателем: «Не могу молчать!» Я не могу и не хочу умалчивать о том, что Муссолини в раннюю по-

ру своей деятельности, когда он играл словами «социальная революция», «национальное возрождение Италии», «государственное величие», пытался опереться на высокий авторитет Никколо Макиавелли.

В докладе на соискание степени доктора права в университете Болоньи Бенито Муссолини, исполненный самодовольства и наглости, говорил следующие слова: «Я хотел ограничиться возможно меньшим числом посредников — старых и новых, итальянцев и иностранцев — между Макиавелли и мной, чтобы не мешать случаю прямого контакта между его доктриной и моим жизненным опытом, между его и моими наблюдениями о людях и вещах, между его и моей практикой управления». Муссолини ставит вопрос, могут ли советы Макиавелли иметь какую-то пользу для современных правителей, и отвечает на этот вопрос положительно.

Что же ему импонирует в Макиавелли? Первое — это негативное суждение о природе человека. Муссолини утверждает, что сейчас, спустя 400 лет, «в духе индивидуумов и народа не произошло глубоких изменений», что «люди стали хуже, а не лучше». «Времена изменились, но если бы мне было позволено судить моих ближних и современников, то я не смог бы никоим образом смягчить суждение Макиавелли. Возможно, я должен был бы усилить его».

Второе — это подавление личности, полное «подчинение личного интереса интересу государства». «В то время как индивидуумы подстрекаются своим эгоизмом к социальному тунеядству, — восклицает Муссолини, — государство представляет организацию и ограничение. Индивидуум имеет тенденцию постоянно уклоняться. Он склонен не повиноваться законам, не платить налогов и не воевать. Немного тех, кто — герои и святые — приносит собственное «я» на алтарь государства. Все остальные находятся в состоянии постоянного восстания против государства». Отсюда делается вывод о том, что только безусловное и абсолютное подчинение интересов личности и каждой социальной группы интересам государства может разрешить это противоречие и обеспечить силу и безопасность государства.

Третье — Муссолини усматривает у Макиавелли отрицание республиканской системы, а также механизма представительной демократии. Представительная система, утверждал Муссолини, принадлежит больше

механике, чем морали. Даже там, где эти механизмы широко применяются веками, наступают те торжественные часы, когда ничего больше не спрашивают у народа, так как чувствуется, что ответ может стать фатальным; с него срываются бумажные короны верховной власти — хорошие для благополучных времен, — и ему приказывается незамедлительно принять или революцию, или мир, или двинуться к неизвестности войны. Народу остается только односложно утверждать или подчиняться. На этом основании идеолог фашизма отрицал суверенность власти народа в государстве.

И наконец, последнее и главное, на чем делал упор Бенито, — это необходимость использования насилия во имя «великих целей». Он с особым удовольствием цитирует высказывания Макиавелли о том, что «вооруженные пророки побеждают, безоружные погибают». Муссолини сопоставляет это высказывание со своими выводами в статье «Сила и согласие» и доказывает, что только насилием можно обеспечить единство нации и благоденствие народа.

Так писал Муссолини в 1924 году. Впоследствии он стал больше камуфлировать идеологию фашизма и цели корпоративного государства. Откровенные суждения Макиавелли о природе и методах деятельности тиранической власти стали для него помехой, и он больше не прибегает к сопоставлению имен Муссолини — Макиавелли.

Конечно же, для меня безусловно, что Муссолини грубо и нагло исказил взгляды великого республиканца и патриота. И все же это толкование должно предостеречь нас против предпринимаемых некоторыми исследователями Запада попыток безусловной моральной реабилитации всего идейного наследия Никколо Макиавелли. Оно, это толкование, не типично ни для итальянского, ни тем более для немецкого и испанского фашизма. Но от него нельзя отмахнуться, как сделал наш высокочтимый Историк.

Фашистский диктатор — обнаженный террорист, звериной тех, кого описал Макиавелли в «Государе». И если Фридрих II еще прятался под маской просвещенного монарха и отвергал Максиму Макиавелли, то Муссолини открыто восторгался ими. Значит, все же Макиавелли где-то оступился и дал повод для зацепок Муссолини. Конечно, повод не причина. Никому не придет в

голову утверждать, что выстрел в Сараеве послужил причиной первой мировой войны. И все же повод — это повод.

Не в этом ли урок Макиавелли? Он не желал того, но чем-то дал возможность макиавеллического истолкования своих идей.

В этом моем мнении меня укрепляет и восторженное преклонение перед макиавеллизмом Иудушки Троцкого.

Уже будучи в изгнании, в одной из своих злобно-антисоветских книг он пытался оправдать возврат XX века к жестокостям эпохи Возрождения «величием задач» по коренному изменению современного общества.

Он утверждал, что мы живем, как в эпоху Возрождения, в переходном периоде между двумя мирами: умирающим буржуазно-капиталистическим и новым миром, который должен занять его место. В этом Иудушка Троцкий видел нравственное оправдание любых политических жестокостей. Он писал: «Еще раз новые времена принесли нам новую мораль... Было время, когда законы политической механики рассматривались как верх цинизма. Для Макиавелли борьба за власть была шахматной задачей. Проблемы морали не существовали для него, как они не существуют для бухгалтеров. Его задача состояла в определении политики, которая могла бы лучше обеспечить выполнение принятого решения, и в объяснении способа доведения решения до конца более жестким и обнаженным образом на основе опыта, накопленного в политических горнилах двух континентов. Этот способ подхода к проблеме объясняется не только самой задачей, а также характером эпохи, в которую была поставлена задача...»

Троцкий пишет, что в XIX веке (парламентском, либеральном, реформистском) Макиавелли вышел из моды и установилась «новая, высшая мораль», что «никто никогда не узнает, как XX век, который был подготовлен XIX веком, вернулся к морали Возрождения». «Это возвращение назад, к более глубокому макиавеллизму, кажется непостижимым для тех, кто до вчерашнего дня убаюкивал себя надеждой, что человеческая история движется согласно культурному и материальному прогрессу... Это неверно...»

Троцкий — здесь он прямо сходится с Муссолини — ищет оправдания насилию, войнам и политическому терроризму в величии целей эпохи. Но формулируемые им

цели существуют лишь в больном сознании политических фанатиков и маньяков. Тогда как средства — война, террор — это и есть реальная жизнь, горе и смерть миллионов и миллионов людей. Но у истории есть своя логика и свой счет: она не щадит проводников политического убийства. Не потому ли Муссолини нашел свою смерть на виселице, а Троцкий был убит ударом топора?

Я сознаю, больше того, я твердо знаю: все, что писали Муссолини и ему подобные о Макиавелли, об эпохе Возрождения, о современной эпохе, — это ложь, это подлая ложь с гнусными целями — оправдать низменность своих душ, своих побуждений, своих дел. Но мы не можем обходить молчанием эту ложь, не можем просто отмахнуться от нее, думая о загадке и уроке Макиавелли.

Теперь, когда я рассчитался не столько с умолчаниями Историка, сколько со своей собственной совестью, попробую сформулировать свое суждение о личности и жизненной позиции флорентийского секретаря.

Я говорил уже, что для меня он прежде всего и больше всего политический художник. Право же, не случайно он выбрал новеллу как основной жанр всего своего творчества. Я не оговорился — именно всего, включая политические трактаты. Ибо что такое «Государь» и «Рассуждения», если не сочетание маленьких новелл, как правило, основанных на изложении исторического факта, имеющих завязку, фабулу и морализующую концовку. Но дело не только в его приверженности к литературной форме.

Я полагаю, что ключ к пониманию Никколо Макиавелли дает шекспировская характеристика типа игрового человека. Подобно ребенку, который стремится превратить жизнь в сплошную игру, он также больше увлекался процессом игры, чем ее результатами. Его забавляла возможность обходить ее смешные правила, делать ловкий ход, угадывая заранее, каким будет ответ, притворяться слабым и незаметно проявлять силу, выглядеть проигравшим и выигрывать, прятать поражение за улыбкой — словом, жить, жить полной жизнью.

Для такой натуры правила принимаемой им игры нередко становятся выше его собственных жизненных правил: включаясь в игру Цезаря Борджа, он был готов оправдывать его как объединителя Италии и соз-

дателя великого государства; ведя игру Пьеро Содерини, он вместе с ним страдает по поводу каждого затраченного дуката, испытывая присущее флорентийцу себялюбивое чувство местного патриотизма, с презрением относясь к заживревшей конкурентке Флоренции — Венеции.

И только в своих литературных трудах он играл в собственные игры. Он надевал тогу древнеримского величия, и тогда главной его вожделенной целью становилась не Флоренция, а Италия, не маленькие страстишки торговцев и промышленников республики, а всеитальянская доблесть и всеитальянская культура. Но, даже находясь на таком высоком пьедестале, Никколо, вечно жадный до деятельности, порывистый, активный, увлекающийся, готов был бросить все и ринуться по самым ничтожным поручениям флорентийских негоциантов. Игра, одна игра на уме у этого гениального ребенка.

Словом, он был всем, чем угодно, только не создателем новой системы взглядов, подобных Канту, Фихте, Гегелю. Это была типичная художественная итальянская натура — живая и порывистая, пронизательная, глубокая и поверхностная, с неожиданными проблесками гениального провидения и неожиданными падениями в пропасть обыденных, сиюминутных интересов.

С этих позиций, как мне кажется, следует подходить к оценке тех противоречий, которые имеются в его основных произведениях — в «Государе» и в «Рассуждениях». Кроме того, нельзя, увы, игнорировать соображения весьма прозаического и житейского свойства. «Государь» был написан в пору, когда еще не выветрились иллюзии Макиавелли на возврат к государственной деятельности, и имел назначение содействовать в достижении им этой весьма прозаической цели. Вот вам еще один пример парадоксальности причинно-следственной связи: какому ничтожному поводу мы обязаны появлением столь великого произведения!

Поистине трудно сказать, что важнее в деятельности человеческой — мотивы или результаты. Как часто мы встречаемся с ничтожностью мотивов и величию результатов! Но еще хуже, впрочем, бывает обратное — ничтожность результатов при величии мотивов или замыслов. Сколько замечательных человеческих утопий, продиктованных самыми благородными и святыми чувствами, оборачивались на практике самыми отвратитель-

ными последствиями. Возьмите хотя бы историю папства со всеми ее изуверскими жестокостями, лицемерием и беспринципностью и сравните с самоотверженной чистотой подвига человека, который обрек себя на Голгофу во имя торжества того, что ему мнилось добром и истиной.

Мне кажется символичным и чрезвычайно характерным сравнение отношения Макиавелли и Шекспира к одной из наиболее спорных фигур Древнего Рима — Кориолану, который, как мы помним, вдохновил Шекспира на создание одноименной трагедии.

В отличие от Шекспира, нашедшего способ в конечном счете оправдать и возвеличить этого героя Древнего Рима, Макиавелли склонен осуждать его за его презрение к народу и ненависть к избранным им для защиты своей свободы — трибунам.

Но суть рассуждений Макиавелли, собственно, не в этом. Его интересует рассказанный Титом Ливием эпизод, когда Сенат спасает Кориолана, подвергшегося нападению плебеев; спасает для суда над ним, который приговаривает Кориолана к изгнанию. Макиавелли восхищается законностью предпринятого акта, остановившего мятежное и незаконное убийство и все же изгнавшего из пределов Рима доблестного военачальника за его неистребимое презрение к народу.

Шекспир иначе толкует эту тему. Его взволновал неукротимый и величественный характер доблестного человека, который остается верным себе и в своих заблуждениях и пороках, и в своих подвигах. Народные трибуны в изображении Шекспира выглядят как мелкие интриганы и недалёковидные политики, а сам народ — как колеблющаяся масса, способная идти за любым вождем; аристократия — как благородная, но ослабленная народом сила.

Неукротимый и необузданный Кориолан, честный и прямой, решительный и бескомпромиссный, в конечном счете возвышается над всеми чистотой и благородством духа своего. Изгнанный из города, Кориолан возвращается под его стены во главе огромного войска, составленного из врагов Рима. Его душу распирает жажда мести, и он грозит уничтожить все живое в Риме и сжечь дотла город. Он остается глух к призывам его бывших друзей-сенаторов, но все меняет свидание с матерью и женой, выписанное Шекспиром с великой худо-

жественной силой. Мать вызывает к его чувствам не только сына и отца, но и гражданина Рима. И Кориолан душил в себе свой гнев и жажду мести, отказывается от разрушения Рима и приемлет как воздаяние смерть от рук врагов Рима.

Макиавелли в отличие от Шекспира не взволнован запоздалым патриотизмом Кориолана. Его симпатии на стороне трибунов, осудивших героя. Сцена суда, которая выглядит у Шекспира как насмешка над справедливостью, как открытая провокация в отношении необузданного человеческого характера героя, вызывает у Макиавелли полное одобрение своей справедливостью и законностью. Вот вам живой пример Макиавеллиевой методологии: все зависит от поставленных целей. Для Макиавелли это в данном случае устойчивость республики, для Шекспира — гуманизм и справедливость в отношении личности, выпадающей из обычных рамок.

Оклеветанный в глазах общества и дома Медичи после падения республики Содерини, Макиавелли, которого волнует проблема гласности и права на защиту, посвящает одну главу в «Рассуждениях» специально этой теме: «Сколько обвинения полезны для республики, столько вредны клеветы» (Р., 146).

Попробуем еще раз заглянуть в самые глубинные и затаенные уголки сознания и чувств флорентийца. Я не случайно апеллирую к сознанию и чувствам. Мне кажется, что характеристика творчества человека независимо от того, идет ли речь о художнике или о мыслителе, не может быть оторвана от характеристики его личности.

Только проникнув ну хотя бы поверхностно в структуру личности, побудительные мотивы его поведения; весь его жизненный опыт; его темперамент, систему ценностей и предпочтений, словом, способ мыслить, чувствовать и жить, присущий индивидуально ему как личности и в то же время характерный для целого социального слоя, который он представляет, — только идя таким путем, мы можем составить верное представление и о системе его взглядов.

В отношении Макиавелли это в особенности необходимо.

Необходимо прежде всего потому, что он творил в эпоху Возрождения и был едва ли не наиболее типичным ее представителем. А в самой этой эпохе (да прос-

тит мне Историк и это вторжение в его область) было заложено глубочайшее противоречие! Взывая к разуму, она исходила из чувства, как ни одна другая эпоха. Беспредельно прочувствованный всеми участниками духовной жизни того времени глубокий протест против господства религиозного догматизма, умноженный на страстное и вместе болезненное преклонение перед величием духа Древнего мира, сделал инструментом духовной и социально-политической реформы разум, рационализм.

Джордано Бруно, Галилей, Коперник, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Петрарка, Данте, Кампанелла, Шекспир, Лютер и Кальвин — все они претендовали на высвобождение разума, хотя сами до предела были начинены, как взрывчаткой, чувством страстным, жгучим, чувством протеста против господствующих норм в жизни, в искусстве, в философии, в религии, в политике. Макиавелли был вдвойне представителем этой эпохи, поскольку он творил на поприще политики, которая всегда была наиболее острой ареной столкновения индивидуальных и социальных страстей.

Из всех темпераментных художников, поэтов, философов, мыслителей той эпохи он был едва ли не самым темпераментным, страстным, увлекающимся, активным и живым. В «Государе» он доходит до крайности в своей увлеченности идеей итальянского единства, которой он готов принести в жертву все самое дорогое для него — Свободу, Республику, Добродетель. Если не учитывать этого, то невозможно понять ни жестокие Максимы, адресованные тиранам в «Государе», ни опровержение этих Максим в «Рассуждениях», да и другие противоречия в его творчестве и в его поступках. Даже Микеланджело, этот воплощенный образец художника во всех проявлениях, должен был выглядеть эпическим человеком в сравнении с этой темпераментной и страстной натурой.

То был наиболее типичный характер политического художника эпохи Возрождения, которая выплеснула в сферу художественного и научного творчества все самое прекрасное и живое, что зрело в лоне итальянского духа.

Именно об этом свидетельствует и присущее Макиавелли понимание человеческого призвания, смысла жизни человека на земле. Он полностью порывает с хрис-

тианством и в этом пункте. Праведность и смирение как путь на небо, декларированный церковными догматами, с негодованием отвергаются Макиавелли. Для него смысл жизни — это проявление доблести, высших человеческих качеств, о какой бы деятельности ни шла речь. Макиавелли выстраивает шкалу ценностей человека — творца и преобразователя, где на первом месте идут создатели государств и великих религий, на втором — полководцы, на третьем — ученые и художники.

Человеческая доблесть — вот что более всего привлекает его в древней религии и древней политической жизни, у древних государственных деятелей и полководцев. Человеческая доблесть — вот что утрачено его современниками — из-за этого Италия пребывает в самом жалком состоянии.

Макиавелли — это певец человеческой доблести, храбрости, смелости, предприимчивости, энергии, глубины и гибкости ума, беззаветности в служении великим целям. Все ничто, все преходяще. Одни государства сменяются другими, одни народы завоевывают другие, одни религии уступают место другим. И только слава о человеке, о его великих подвигах, о его мастерстве переживает все времена и составляет главное достояние человеческого общества. Герои делают историю, и только героизм способен вдохнуть живую душу в любое восприятие.

Этим духом пронизаны все книги Макиавелли. Это придает им своеобразный аромат и объясняет многие крайности суждений и увлечений их автора. Он способен восхищаться, в сущности, почти любой личностью, независимо от нравственной оценки ее поступков, если видит в ней незаурядность, исключительность, способность к свершениям, к преодолению рутины и обыденщины. В этом смысле Макиавелли увлеченный романтик даже в большей мере, чем Кампанелла с его наивными мечтаниями о коммунистическом рае как ближайшей перспективе человеческого общежития.

Макиавелли верит в личность и стоит за становление личности и ее возвышение над серой массой. Его жажда незаурядности столь велика, что он готов восторгаться даже преступлением (вспомните Цезаря Борджа), если это преступление обнаруживает выдающиеся способности, яркую талантливость, пускай даже обращенную на дурные цели.

Откуда эта жажда героики в скромном деятеле небольшого республиканского государства? Навеяна ли она чтением Плутарха и Тита Ливия, которые с таким упоением повествуют о подвигах великих героев прошлого? Едва ли только этим. Само это чтение, сам интерес к этой истории были порождены уже сложившимся преклонением перед величию человеческого характера и ума. Скорее эту жажду следует искать в тех же истоках, откуда черпали все мыслители и художники эпохи Возрождения, для которых преклонение перед исключительностью личности, таланта, мастерства было законом жизни и творчества, оно рождалось из протеста против угнетенности религиозной мысли, нивелировавшей все живое и необычное, загонявшей в сухие стереотипы мышление и поведение человека.

Жажда величия водила рукой Макиавелли, когда он писал «Государя» и «Рассуждения». Не собственно величия, а величия человека вообще. Оглядываясь вокруг себя, он лихорадочно искал людей, способных к великим подвигам и великим преобразованиям, способных тем самым запечатлеть себя надолго в памяти человечества.

Во время своей службы республике Содерини он постоянно наблюдал торжество посредственности во всем, в особенности в делах государственных. Флоренция, зажата с разных сторон другими княжествами и республиками, подвергаясь опасности со стороны алчных французов и испанцев, вынуждена была вести хитроумную мелкую игру, чтобы только спасти свое существование. Политика Синьории была вся соткана из интриг, удачно достигаемых хитростью и ловкостью, а не смелостью и силой, и непрерывных поражений, смягчаемых ценою жертв, уступок, компромиссов, обмана.

Мелкая политика нуждалась в мелких политиках. И люди, которых Макиавелли мог наблюдать вокруг себя на поприще государственной жизни, не могли вызывать в нем иных чувств, кроме презрения и чувства превосходства. Сам он был незауряден как политический мыслитель, талантлив, ярок, энергичен, самоотвержен в своих действиях. Однако деятелем он не стал и не мог стать в силу свойств своего ума и характера. Способен ли был он сам творить зло, казнить соратников, обманывать друзей, угнетать народы, делать все, что он так легко рекомендовал другим? Едва ли. Во всяком слу-

чае, его практическая деятельность говорит против этого! Отсюда рождалось неумемное желание умножить свою интеллектуальную доблесть на доблесть политическую, стремление обрести деятеля, способного осуществлять его великие замыслы, и вдохнуть в такого деятеля силы для осуществления великих целей.

Макиавелли вряд ли понимал всю двойственность такого взгляда на призвание человека. Древнеримская героика как философия и как образ жизни плодотворна и опасна одновременно. Она плодотворна, поскольку ориентирована на максимальное развитие человеческой личности, на ее усовершенствование, на проявление всех заложенных в человеке возможностей. Но она может быть опасна, когда переносит центр тяжести в человеческой личности на нее самое, когда не ориентирована на добро как на цель человеческой деятельности, когда ставит превыше всего величие, независимо от того, куда направлены его векторы — в сторону благих или злых дел и поступков. Преступник может быть храбрецом и талантом, но он остается преступником по результатам своих действий. Фанатик может пожертвовать собой, но он остается фанатиком, иными словами, героика как самоцель ничто в сравнении с подлинным героизмом, обращенным на то, что действительно составляет ценность для существования рода человеческого.

Мы уже не раз говорили, что при чтении «Государя» и «Рассуждений» вас не покидает ощущение, будто перед вашими глазами возникают не одна, а две фигуры их авторов. В первом случае вы видите человека, напоминающего средневекового иезуита, какого-то черного кардинала, инквизитора — умного, безжалостного, циничного. И только последняя глава этой странной книги, написанной как будто в другую пору и по другому поводу, глава, пронизанная глубокой болью за страждущую, разъединенную Италию, за ее попранную свободу, страстной надеждой на возрождение итальянского величия, вдруг освещает все предыдущее новым неожиданным светом. Нет, пожалуй, «только» здесь не годится.

Есть еще одно, быть может, главное, что на протяжении всего времени, пока вы читаете «Государя», не позволяет вам принимать всерьез все эти жестокие и страшные советы, адресованные тирану, — быть безжа-

лостным, коварным, злобным, двусмысленным, уничтожать, душиТЬ, обманывать; есть нечто не позволяющее вам отождествлять все эти слова с образом человека, который изобразил их на бумаге. Это почти неуловимое «нечто» — тон, стиль, интонация, которая в конечном счете делает всю музыку произведения.

Чем больше вы вчитываетесь в эту книгу, тем больше вы чувствуете, что автор не несет ответственности за эти слова, как художник не отвечает за уродство лица, которое он взялся изобразить на холсте, как ассенизатор — за ароматы очищаемых им сточных ям, как хирург, вскрывающий омерзительный гнойник, прикрытый до этого нежным покровом кожи.

Музыку делает тон интеллектуального, нравственного превосходства, подобного тому, который испытывает судья, выносящий приговор, интеллектуального превосходства мыслителя, открывающего новый закон, эстетического превосходства художника, который снисходит до природы. Только эта интонация как-то примиряет вас с автором, хотя и не вполне, не до конца, не разрешая всех ваших сомнений о чистоте его побуждений, о его собственной жизненной позиции.

Когда же вы читаете трактат о республиках — «Рассуждения», его мысли о прошлом, настоящем и будущем государства, перед вашими глазами возникает другая фигура — образ патриота и гражданина, республиканца, горячо любящего свой народ, борца за свободу. Вся эта книга пронизана светом справедливости, жаждой добра людям, восхищением доблестью, честностью, самоотверженностью человека.

Однако исходные принципы «Рассуждений» роднят их автора с автором «Государя», а их обоих с эпохой — жестокой, героической, светящейся. Нет, это не два разных автора. Точнее сказать, это один человек, который писал двумя руками поочередно, то левой — с наклоном в одну сторону, то правой — с наклоном в другую. Но левой рукой пишут доносы, а правой — выражаются сокровенные чувства. И если «Государь» — это род доноса на эпоху, то «Рассуждения» — род оправдания ей.

Да, человек не однозначен. В душе его хватает места для разных, иной раз противоречивых чувств, настроений, мыслей, идей. И Никколо Макиавелли продемонстрировал это с потрясающей силой. Его мысль по-

следовательна и глубока. Но, обращенная на разные цели и даже на разные объекты, она меняет форму, иногда содержание, а главное — целенаправленность. И нужны безжалостные усилия, чтобы прорваться, докопаться до самого себя, явно недвусмысленно ощутить, как ты думаешь, что ты чувствуешь. Именно в силу этой многосложности человеческого существа, его предрасположенности к разным поступкам и действиям, мыслям он так часто поступает под влиянием внешних обстоятельств, чужих идей, случайных настроений. Правда, это не всегда приводит к улучшению внутренней природы человека и нередко деформирует личность. Но это уже другой вопрос.

Очевидно, что «Государь» — это не только произведение, но и поступок. Поступок человека, подавленно-го падением республики, которой он верно служил, травмированного тюрьмой и дытками по обвинению в заговоре, в котором он не участвовал, человека удрученно-го, опального и отрешенного от активной деятельности. Поступок человека, все еще наивно верящего в возможность великих свершений силами тиранической власти. Поступок великого патриота, опередившего эпоху на несколько столетий, ученого, жаждущего применения открытых им истин, поступок личности, не угадавшей своего признания.

За этот свой поступок Никколо Макиавелли и несет расплату вот уже пятое столетие. Мало кто помнит Цезаря Борджа, убийцу и злодея. Забыты тысячи других убийц на тронах. Но имя Макиавелли не забыто. Он не убил, не предал никого, он служил республике и любил свою родину. Но он дал ужасный совет государю — оставаться таким, какой он есть, и до сих пор его именем нередко пугают людей. Какой урок для людей духа! Воистину нет страшней поступка, чем злое слово!

Тема, мысли «Государя», цели и мотивы его написания — все говорит о том, что это был поступок хотя и наивный, но безнравственный, даже с точки зрения свободных нравов той эпохи. Автор хотел написать правду. Прекрасно! Но с какой целью? Все дело в том, как он хотел эту правду употребить.

Зачем он нес эту правду Медичи? В какую игру он собирался играть с ними? Человек честный, нравственный и принципиальный поступил безнравственно. Этот

поступок можно объяснить обстоятельствами, но его не следует оправдывать, ибо такое оправдание станет эталоном для поведения интеллектуалов во все эпохи.

Надобно не только открывать истины, но и твердо знать, кому и чему они должны служить. Медичи заведомо не были теми людьми, которые могли воодушевиться предначертанными Макиавелли идеями всеитальянского единства.

Да и объективные исторические обстоятельства — и это должен был хорошо понимать каждый трезво мыслящий политический философ — абсолютно не благоприятствовали этому. Папство было заинтересовано в разъединенной Италии при его гегемонии и его влиянии. Каждое из государств, будь то Флоренция, или Венеция, или Пьемонт, или Ломбардия, или Сицилия, было заинтересовано в сохранении самостоятельности. Кроме того, Испания и Франция были самыми решительными противниками объединенной Италии, которая в таком состоянии перестала бы быть легким объектом для их завоеваний, а стала бы их мощной соперницей на европейском театре.

Вот почему последняя патриотическая часть в «Государе» — это не более чем мечта, адресованная, быть может, узкому слою патриотов и интеллектуалов, возвышающихся над эпохой. «Государь» — это демонстрация мыслителя и писателя перед лицом сильных мира сего и наивная заявка на деятельность и служение.

Но это о «Государе». Я считал нужным сказать об этом особо, чтобы не было места для кривотолков о примирении с его жестокими Максимами, которые я не приемлю ни под каким видом и ни для каких целей. Что касается характеристики творчества Макиавелли в целом, то здесь не может быть двух мнений. Это великий политический художник, великий республиканец и великий патриот.

Таково мое мнение: мое восхищение и мое расхождение с Никколо Макиавелли.

Суждение Социолога: *Политический мыслитель.*

Позвольте мне интегрировать ваши суждения, объединив их со своим собственным. Я вижу улыбки на

ваших лицах, вам кажется нескромной обычная претенциозность представителя нашей науки. Но я делаю это не только как социолог. Я полагаю, во-первых, что невозможно попросту игнорировать ваши суждения, — в них много верного, выразительного. И во-вторых, нельзя же, в самом деле, оставлять читателя в недоумении, оставив ему в удел три различных, хотя и близких, взгляда на один и тот же предмет.

Вот мое суждение. Главная черта духовного облика Макиавелли может быть передана формулой *политический мыслитель*.

Историк и Писатель стремились опереться в своих выводах на великих предшественников: первый отдал предпочтение Гегелю, второй — Стендалю. Я хотел бы прежде всего поблагодарить их за проявленное благородство — они оставили мне возможность познакомить читателя с оценками и суждениями К. Маркса и Ф. Энгельса.

К. Маркс проявил большой интерес к сочинениям Макиавелли. Сохранились сделанные Марксом пространные выписки из работ Макиавелли. Изучение этих выписок показывает направленность интересов Маркса.

Первая выписка К. Маркса касается мысли Никколо Макиавелли о том, что «в каждой республике всегда бывают два противоположных направления — народное и высших классов. Из этого разделения вытекают все законы, издаваемые в интересах свободы».

Затем идет пять выписок, в которых говорится о социальном неравенстве как причине изменения форм государства и методов его деятельности. Внимание Маркса привлекают и высказывания Макиавелли о соотношении монархии, аристократии и народа. Особый его интерес, судя по всему, привлекают яркие филиппики флорентийца против тиранической власти.

Вот одна из выписок, сделанных К. Марксом.

«...Государь, имеющий возможность делать все, что ему вздумается, превращается в бешеного самодура, а народ, могущий делать, что хочет, только неразумен. Поэтому, если сравнить государя и народ, связанных законами, видишь, что народ лучше; точно так же и не связанный законами народ реже впадает в ошибки, чем государь; сами ошибки его меньше, и средств к их исправлению больше. Это происходит потому, что рас-

пущенный и бунтующий народ может легко поддаться уговорам хорошего человека и возвратиться на правильный путь, а с государем *дурным никто не может говорить и против него нет никакого другого средства, кроме меча** (эти слова из «Государя» Макиавелли подчеркнуты К. Марксом).

Большая выписка касается также оценок Макиавелли христианской религии, его размышлений о том, почему в Древнем Риме народы были более преданы свободе, чем в его время.

Анализ наследства Никколо Макиавелли позволил К. Марксу сформулировать исходные посылки, дающие ключ к всестороннему истолкованию этого сложнейшего явления Возрождения. Вот что писал Маркс:

«Почти одновременно с великим открытием Коперника — открытием истинной солнечной системы — был открыт также и закон тяготения государств: центр тяжести государства был найден в нем самом. Различные европейские правительства пытались, — правда, поверхностно, как это бывает при первых практических шагах, — применить этот закон в смысле установления равновесия государств. Но уже Макиавелли, Кампанелла, а впоследствии Гоббс, Спиноза, Гуго Гроций вплоть до Руссо, Фихте, Гегеля стали рассматривать государство человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии. Они следовали примеру Коперника, которого несколько не смущало то обстоятельство, что Иисус Навин велел остановиться солнцу в Гедеоне и луне — в долине Аялонской. Новейшая философия только продолжала ту работу, которая была начата уже Гераклитом и Аристотелем»**.

Как видим, Никколо Макиавелли стоит на первом месте в этом списке имен. И заслуженно. Верный духу Возрождения, он сбросил средневековые одежды и мистические покрывала с государства и политики и впервые нарисовал их в неприкрытой, а часто и весьма неприглядной наготе.

Наряду с выяснением антитезы политика — религия Маркс поставил проблему соотношения между политикой и моралью на примере Макиавелли. «...Начиная

* Архив Маркса и Энгельса. Т. 4. М.—Л., 1929, с. 350.

** К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 111.

с Макиавелли, Гоббса, Спинозы, Бодена и других мыслителей нового времени, не говоря уже о более ранних, сила изображалась как основа права, тем самым теоретическое рассмотрение политики освобождено от морали, и по сути дела, был выдвинут лишь постулат самостоятельной трактовки политики...» *.

Карлу Марксу принадлежит чрезвычайно тонкое замечание о том, что «ниспровержение светской власти папы в Риме всегда считалось *conditio sine qua* поп итальянского освобождения. Еще Макиавелли в своей «Истории Флоренции» видел в господстве папы источник упадка Италии» **.

В размышлениях К. Маркса мы находим и высказанное мимоходом важное указание на принципиальный подход к анализу позиции автора «Государя», хотя специально этой проблемой Маркс не занимался. «Уже Монтескье учит, что деспотизм более удобен для применения, чем законность, а Макиавелли утверждает, что зло выгоднее для государей, чем добро» ***. Здесь отмечено главное, что характеризует научный подход к «Государю», — рассмотрение деятельности государя в определенных рамках и обстоятельствах и известная запрограммированность его действий самим ходом жизни.

На К. Маркса и Ф. Энгельса произвели глубокое впечатление не только государствоведческие, но и исторические и литературные работы Никколо Макиавелли. В письме к Ф. Энгельсу Маркс писал: «...его (Макиавелли. — Ф. Б.) история Флоренции это — шедевр» ****.

Вслед за К. Марксом Ф. Энгельс отвел достойное место Макиавелли среди великих мыслителей, художников и деятелей эпохи Возрождения. «Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, — писал Энгельс, — эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но толь-

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 314.

** К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 444.

*** К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 61.

**** К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 29, с. 154.

ко не людьми буржуазно-ограниченными... Леонардо да Винчи... Альбрехт Дюрер... Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом и, кроме того, первым достойным упоминания военным писателем нового времени» *.

Читатель должен обратить особое внимание на то, как широко и многопланово рассматривает сам Энгельс эту выдающуюся личность эпохи Возрождения. Для него это не только деятель и мыслитель, но и характер, темперамент, не только ум, но и эрудиция, не только ученый, но и человек, способный на великие революционные перевороты в области мысли, чувства, практической деятельности.

К. Маркс и Ф. Энгельс аккумулировали все самое интересное, что было высказано лучшими из их предшественников.

В суждениях классиков марксизма нашли свое развитие и гегелевская мысль о взаимосвязи учения Макиавелли с его эпохой; и мысль Стендаля о неповторимом величии гениев итальянского Возрождения; и оценка Руссо высокой гражданственности и патриотизма Макиавелли; и, наконец, вывод об особом значении вклада Макиавелли в науку о государстве и политике.

Историк и Писатель сказали немало любопытного об историческом подходе к трудам Макиавелли. Я хотел бы дополнить их обзор суждений о Макиавелли важными выводами по этому поводу основателя Итальянской коммунистической партии Антонио Грамши, который проявлял огромный интерес к этой личности на протяжении всей сознательной жизни.

Одной из первых книг, которые он затребовал по приезду на остров Устика — место своей ссылки (в декабре 1926 года), — была работа Ф. Эреоле «Политика Макиавелли». Год спустя, в 1927 году, находясь в миланской тюрьме, Грамши затребовал все самое интересное, что было опубликовано в связи с 400-летием со дня смерти Макиавелли (21 июня 1927 года).

«Меня поразило то, — писал Грамши в письме Т. А. Шухт (ноябрь 1927 года), — что никто из выступавших в печати по случаю этой годовщины и не подумал связать произведения Макиавелли с развитием европейских государств в тот исторический период.

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 346.

Увлечшись лишь одним моральным аспектом так называемого «макиавеллизма» (что и увело их в сторону), они просмотрели то, что Макиавелли был создателем теорий национального государства, основанного на принципе абсолютной монархии; иными словами, что он в Италии теоретически обобщил те преобразования, которые в Англии весьма решительно осуществлялись на практике Елизаветой, в Испании — Фердинандом Католиком, во Франции — Людовиком XI, в России — Иваном Грозным. Между тем Макиавелли не знал, да и не мог знать о национальных преобразованиях в этих странах, а они в действительности представляли историческую проблему той эпохи; проблему, которую Макиавелли — и в этом его гениальность — сумел почувствовать и изложить в виде стройной системы».

Тюремные тетради Грамши показывают, как в его уме созрел новый замысел: сопоставить учение Макиавелли с революционной теорией марксизма. Сохранился короткий набросок, датированный второй половиной 1930 года и названный «Макиавелли и марксизм».

Но и этот замысел оказался лишь переходной ступенькой для Грамши. Вскоре он выдвигает идею «современного государя». Какой же смысл вкладывал Грамши в эту идею? Не являлось ли это поиском теории пролетарского вождя или пролетарской партии? Или средством анализа формы деятельности пролетарской диктатуры? На эти вопросы мы не получаем определенного ответа, поскольку работа эта так и не была написана и сохранились только наброски и планы.

Несомненный интерес представляют и высказанные Грамши в разных работах замечания об историческом значении тех или иных произведений Макиавелли и о его роли как предтечи современной политической науки. «Основная черта «Государя» состоит в том, — пишет Грамши, — что он является не систематизированным трактатом, а живой книгой, в которой политическая идеология и политическая наука сливаются воедино в драматической форме мифа».

Историк и Писатель — оба много и занимательно рассуждали о психологии Никколо, о мотивах написания им «Государя», других работ. На мой взгляд, эти обстоятельства хотя и важны, но в конечном счете не

могут иметь главного значения для оценки творчества того или иного мыслителя или художника.

Разве для нас так важно, что многие работы Рафаэль выполнял по прямому заказу и под непосредственным наблюдением жестокого, коварного и честолюбивого папы Юлия II? Разве так существенно, что Моцарт писал иные из своих великих творений для снискания хлеба насущного и в угоду мелкопоместным немецким князькам?

Между мотивами поступков деятеля, мыслителя, художника, писателя и результатами их творчества — нередко немалая дистанция. Взявши кисть в руки или усевшись за письменный стол, творец иногда забывает или почти не вспоминает о том, что дало первоначальный толчок его работе. Он весь поглощен материалом, сюжетом, идеей. Его захлестывает рвущаяся изнутри жажда созидания. И тут житейские, «земные» мотивы и побуждения отступают на задний план или исчезают вовсе. Иначе Гойя не донес бы до нас откровенно издевательский портрет династии Габсбургов, а написал бы слащавую однодневку, забытую уже при жизни художника.

Иными словами, важнее всего результат; и судим мы о творчестве Макиавелли по результатам, овеществленным в «Государе», «Рассуждениях», «Истории Флоренции», «Мандрагоре». Вопреки бытующему мнению гений и злодейство совместимы. Как совместимы злодейство и добро. И когда люди хотят удержать для себя творения гения, они невольно ищут способа преуменьшить или оправдать его злодейство.

Никто лучше Макиавелли не понимал это. Более того, он это открыто декларировал. Дайте мне точку опоры — любую, пусть это будет даже блистательный разбойник Цезарь Борджа, — и я объединю Италию, думалось ему. Путь истории кровавый, пусть — это понимают все, но немногие рискнут заранее поставить кровь в счет прогрессу. Конечно, можно отойти в сторону от грязной игры, чтоб не запачкать руки, как сделал Микеланджело. Но и ему из его башни из слоновой кости по временам приходилось спускаться на грешную землю и участвовать в политических играх. И не всем же дан судьбой удел Микеланджело, который сам своим гением творит эпоху — и не только ее культуру, но и ее социальный облик.

Писатель утверждает, что Макиавелли — политический художник... Ну что ж, ему виднее, он лучше может оценить литературное дарование флорентийца. И все же, на мой взгляд, точнее звучит — политический мыслитель. Он использовал для изучения политической жизни метод — наблюдать ее как таковую и судить о ней как таковой, не прибегая ни к религии, ни к морали и даже ни к философии, а принимая в расчет только опыт. Та новеллическая форма, которой восхищается Писатель, не самоцель, она лишь адекватное средство описания политической практики и выводов автора.

Теперь несколько слов о советах Государю. Я согласен в целом с оценкой Историка и Писателя, но хотел бы внести некоторые коррективы и дополнения в их концепции.

Макиавелли стремится показать и делает это нарочито, с явным вызовом общепринятым формам письма на политические темы той поры, что ему как автору чужды какие бы то ни было страсти и пристрастия. Эта нарочитая авторская отрешенность особенно поражает нас в тех разделах «Государя», где излагаются знаменитые Максимы. Правда, автор, переходя к этим разделам, считает необходимым снова оговориться, что пишет он не так, как быть должно, а как есть, что ему чужды пустые мечтания и утопии, что не надо бояться истины, даже если она ужасна и отвратительна.

Но ведь советы «Государю» даются от первого, авторского лица, в тоне спокойных, хладнокровных рассуждений, как будто обсуждается не вопрос о человеческих жизнях, о судьбах народов, а обыденная деловая проблема: какого цыпленка и каким способом лучше зажарить на завтрак. Эта интонация чем-то напоминает знаменитый рассказ Кафки о человеке, который изобрел машину для свершения казней. Человек этот знакомит посетителей со всеми преимуществами своего изобретения: показывает, как удобно укладывать приговоренного к смерти, как эффективно работают механизмы по отпиливанию руки, ноги, как безошибочно и ловко срезается голова.

Но ведь Кафка с потрясающим художественным прозрением схватил эту манеру изложения, чтобы обнажить омерзительные и жуткие стороны технического прогресса, поставленного на службу насилию. Его

стиль — разоблачение изнутри, разоблачение особой породы человеческих существ, для которых нет проблемы морали, а есть лишь деловая проблема эффективности казни и уничтожения.

Было бы слишком легко вслед за Спинозой утверждать, что Макиавелли сформулировал свои жестокие Максимы исключительно с целью пригвоздить тиранию к позорному столбу. Это соблазнительное, но слишком простое решение. К сожалению, против него говорит решительно все: и сама пространность и основательность рассмотрения методов достижения тиранической власти и ее защиты в борьбе с народом, наподобие инструкции, повествующей, как лучше душить, угнетать и обманывать народ; и повторение этих же и подобных мыслей в других разделах «Государя», а также в «Рассуждениях» и «Истории Флоренции»; и постоянное подчеркивание отрешенности авторской позиции от проблем морали, нравственности; и, наконец, самый факт, что «Государь» был написан со специальной целью сблизиться с представителями монархической власти, более того, конкретными лицами, которые пришли к власти и у которых он искал покровительства и службы.

Куда точнее и ближе к истине характеристика роли автора как социального эксперта, советника, врача по социальным и политическим болезням. Свою ролевою функцию автор тогда видит вовсе не в том, чтобы морализировать по поводу политических жестокостей, войн, завоеваний, казней, убийств, клятвопреступлений, которые составляли суть политической жизни той эпохи. Морализировать по такому поводу не только бессмысленно, но и непристойно — никакой мудрости для этого не требуется! Здесь не нужен ни ум, ни талант. Факты просто валяются под ногами, их можно брать пригоршнями, на выбор — любой простак справится с задачей их морального осуждения. Это элементарно и потому-то недостойно великого ума.

Описывая то, что есть в действительности, Никколо уподобляется врачу, который, конечно же, не может нести ответственность за саму болезнь; его задача — описать симптомы, установить диагноз и дать совет, как поправить дело. Он готов равно служить своими советами и тогда, когда дело идет о тираническом режиме и когда речь идет о республике.

Сила методологического принципа, открытого Макиавелли — и сам он это понимал, — как раз в том и состоит, что он анализирует опыт как таковой — не как судья, а как исследователь. Он обнажает проблему и выстраивает ряд: цель — средство — результаты. Если вы хотите ввести монархическую власть и это ваша цель, то надо поступать так-то, говорит он. Если ваша цель ввести республику, то надо поступать иначе. Если вы хотите свергнуть тиранию, то для этого годятся такие-то средства. Если вы хотите разложить республику, то тогда вам пригодятся такие-то инструменты. Идет инструктаж, который внешне как будто бы в равной мере рассчитан на грабителя и потерпевшего, убийцу и его жертву, взломщика и домохозяина, насильника и человека, подвергающегося насилию, и т. п.

Макиавелли полагает пошлым и лицемерным иной подход, который господствовал в его время. Папа Александр VI, матерый отравитель и безжалостный убийца, не стеснялся прикрывать свои преступления постоянными призывами к человеколюбию, добру и справедливости. Цезарь Борджа не гнушался говорить об общественном благе, законности, всеитальянском единстве. Макиавелли как бы говорил всем им: раз вы все равно делаете жестокости, то, по крайней мере, не лицемерьте, да и делайте их квалифицированно, соразмеря цели и средства, причины и следствия.

Трудно оценить с точки зрения нашей эпохи такую позицию. Не потому, что жестокость и насилие пошли на убыль в XX веке. 80 миллионов убитых и искалеченных во второй мировой войне и опасность термоядерной войны отнюдь не свидетельствуют о том, что решительно все люди утратили вкус к крови: остались угнетатели и угнетенные, богатые и бедные, остались отношения господства и подчинения.

Но вот что по-настоящему изменилось, так это критерии морали и нравственности, которые лежат в основе официальных суждений по поводу таких явлений. Ни в одном даже самом разнузданном творении, вышедшем из-под пера буржуазных идеологов, мы не найдем ничего подобного Максимуму Макиавелли. Покров благопристойности, внешнее соблюдение общепринятых официальных норм куда более характерны для современных проповедников культа насилия, чем для писателей эпохи Возрождения.

Сам по себе этот факт наводит на грустные размышления об извилистых путях западной цивилизации. Социологи подсчитали, что интенсивность насилия в XX веке в сравнении с XV—XVI веками выросла не меньше чем в 10 раз, количество убитых в войнах и других формах массового насилия выросло в десятки раз за это время. Но в не меньшей степени возрос и уровень ханжества и лицемерия официальной буржуазной морали.

Затевая и осуществляя войны, массовое избиение народов, переселение наций, фашистские властители Германии, Италии, Испании и других государств западного мира настолько изолгались в объяснении мотивов и целей своей деятельности, что беззастенчивая лживость и лицемерие Александра VI, Цезаря Борджа, Юлия II, Людовика XII, которых пришлось наблюдать Макиавелли, кажутся просто детской забавой. Никто из современных социологов не попытался еще вывести зависимость между прогрессирующей жестокостью буржуазного общества и неудержимо растущим ханжеством его. Нет сомнений, что если бы эту зависимость удалось установить в математических измерениях, то это была бы геометрическая прогрессия с неизмеримо большими величинами официального лицемерия.

И все же не будем судить о событиях и морали интересующей нас эпохи — эпохи Возрождения, основываясь исключительно на современных нормах. Если не ставить творчество Макиавелли в тесную связь с эпохой, социально-политическими событиями, нравственными нормами и политическими ценностями того времени, все наши надежды разгадать загадку макиавеллизма и личности Макиавелли будут обречены на неудачу.

Основной методологический принцип, который Макиавелли не уставал декларировать, — это ориентация на практический опыт. Макиавелли нарочито, даже иной раз назойливо, подчеркивает, что пишет он так, как есть, а не так, как быть должно. Многие философы того времени, описывавшие политическую жизнь, в сущности, излагали свои мечтания, свои ожидания. Он же в отличие от этого целиком ориентирован на рациональное научное описание живой жизни, освобожденное от религиозных догм и морализирующих сентенций. В этом он видит свою задачу, в этом он видит оригинальность сво-

его подхода к одной из самых закрытых сфер жизни — к сфере власти и политических отношений.

Но так ли это на самом деле? Можно ли принять целиком на веру его объективизм? Верно ли, что рукой автора советов государю и правителям республик двигал лишь холодный разум? Я согласен с Писателем: мы многого не поняли, если бы основывались на таком предположении. На самом деле, хотел того флорентийский секретарь или не хотел, но его ценностные ориентации, его симпатии и антипатии, его неутоленные страсти в сфере практической деятельности, его ожидания, флорентийский сепаратизм и общетальянский патриотизм, его надежды и страхи — все это сплелось в один клубок с рациональным, собственно научным анализом интересовавших его проблем.

Это сказалось не только в оценке современных ему политических деятелей, с которыми он сталкивался, сотрудничал или боролся, — Савонаролы, Цезаря Борджа, Пьеро Содерини, Людовика XII, папы Александра VI и Юлия II и других владетельных особ. Увлеченность и небеспристрастность флорентийца в этих случаях просто бросаются в глаза. Но это относится и к его суждениям о более общих предметах.

Он был слишком во власти своего времени, назревших политических целей самой Флоренции и всей Италии, чтобы отстраненно обсуждать волнующие проблемы власти, управления, внутренней и внешней политики. Поэтому, если мы хотим до конца понять этого наставника правителей, нужно каждый раз представлять себе ясно, что берет верх в нем, в его творчестве — разум или чувство.

Давайте сорвем покровы святости со всего — с человека, с государства, с церкви и будем следовать реальности, а не вымыслам, не мифам — так звучит его призыв!

Ну а что потом? Сорвали покровы, обнажили, увидели, poznali — как быть дальше? Тут-то как раз Макиавелли и обнаруживает странную двойственность или даже тройственность (да простят нам это выражение снисходительные читатели).

С одной стороны, мы видим безжалостного исследователя, который взрывает грязную оболочку лицемерия, фальши и лжи, насаждаемых религией, офици-

альной политической идеологией, политическими документами и решениями правителей.

С другой стороны, мы видим советника, который тщится узаконить реально существующие нормы политической жизни, сделать их и впредь нормами политического поведения независимо от их нравственной оценки.

С третьей стороны — есть же третье измерение в многомерной системе координат! — мы все же видим проповедника определенных нравственных принципов и политических ценностей, таких, например, как патриотизм, демократизм, народное благо, национальное единство и другие. В этом «растроении» авторского «Я» — суть и исходные причины противоречий идейного наследства Макиавелли, рассматриваемых системно. Мы видим, как на передний план выходит то одно, то другое проявление авторской позиции.

Анализируя, какого вида бывают государства, как они возникают и гибнут, какова природа человеческих страстей, Макиавелли более всего выступает как исследователь. Рассуждая о методах управления, о монархиях и республиках, о качествах, которыми должны обладать лидеры, о правителе и толпе, о формах взаимодействия власти и народа, о формировании правящих групп, о строительстве крепостей, о народной милиции, о методах ведения войн, он выступает более всего как советник.

Размышляя о причинах, которые привели Италию в состояние национальной раздробленности, междоусобиц и смут, деградации духа, присущего древним римлянам, к падению культуры и нравов, о негативном влиянии, которое оказали на развитие страны церковь и религия, мечтая о будущем Италии, о ее величии, о ее воссоединении, о возрождении доблести древних людей и восстановлении древних учреждений, Макиавелли выступает как типичный проповедник, хотя ему менее всего импонировала именно эта роль.

Говоря о личности Макиавелли, невозможно обойти молчанием и его роль практического деятеля-политика. Но нужно тут же объяснить, что я понимаю под словом «политик». Для удобства рассуждений я приведу то разграничение, которое, как мне говорили, особенно наглядно выражено в испанском языке, где имеется два диаметральных понятия — политик (*politico*) и полити-

кан (politicastro). Под первым имеется в виду деятель, ставящий общественно значимые цели, под вторым — деятель, устремленный лишь к личным целям властвования и господства.

Макиавелли — политик в первом смысле этого слова. Политик, озабоченный почти исключительно общественно важными целями и почти начисто лишенный качеств politicastro, больше того, неумелец на поприще борьбы за личную власть, влияние, преуспеяние. Именно это сыграло роковую роль в его прижизненной судьбе: история еще не сколотила подмостков для такого рода деятельности в Италии того времени.

Но именно эти его качества политика, политического мыслителя, политического художника сделали его фигурой, созвучной всем последующим эпохам. И потому-то его посмертная судьба так завидна и так блистательна: о нем спорят и будут спорить, пока существует государственное насилие на земле...

Никто более Макиавелли не высмеивал пустых мечтателей, проповедников, творцов религиозных и политических мифов, но он не мог остаться в стороне от того потока, которым было охвачено все лучшее, что было в итальянском обществе в эпоху Возрождения. Да и было бы странно, если бы человек, наделенный душой великого реформатора, человек, страстно увлеченный идеей коренных преобразований политических нравов и быта современного ему общества, человек, травмированный чувством восхищения перед совершенством римского мифа, если бы такой человек оказался узким прагматиком, привязанным к злобе дня, к мелким политическим страстям, интригам и решениям кабинета власти Флорентийской республики.

Поэтому-то политическое мировоззрение Макиавелли, безусловно, составляющее в определенном смысле некое единство, в то же время начинено противоречиями, как взрывчаткой: они заложены в авторской позиции, а изначально в самой личности Макиавелли. Более всего это бросается в глаза при сопоставлении «Государя» и «Рассуждений». Но и каждое из этих произведений в отдельности, если их препарировать острым скальпелем анализа, оказывается достаточно противоречивым и непоследовательным во многих своих исходных позициях.

Впрочем, это скорее достоинство, а не недостаток

Макиавелли. Попытки создания законченных систем взглядов, особенно в ту эпоху, когда человеческая мысль только выпутывалась из пеленок средневековой схоластики и религиозной догматики, сами оборачивались узостью и схематизмом. Макиавелли интересен как раз необычайной живостью и подвижностью ума, жаждущего схватить живой опыт живой жизни.

Гибкость ума, необычайная даже для итальянца эпохи Возрождения, более всего сказала как раз при подходе Макиавелли к вопросу о целях и средствах в политике, — это одна из коренных проблем, где сходятся едва ли не все основные теоретические и практические вопросы политической жизни. Здесь заложена и нравственная оценка планов и результатов политической деятельности, и критерий ее эффективности. Даже сейчас, когда политическая наука проделала огромный путь в своем развитии и не только накопила обильнейшую информацию, но и владеет достаточно глубоко разработанной теорией, проблема цели и средства остается едва ли не одной из самых сложных. Во всяком случае, она должна быть отнесена к числу основных проблем и не случайно занимает важнейшее место в системном анализе управления.

Макиавелли впервые в истории политической мысли заострил внимание на этой проблеме и так всесторонне и многообразно исследовал ее на обильнейшем историческом материале. Не будет преувеличением сказать, что это главное, чем он интересуется и в «Государе» и в «Рассуждениях». И дело не только в том, что Макиавелли умел правильно намечать цели в соответствии с созревшими историческими обстоятельствами. И не в том, чтобы избираемые средства соответствовали этим обстоятельствам. Дело еще и в том, что Макиавелли осмысливает весь политический процесс под углом зрения целей и средств. Для него представляется принципиальной позиция ученого или советника, который мыслит не за себя, а за других — за государя, за народ, за аристократию, за флорентийцев, за венецианцев, за французов — и проверяет на этом оселке цель — средства — эффективность действий.

Если государь хочет держать народ в повиновении, он должен выбрать такие-то средства. Если народ хочет свергнуть тиранию, то ему лучше употребить такие-то методы. Если правителя больше всего занимают за-

воевания, тогда пригодны такие-то способы обращения с народом и войском. Если, напротив того, он сосредоточен на обеспечении безопасности и обороны, тогда ему следует употребить такие-то средства. Государь, желающий раскрыть заговор, должен действовать так-то. Заговорщики, желающие расправиться с государем, должны действовать так-то. Иными словами, все зависит от того, кто и какие цели ставит, а Макиавелли тут как тут со своим советом: этим целям отвечают как раз такие-то средства. Такая манера, которая поначалу может показаться беспринципной, на самом деле в конкретных условиях того времени, когда Макиавелли выступил со своими трудами, означала привнесение элемента научного знания в политическую жизнь. Впрочем, сам Макиавелли сказал бы об этом иначе, он назвал бы это искусством, а не наукой.

«Все люди стремятся к одинаковой цели — к славе и богатству, но не все для достижения их действуют одинаково; одни поступают при этом осмотрительно, другие действуют смелостью; одни прибегают к насилию, другие к хитрости; одни терпеливы, другие решительны, но, несмотря на противоположность образа действий и тех и других, они одинаково могут иметь успех; отчего же может зависеть подобное противоречие, как не от того, что оба эти образа действий могут соответствовать данной минуте? От этого-то различный образ действий может иметь одинаковый результат, а одинаковый — различные последствия. От этого то, что хорошо в одно время, может быть дурно в другое» (Г., 106).

В соответствии с историческими обстоятельствами необходимо избирать и цели и средства для их достижения. В одних случаях нужна жестокость, в других — снисходительность, в одних — насилие, в других — мягкость. И сама цель должна определяться только на основе исторических обстоятельств. Мы уже видели, что Макиавелли предостерегает против выдвижения цели установления республики в развращенном обществе или против выдвижения цели установления монархии в среде народа, готового бороться за свою свободу до конца. Он пишет о целесообразно направленной жестокости как раз в зависимости от того, помогает она или мешает добиться определенных целей. Он упрекает одних политических деятелей за то, что они слишком зло-

употребляли методом насилия, например Агафокла, а других, например Савонаролу и Содерини, напротив, за чрезмерную мягкость. Вся книга «Государь», и в особенности Максимы, характеризующие поведение государя, могут быть правильно поняты, если мы посчитаемся с позицией автора, толкующего проблему власти не с точки зрения морали или каких-то идеалов и принципов, а с точки зрения правильного соотношения целей и средств в политике.

Значит ли это, что Макиавелли был как раз тем, каким его изобразили его враги? А именно — макиавеллистом? Что именно из этого источника черпали иезуиты свой пресловутый лозунг «Цель оправдывает средства», что именно сюда стекаются все мутные потоки политической и военной деятельности, прикрывавшие самые гнусные жестокости ссылками на величие целей? Что гибкость его ума скатывается к хитроумию, разнообразие тактики в борьбе за великие цели формирует самые цели, принципиальность уступает место оппортунизму?

Скажем сразу свое мнение: мы так не думаем, хотя некий повод для подобного истолкования — и в этом смысле прав Писатель — Макиавелли все же дал. Мы имеем в виду «Государя», где отвлечение автора от нравственной позиции и рассмотрение проблем лишь под углом зрения целесообразности и эффективности властвования переходят за границы дозволенного.

Но достигнута ли цель, вот в чем вопрос! И этот вопрос сам по себе не находит достаточно глубокого ответа у Макиавелли. Справедливо настаивая на том, что цели определяют выбор средств, он не вполне и не всегда отдавал себе отчет, что вопрос часто стоит перед обратной связью — сами средства способны деформировать цель, так что результат будет отличаться от ожидаемого или даже противоположным. Мы позволим себе сказать так: если Макиавелли и находится на грани с макиавеллизмом, так это больше всего тогда, когда он применяет открытый им закон соотношения целей и средств в политике. Добрыми намерениями мощена дорога в ад, говорит Данте. Нельзя сказать, что эта гениальная мысль поэта прошла мимо ушей Макиавелли, но все же он часто оставался к ней глух. И надо пробираться через ужасающе жестокие советы государю, чтобы дойти наконец до последней главы,

характеризующей цель политического объединения Италии, способную оправдать любые средства в глазах Макиавелли. Средства склонны превращаться в самоцель: этой мысли мы, пожалуй, не найдем ни в одной из работ великого флорентийца.

Макиавелли, кроме того, не разграничивает еще субъективные и объективные цели в политике и поэтому нередко смешивает мотивы тех или иных деятелей и цели политических движений, в которых они участвуют.

Для нас не так важно, что говорил, что декларировал Цезарь Борджа, оправдывая свои завоевательные походы. Куда важнее, что его деятельность объективно совершенно не выражала тенденцию к всеитальянскому единству, а целиком находилась в рамках борьбы за власть и влияние мелких правителей страны.

Беда Макиавелли и в другом. Следуя древним, он пытался вывести некие вечные законы политической жизни, не зависящие от исторических обстоятельств и социальных сдвигов. Наблюдения за практическим опытом государств современной ему эпохи и анализ исторического прошлого привели его к безусловно правильному выводу о том, что политика и мораль на практике несовместимы. Но отсюда не следует вывод, что так будет происходить во все времена и что поэтому единственным критерием для суждения о политике является соответствие целей и употребляемых для их достижения средств, что целесообразная жестокость оправдана.

XX век и подтвердил и оправдал Макиавеллиевы представления о власти, о безнравственности политики, о неизбежности государственной жестокости и государственного насилия. Наш век стал веком невиданной даже во времена Макиавелли жестокости тиранической власти фашизма — этого ужасного порождения общества, основанного на социальном неравенстве и эксплуатации.

Но XX век одновременно впервые в истории обнаружил полную совместимость политики и морали. На историческую арену вышли государства нового типа, основанные на принципах социального равенства и справедливости. Социализм в теории, а затем и реальный социализм впервые продемонстрировали совмести-

мость возвышенных целей и достойных средств по их достижению. Эта социальная реальность коренным образом изменила и критерии оценок политической деятельности, превратив в анахронизм макиавеллиевы Максимы о неизменности дурной природы политического человека и о неизбежном круговороте демократических и тиранических форм власти. Но для такого поворота мысли понадобился коренной поворот в исторических судьбах государств и во всей системе международных отношений. Понадобилось пять столетий динамичного и революционного развития человеческого общества.

И если главный урок Макиавелли как мыслителя состоит в бесплодности попыток выводить вечные и неизменные законы политической жизни, то главный урок Макиавелли как личности — в безнравственности попыток отрешиться от собственных идеалов и судить от имени тиранов, чьи интересы были ему чужды.

Все это так. Но в чем же все-таки секрет неповторимого своеобразия рассуждений Макиавелли, воплотившихся в равной мере в «Государе», «Рассуждениях», в других его трудах?

Секрет не в морализующей критике власти и властей предрежащих. Такая критика не содержала элемента новизны, она прекрасно исполнена его предшественниками и современниками. Напомним хотя бы страстные и глубокие слова Томаса Мора, изобличителя государства — Левиафана:

«При неоднократном и внимательном созерцании всех процветающих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представляются не чем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах.

...Да провалиться мне, если я найду у них какой-нибудь след справедливости и беспристрастия!.. Какая же это будет справедливость, если все эти люди совершенно ничего не делают, или дело их такого рода, что не очень нужно государству, а жизнь их протекает среди блеска и роскоши, проводят они ее в праздности и бесполезных занятиях, ...с другой стороны... людей угнетает в настоящем бесплодный, безвыгодный труд и убивает мысль о нищенской старости».

Секрет Макиавелли не в провозглашении какого-то

позитивного идеала — будь то республика или абсолютная монархия, способные объединить Италию. В этом смысле (и только в этом смысле!) прав В. И. Рутенбург — один из самых эрудированных и глубоких исследователей эпохи итальянского Возрождения и наследия Макиавелли, когда он пишет, что мечта о единой Италии не нашла у Макиавелли конструктивного оформления.

Он отмечает, что реалистическим вариантом на пути к будущему объединению Италии могла быть конфедерация регионально-абсолютистских государств, которую в годы Макиавелли предлагали Франческо Гвиччардини и Донато Джанотти, а несколько позднее близко к ней подходил также Паоло Парута. Гвиччардини представлял конфедерацию как тип государственного устройства Италии. Джанотти в «Рассуждении об итальянских делах» предлагал создать лигу итальянских государей, которая могла бы преодолеть политическое преобладание в Италии чужеземных держав.

В. И. Рутенбург отдает предпочтение модели, предложенной Гвиччардини и Джанотти, как более ясно выраженной и более конструктивной. При всем уважении к изысканиям автора невозможно согласиться с его выводами.

Простейшее соображение, которое, кстати, восходит к самому Макиавелли, говорит против этих выводов — это практический опыт. Разве модель конфедерации Италии, предложенная Гвиччардини, или модель лиги итальянских государств, предложенная Джанотти, были воплощены в жизнь Италии в ту эпоху или в новое время? Нет, ни в малейшей степени. Стало быть, они в такой же мере остались теоретическими моделями, как Макиавеллиева идея Великого освободителя и объединителя страны.

Три столетия отделяли этих деятелей от эпохи действительного объединения Италии. Потому можно лишь сравнивать, кто из них оказал большее влияние на политических деятелей последующих эпох, осуществивших наконец их мечту и надежду. И когда это произошло, голос Макиавелли, его могучий ум, его безжалостный анализ были услышаны, восприняты, оценены поколениями борцов за единство и свободу Италии. И не только Италии.

Думается, что секрет силы и обаяния Макиавелли лучше всего выражают слова его великого наставника Данте:

Залит проклятым ядом целый свет;
Молчит, объятый страхом, люд смиренный,
И ты, любви огонь, небесный свет,
Если восстать безвинно убиенным,
Подъемли Правду, без которой нет
И быть не может мира во вселенной.

Правда, одна только правда — обнаженная, жесткая, восхитительная, естественная, невыносимая, — вот что делает музыку, стиль, определяет неповторимость всего творчества Никколо Макиавелли. Вот что восхищает, притягивает или отвращает тех, кто читал и читает его произведения.

Книги Макиавелли — это не школьные учебники, а живые вторжения в политическую ткань его эпохи с четко ориентированными целями. В отличие от Коперника, для которого достаточно было открыть великую истину мироздания, Макиавелли жаждал всей своей страстной душой тут же, тотчас сделать открытые им законы движения политических тел орудием непосредственных преобразований. В этом отношении он был типичным политическим человеком, политическим мыслителем.

Наблюдая с горечью пороки человеческие, Никколо не стал ни пессимистом, ни циником.

Почти за полстолетие до появления «Города Солнца» Кампанеллы, одной из самых великих раннекоммунистических утопий, Макиавелли с бесстрастностью ученого выводил настоящее из прошлого, а будущее из настоящего, не находя никакой почвы для достижения всеобщего блага в обозримой перспективе. В сопоставлении этих двух имен — Кампанеллы и Макиавелли — можно найти в зародыше многое из того, что разделяло человеческую мысль на протяжении столетий.

Реальность или утопия? Трезвая привязанность к опыту или уносящая ввысь мечта, мир жизни или миф воображения — что важнее для движения человеческого ума и человеческого существования в целом? Если посмотреть ретроспективно, то трудно сказать, кто оказал большее влияние на развитие социально-политической мысли в последующие столетия: «заземленный» Ма-

киавелли или оторванный от жизни в своем голубом порыве Кампанелла. Скорее всего они представляли собой две крайности человеческого сознания, сбрасывающего с себя пути религиозного мировоззрения. Два русла, по которым потекла лава после взрыва религиозного Везувия в его самой опошленной и догматической римско-католической форме.

Вырвавшаяся из-под гнета схоластики, человеческая мысль устремилась вниз, в реальную жизнь — и то был Макиавелли, весь ориентированный на практический опыт, — и вверх, к мечте — и то был Кампанелла, который перенес мечту о рае с неба на землю.

Несомненно, оба эти потока глубоко взрыхлили почву современного им мирозерцания и, вытекая из одного источника, снова сходились в одной точке: в признании величия человека, его права на жизнь, на свободу, его роль творца истории. В этом смысле оба они протягивали руку будущему, видя в нем результат деятельности самих людей.

Не случайно Макиавелли, который полагал, что судьба оказывает глубокое воздействие на общество и на каждую человеческую жизнь, считал, что она распоряжается лишь половиной наших поступков, но управлять другой половиной она предоставляет нам самим.

Он уподоблял судьбу одной из тех разрушительных рек, которые, разлившись, заливают долины, валят деревья и здания, отрывают глыбы земли от одного места и перебрасывают их к другому. Но это вовсе не значит, что люди в спокойные времена не могут принимать меры заранее, строя заграждения и плотины, чтобы остановить волны при новом подъеме или направить их по отводу, чтобы их напор не был так безудержен и губителен. Отсюда Макиавелли перекидывает мостик к размышлениям о судьбах любимой им Италии, которая отдана на волю волн, поскольку она представляет собой равнину без единой насыпи и преграды. В отличие от этого он видит, что Германия, Испания, Франция способны сопротивляться судьбе, поскольку они защищены национальным единством, устойчивыми политическими учреждениями, законами.

Макиавелли был глубоко оригинален в своем представлении о том, что будущее находится в руках человеческих, что оно не предопределено, что оно много-

вариантно, как сказали бы мы сейчас. В этом больше всего сказались его свойства ума политического, убежденного в возможностях воздействовать на обстоятельства жизни человека, государства, общества.

Макиавелли первым употребил понятие *stato* — государство в современном смысле и первым указал на его социальную и политическую природу. Социальную — поскольку связал воедино государство и сословия, политическую — поскольку видел главную сущность власти в ней самой: в ее стремлении себя сохранить, отстоять, расширить, увеличить.

Эти выводы были особенно важны в его эпоху, когда здравый прагматический подход к изучению власти был затемнен религиозным мифотворчеством, ссылками на божественную природу государства, на естественность отношений господства и подчинения, на святость законов. Любое описание жизнедеятельности государей, монархов, князей и других правителей должно было быть пронизано насквозь лицемерной моралью, оправдано высшими нравственно-политическими ценностями. Религиозное сознание признавало покорность властям и смирение («божье — богу, кесарю — кесарево»), верность христианским догматам, фанатическую враждебность к правителям, отступающим от канонов римско-католической церкви.

Макиавелли полностью отверг религиозную систему взглядов на государство и власть и возродил политические представления древних. Но это не было простым повторением истин, изложенных Титом Ливием, Плутархом, Цицероном и другими знаменитыми мыслителями, политиками и юристами древнего мира. Он заново осмыслил политические ценности в свете практического опыта своего времени и совершенно по-новому выстроил их иерархию.

На первое место он поставил единство итальянской нации; на второе — свободу и благосостояние граждан; на третье — безопасность государства и, наконец, его силу и мощь.

И в заключение — чем же могут привлечь современного читателя труды человека, который творил почти пять веков назад?

Чтобы составить свое мнение об этом, наш читатель, — и всей своей книгой мы пытались достичь этого — должен окончательно расстаться со всеми пред-

убеждениями, навеянными магией самого имени Макиавелли.

Оно слишком часто выступало лишь как повод, как оселок, на котором опробовались позиции политических мыслителей и деятелей. Надо решительно перечеркнуть в своем сознании отождествление Макиавелли и макиавеллизма, порожденное дурными истолкователями трудов великого флорентийца.

Надо расстаться и с двумя крайностями суждений о Макиавелли как политическом мыслителе. Расстаться со снобизмом иных представителей XX века, склонных отрицать исторический вклад предшественников современного научного политического знания. Одновременно нужно отвергнуть попытки непосредственно приложить выводы мыслителей Возрождения к нашей эпохе со всем ее беспрецедентным многообразием.

Теперь по существу. Первое, что, несомненно, интересует современного читателя, — это необыкновенно тонкие суждения Макиавелли о политическом человеке — человеке, функционирующем в сфере власти. Макиавелли нарисовал живую модель государя, которая до сих пор может служить зеркалом для любого тиранического правителя самого разного социального толка, будь то Гитлер, Муссолини, Франко, Чан Кай-ши или Пиночет. Знакомясь с этой моделью, с удивлением обнаруживаешь, как мало изменилась политическая форма тиранической власти за предыдущие пять веков.

Не случайно тираны и в наше время не позволяют издавать труды Макиавелли — это все равно, что издать без прикрас свой действительный портрет. «Государь» стал волшебным зеркалом, в которое не в силах смотреться ни одна диктатура, а «Рассуждения» — ее альтернативой, потрясающим символом республиканизма, лишённого слащавости, и потому мужественным и необычайно привлекательным.

Но Макиавелли не только описал властителей, он ярко изобразил портрет политического человека на всех ступенях социальной лестницы. Он показал, как деформирует личность человека общение с дурными властями, как тираническая власть развращает народ.

Второе — суждения Макиавелли о природе власти, о сущности государства. Он разрушил миф о государстве как о воплощении национального духа и показал, что государство — это и есть те люди, которые властвуют

над обществом. Этот вывод и сейчас звучит как приговор всякому эксплуататорскому государству.

Читатель найдет в работах Макиавелли и прекрасные образцы историко-сравнительного, основанного на живом опыте описания государства, политики, политических деятелей. Наконец, читатель попросту насладится блистательным стилем политических, исторических, литературных произведений флорентийца, и тогда он сможет сам оценить слова К. Маркса о тонком итальянском гении, какой можно обнаружить в Данте не менее, чем в Макиавелли*.

...И вот наступает драматический момент, когда все мы, воссоединившись наконец в одном лице — Автора этой книги, должны расстаться с Никколо Макиавелли. Признаюсь откровенно: как раз в этот момент я особенно остро ощущаю свое несовершенство в сравнении с величием избранного мною героя.

Ведь я не сумел бы написать «Государя», или «Военное искусство», или «Мандрагору». Как же мне судить о том, кто так вознесен надо мною своим творчеством? Да и способен ли вообще человек из далекой и холодной России проникнуть в эту типично итальянскую натуру — темпераментную, искрящуюся, легкую?

И потому, собираясь отложить перо в сторону, я полон сомнений: все кажется, что главное не найдено, не схвачено, не высказано. Что так и не удалось воссоздать идейный и нравственный облик человека, портрет которого невероятно искажен временем и прикосновением множества рук.

Беда еще вот в чем: художники, в их числе Микеланджело, обычно оставляли свой автопортрет, который помогал потомкам представить себе хотя бы их внешний облик. Писатели, по крайней мере многие из них, предусмотрительно вели дневники, раскрывавшие их внутренний мир.

Что до Макиавелли, то он не оставил автопортрета и дневников не вел, нисколько не заботясь о будущих исследователях его личности и творчества. Ну а что, если бы он оставил свой автопортрет? Или дал краткое интервью, заполнил анкету, составленную по новейшим методикам наших мудрых и тонких социологов? Что, если попробовать?..

* См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 15, с. 190.

Автор. Ваше подлинное имя?

Никколо. Флорентийский секретарь.

Автор. Ваше родовое имя?

Никколо. Оно вам известно.

Автор. Простите мою назойливость, но в русской транскрипции оно изображалось по-разному: раньше Махиабель, затем Махиавелли, а сейчас Макиавелли и Макьявелли. Какое же верно?

Никколо. Переведите просто — вредный гвоздь, и дело с концом. Впрочем, имя флорентийского секретаря мне ближе родового. Я заслужил его сам.

Автор. Национальность?

Никколо. Флорентиец из Италии; итальянец из Флоренции — по вашему вкусу.

Автор. Социальное положение?

Никколо. Разночинец.

Автор. Что-о?

Никколо. По-русски это звучало бы именно так. Из обедневших аристократов. Положение самое двусмысленное.

Автор. Образование?

Никколо. Незаконченное. Но, пожалуй, все-таки высшее.

Автор. Семья? Родственники?

Никколо. Семья — Мариетта и дети. Родственников, то бишь родных себе душ, не имел.

Автор. Профессия?

Никколо. Чиновник. Дипломат. Публицист. Историк. Литератор...

Автор. Простите, уточню — призвание?

Никколо. Реформатор.

Автор. Реформатор чего?

Никколо. Учреждений и нравов. Я желал изменить свое Время и ускорить его бег.

Автор. Бег куда?

Никколо. В Древний мир.

Автор. Обратный ход Времени?

Никколо. Вперед по кругу.

Автор. Что же вас привлекает в Древнем мире?

Никколо. Доблесть. Величие. Гений. Впрочем, вы могли прочесть у меня об этом. Я вижу, что удивительные подвиги, совершенные в древних царствах и республиках царями, полководцами, гражданами, законодателями и другими, потрудившимися для своего отече-

ства, что все эти подвиги, о которых говорит нам история, вызывают больше удивления, чем подражания; что, напротив того, каждый как будто избегает следовать им, так что от древней добродетели не осталось никаких следов.

Автор. Что же, вы преуспели в своем реформаторстве?

Никколо. Мы пробудились сами и возродили Время.

Автор. Вы извели счастье?

Никколо. Единожды, когда закончил «Государя».

Автор. А «Рассуждения»? «Военное искусство»? «Мандрагора», наконец?

Никколо. То были минуты величия и горечи. Судьба «Государя» отравила все. После, ища суда зрителей, я ожидал лишь ударов бича.

Автор. Но в чем причина?

Никколо. Причина в том, что нет предприятия более трудного для исполнения, более ненадежного относительно успеха и требующего больших предосторожностей при его введении, чем введение новых учреждений. Нововводитель при этом встречает врагов во всех тех, кому жилось хорошо при прежних порядках, и приобретает только весьма робких сторонников в тех, чье положение должно при этих нововведениях улучшиться.

Автор. Отчего же?

Никколо. По завистливости человеческой природы открытие новых систем и истин было всегда так же опасно, как открытия новых вод и земель, потому что люди более склонны порицать, чем хвалить чужие поступки. Однако, побуждаемый тем естественным влечением, которое я всегда чувствовал, делать все, что я считаю способствующим общему благу, не обращая внимания ни на какие посторонние соображения, я решился пойти по пути, не посещавшемуся до меня никем.

Автор. И вам дано было открыть новые истины?

Никколо. Если скудость ума, недостаток опытности в современных делах, слабое познание прошедшего делают мои сочинения ошибочными и малополезными, то, по крайней мере, я прокладываю путь тому, кто с большими достоинствами, большим красноречием и проницательностью сумеет выполнить его удовлетворительнее: поэтому если я не заслуживаю похвалы, то не должен быть и подвергаем порицанию.

Автор. Вас оценили в ваше время?

Никколо. О! Открыватель истин и преобразователь должен быть честным. А человек, желающий в наши дни быть во всех отношениях чистым и честным, неизбежно должен погибнуть в среде громадного бесчестного большинства; люди обыкновенно предпочитают средний путь, который и есть самый пагубный, ибо они не умеют быть ни вполне честными, ни вполне гнусными.

Автор. Но вы высказались — хотя бы для потомков?

Никколо. Не вполне. Но все же я кое-что сумел сказать.

Автор. Главная мысль «Государя»?

Никколо. Она высказана в «Рассуждениях»: государь, имеющий возможность делать все, что ему вздумается, превращается в бешеного самодура, а народ, могущий делать что хочет, только неразумен; распущенный и бунтующий народ легко может поддаться уговорам хорошего человека и вернуться на правильный путь, а с государем, с грозным государем никто не может говорить, против него нет никакого другого средства, кроме меча.

Автор. Главная мысль «Рассуждений»?

Никколо. Она высказана в «Государе»: люди скорее бывают готовы оскорблять тех, кого любят, чем тех, кого боятся; любовь обыкновенно держится на весьма тонкой основе благодарности, и люди, вообще злые, пользуются первым предлогом, чтобы в видах личного интереса изменить ей; боязнь же основывается на страхе наказания, никогда не оставляющем человека.

Автор. Главная мысль «Истории Флоренции»?

Никколо. Она в «Мандрагоре»...

Автор. Главная мысль «Мандрагоры»?

Никколо. Она в «Бельфагоре»...

Автор. А «Бельфагора?» В «Золотом осле»?

Никколо. Д-да.

Автор. Все это слова, слова, слова...

Никколо. Чего же вам больше?

Автор. Ум гения творит не только слова...

Никколо. Умы бывают трех родов, из коих один понимает все сам, второй усваивает мысли других, третий не понимает ни сам, ни когда ему объясняют другие.

Автор. Есть еще четвертый род ума. Это тот ум, которому дано открывать новые истины и творить новое Время. И ваше имя — имя универсальной личности политического деятеля, художника, мыслителя — навечно вписано в число творцов эпохи Возрождения всего человечества.

В обители священной Санта Кроче
Есть прах: бессмертье в нем воплощено
И все святое им освящено,
Хотя он сам — частица славы брэнной,
Что впала в Хаос. Там лежат давно
Альфьери с Анджело, и дивной цели
Достигший Галилей, кому дано
Страдание в удел; Макиавелли
Вернулся в землю там, где встал из колыбелн.

Подобные стихиям четверем
Здесь новый мир — Италию создали
Те гении.*

* Стихи Байрона.



ХРОНОЛОГИЯ

- 3 мая 1469 г.** — родился Никколо Макиавелли.
- 1476 г.** — Макиавелли начал изучать основы латыни.
- 80-е годы** — Макиавелли начинает читать древних авторов, что становится на всю жизнь его любимым занятием.
- 1494 г.** — Карл VIII в Италии. Изгнание Пьеро Медичи. Отпадение Пизы от Флоренции.
- 1494—1498 гг.** — Савонарола во Флоренции.
- 1498 г.** — казнь Савонаролы.
- 9 марта 1498 г.** — первый известный личный документ Макиавелли — его письмо с оценкой Савонаролы.
- 28 мая 1498 г.** — предложение кандидатуры 29-летнего Никколо Макиавелли на пост второго канцлера Флоренции (или секретарем второй канцелярии республики) через 5 дней после казни Савонаролы.
- 19 июня 1498 г.** — избрание Макиавелли на этот пост.
- 14 июля 1498 г.** — Макиавелли назначается секретарем Совета десяти (Синьории) — высшего органа Флорентийской республики (оба поста он занимал до 7 ноября 1512 г.).
- 1499 г.** — Людовик XII в Италии. Покорение Милана французами. Ведутся так называемые итальянские войны — с 1494 г. по 1559 г., — с которыми была связана деятельность Макиавелли.
- Май 1499 г.** — Макиавелли написал «Доклад, сделанный Совету десяти, о событиях в Пизе».
- 1499 г.** — миссии Макиавелли к Якопо д'Аппиано, синьору Пьомбино и к Екатерине Сфорца, графине Форлийской и Имолийской, которые были связаны с финансовыми делами Флоренции.
- Июль — декабрь 1500 г.** — миссия к королю Франции, которая сыграла большую роль в формировании политических взглядов Макиавелли. После поездки написаны «Описания французских дел».
- 1501 г.** — женитьба Макиавелли на Мариетте Корсини (брак существовал до его смерти).
- 1501 г.** — французы и испанцы в Неаполе.
- 1502 г.** — учреждение пожизненного гонфалоньерата во Флоренции (Пьеро Содерини).
- 1502 г.** — борьба Цезаря Борджа с тиранами. Лига против Цезаря (Орсини, Болоньи, Вителло и др.).
- 25 июня 1502 г.** — первая встреча Макиавелли с Цезарем Борджа, бывшим кардиналом, получившим из рук отца — папы римского Александра VI — герцогство Романью и титул герцога Валентино.
- Лето 1503 г.** — Макиавелли пишет «О том, как надо поступать с восставшими жителями Вальдикианы».

- Октябрь — декабрь 1502 г.** — миссия Макиавелли к Цезарю Борджа. После поездки создано «Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителло, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и герцога Гравинно Орсини».
- 1503 г.** — ловушка в Снегалии.
- 1503 г.** — смерть Александра VI. Цезарь отказывается от Романьи, вскоре после этого уходит с исторической сцены. Умер в 1507 году.
- 1503 г.** — избрание папой Пия IV, а вскоре Юлия II.
- Ноябрь — декабрь 1503 г.** — миссия Макиавелли в Рим к папе Юлию II.
- Январь 1504 г.** — отъезд Макиавелли во Францию (время возвращения неизвестно). **Апрель** — поездка в Пьомбино.
- 1504 г.** (предположительно) — внесение предложения о формировании национального войска вместо наемников.
- 1504 г.** — смерть Пьеро Медичи.
- 1505 г.** — завоевание испанцами Неаполитанского королевства.
- 1506 г.** — взятие Болоньи папой Юлием II.
- Август — ноябрь 1506 г.** — миссия к папе Юлию II.
- Декабрь 1506 г.** — создание первого магистрата по постоянному управлению военными делами государства и назначение Макиавелли канцлером этого магистрата.
- 1508 г.** — Камбрейская лига (папа Юлий II, Испания, Франция, Германия) против Венеции.
- Январь — июнь 1508 г.** — пребывание Макиавелли в Инсбруке, встречи с императором Максимилианом I. Два сочинения Макиавелли после этой поездки.
- 1509 г.** — поражение венецианцев при Анвиделло. Взятие Пизы флорентийцами. Участие Макиавелли в окончательном решении проблемы Пизы.
- 1510** — неудачная осада Падуи императором Максимилианом.
- Ноябрь — декабрь 1509 г.** — поездка Макиавелли в Мантую и Верону.
- Июль — октябрь 1510 г.** — пребывание во Франции.
- 1511 г.** — Священная лига, образованная Юлием II против французов в союзе с Испанией.
- 1512 г.** — победа французов при Равенне. Взятие Прато испанцами.
- 1512 г.** — реставрация Медичи во Флоренции.
- 1512 г.** — заговор Пьетро Паоло Босколи против Медичи.
- 10 ноября 1512 г.** — Синьория наложила годичный арест на имущество Макиавелли, обязав его дать поручительство на огромную сумму: тысячу золотых флоринов, обеспеченное тремя неизвестными истории друзьями. Другим решением Синьории от 17 ноября 1512 г. Макиавелли в течение года был запрещен доступ в здание Синьории, где он до этого проработал 14 лет.
- Начало 1513 г.** — Макиавелли арестован по подозрению в участии в антимакиавеллическом заговоре, подвергнут пыткам. В начале марта должен был по приговору суда получить свободу за выкуп, но был освобожден по амнистии в связи с избранием нового папы.
- 1513 г.** — Германия присоединяется к Священной лиге. Поражение французов при Наварре.
- 1513 г.** — смерть Юлия II. Избрание Джованни Медичи новым папой Львом X.

- 1513 г. — пребывание Макиавелли в родовом имении Сан-Андреа в семи милях от Флоренции, нерегулярная переписка с Веттори — послом Флоренции в Риме.
- 1513—1519 гг. — Макиавелли работает над трактатом о республиках — «Рассуждения».
- 1513 г. — пишет «Государя».
- 1514—1520 гг. — пишет «Рассуждения, или Диалог о нашем языке», «Золотой осел», «Мандрагора», «Бельфагор», «Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки».
- 1515 г. — поход Франциска I в Италию, завоевание им Милана.
- 1516 г. — мир Франциска с папой Львом X. Смерть Джулиано Медичи — брата папы Льва X.
- 1517 г. — Макиавелли в садах Руччеллаи.
- 1519 г. — смерть Лоренцо Медичи, племянника папы.
- 1519—1520 гг. — завершение работы «Военное искусство».
- Март — апрель 1518 г. — Макиавелли по поручению купцов Флоренции совершает деловую, сугубо торговую поездку в Геную.
- 1 ноября 1520 г. — Макиавелли назначается придворным историографом сроком на два года.
- 1521 г. — смерть Льва X и избрание Андриана VI.
- 1522 г. — заговор против кардинала Джулио Медичи во Флоренции.
- 1523 г. — смерть Андриана VI. Джулио Медичи — папа Климент VII.
- 1524 г. — Гвиччардини — «президент» Романы.
- 1520—1525 гг. — Макиавелли пишет «Историю Флоренции».
- 1524—1525 (?) г. — пишет «Кляцню».
- 1526 г. — Представляет доклад об укреплении Флоренции.
- 1526 г. — Коньянская лига (папа, Франция, Англия, Швейцария, Венеция) против Испании. Гвиччардини — наместник папы при армии. Макиавелли сопровождает армию.
- Апрель 1526 г. — во Флоренции по предложению Макиавелли организуется магистрат обороны («магистрат прокураторов стен»), главным инспектором и канцлером которого назначается Макиавелли, а помощником — его сын Бернардо.
- Апрель 1526 г. — смерть Джованни Медичи.
- 1527 г. — взятие и разгром Рима испанцами.
- Весна 1527 г. — падение власти Медичи и крушение надежд Макиавелли вернуться на пост канцлера Флорентийской республики.
- 21 июня 1527 г. — болезнь и смерть Никколо Макиавелли.

СОДЕРЖАНИЕ

Исток	5
Монах. Новелла первая	14
Восхождение. Новелла вторая	29
Государь. Новелла третья	47
Нисхождение. Новелла четвертая	58
Исповедь. Новелла пятая	79
Обретение. Новелла шестая	96
Карнавал. Новелла седьмая	114
Рассуждения. Новелла восьмая	127
Рассуждения... Новелла девятая	146
Карусель. Новелла десятая	170
Исход	188
Хронология	252

Бурлацкий Ф. М.

Б91 Загадка и урок Никколо Макиавелли. М., «Молодая гвардия», 1977.

256 с. с ил.

Автор посвятил свою книгу одному из выдающихся умов Возрождения, человеку, ставшему легендой, Никколо Макиавелли.

1Ф

Б $\frac{70302-177}{078(02)-77}$ 013-76

ИБ № 106

Федор Михайлович Бурлацкий

ЗАГАДКА И УРОК НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

Редакторы **Л. Волкова, Н. Игнатовская**

Младший редактор **В. Петросян**

Художник **Ю. Иванов**

Художественный редактор **А. Косаргин**

Технический редактор **Н. Михайловская**

Корректоры: **З. Харитоновна, Г. Василёва**

Сдано в набор 26/VII 1976 г. Подписано к печати 14/VI 1977 г.
A00648. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 8 (усл. 13,44) +
+ 8 вкл. Уч.-изд. л. 14,5. Тираж 75 000 экз. Цена 74 коп.
Т. П. 1976 г., № 13. Заказ 1306.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.